реальные истории
из жизни современных
писателей

КАК Я ИЗМЕНИЛ СВОЮ
ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Авторы этой книги – Дарья Донцова, Лариса Рубальская, Андрей Геласимов, Дмитрий Емец, Мария Метлицкая, Татьяна Веденская, Сергей Литвинов и многие другие успешные люди – личности, чей путь, казалось бы, всегда был освещен солнцем. Глядя на них, сложно представить, что их дорога была терниста, что и в их жизни были поражения и удача давалась им, так же, как нам, далеко не с первого раза. В этом сборнике любимые писатели рассказывают жизнеутверждающие истории из своей жизни и делятся с нами личными рецептами преодоления трудностей.

- Как я изменил свою жизнь к лучшему
  - Никогда не сдавайся
  - Кризис бабского возраста
  - А давай попробуем!
  - Искушение
  - Маленькая смерть
  - Экзамен
  - Кризис среднего возраста
  - Другая жизнь и берег дальний
  - Похвали меня, мать Анна
  - Сверкающий камень
  - Метроном
  - Небесный Иерусалим, или История одного романа
  - Концептуально!
  - Поиски такси
  - Отец
  - Беглая невеста
  - Переезд
  - Моя сладкая жизнь
  - Водолечебница «Счастье»
  - Помогите вырасти
  - Плыть
  - Иерусалим
  - Тирекс серебристый
  - Ниже нуля по Фаренгейту
  - Наполовину полная чашка
- notes
  - 1

Как я изменил свою жизнь к лучшему

Никогда не сдавайся
Дарья Донцова, прозаик

Дарья Донцова сама научилась читать в четыре года, а свой первый рассказ написала в семь лет и отнесла его писателю Валентину Катаеву, ближайшему другу своего отца. Тетрадку с текстом, который поправил Катаев, Дарья хранит до сих пор. Но несмотря на столь раннее желание сочинять истории, первая книга Дарьи увидела свет, когда Донцовой исполнилось сорок пять лет. Она считает себя очень счастливым человеком, потому что счастье – это не какое-то одно глобальное событие, счастье с нами каждый день. Оно в улыбке вашего ребенка, в хорошей книге, в людях, которые вас окружают. Счастье внутри человека, в умении понять, что он счастлив каждый день.

Предисловие

Первую книгу я написала в реанимации онкологической больницы после четырех операций. А когда меня перевели в общую палату, среди соседок оказалась Зинаида, которая рассказала, как ее спасли кошки. Узнав историю Зины, я подумала, что сдаваться никогда нельзя, что из, казалось бы, безвыходной ситуации всегда найдется выход и что тьма сгущается перед рассветом, ночь закончится, появится солнце. Мой рассказ – это история Зины, но хотя меня не спасали кошки, это и моя история: история женщины, понявшей, что никогда нельзя сдаваться.

* * *

Если дважды лил безостановочно дождь и стоял холод, а на третьи сутки рано утром вышло солнце и стало тепло, значит… значит, пришел понедельник.

Зинаида отвернулась к стене. Сотни тысяч людей сейчас вскочили по звуку будильника, глянули в окно и, ругая погоду – которая, отлично зная, когда у народа выходные, старательно портит всем отдых – поспешили умываться. Началась рабочая неделя. В метро, наверное, уже толпа, в маршрутку не сесть, а

противный главбух Игорь Михайлович вот-вот займет позицию у входа в свой кабинет. Каждое утро начальник стоит у двери и смотрит на часы. Тем, кто пришел на работу на десять минут раньше, достается его добрая улыбка и слова: «Рад вас видеть», тем, кто явился вовремя – вежливый кивок, а те, кто опоздал хоть на десять секунд, приглашаются в рабочую комнату к шефу и выслушивают от него несколько совсем не ласковых фраз. Увы, Зинаида частенько прибегала последней, она пыталась объяснить вредному начальнику, что живет в отдаленном районе, куда рейсовый автобус не всегда приходит по расписанию, но Игорь Михайлович откашливался и отвечал:

– Вы регулярно приходите позже на десять минут. Если станете выходить из квартиры на четверть часа раньше – придете на службу, когда следует, ну а теперь ступайте исполнять служебные обязанности.

Опустив голову, Зинаида понуро шагала к своему компьютеру, не передать словами, как она ненавидела в этот момент этого отвратительного мужика! Игорь Михайлович не был груб с бухгалтером Федосеевой, но он не выписывал ей премию, не хвалил и заваливал самой трудной работой. Почему Зинаида не меняла службу? Кроме гадкого начальника Зинаиду в офисе устраивало все: милые коллеги, соцпакет, столовая с вкусными обедами, отличная зарплата, которую всегда выплачивали вовремя, путевка в местный пансионат, достающаяся служащим за копейки. Все было просто отлично, все, кроме главбуха. Каждое воскресенье у Зинаиды после обеда резко портилось настроение. Ну вот, завтра понедельник, снова предстоит встреча с этим противным мужиком. Хоть бы заболеть на недельку, взять бюллетень и на время забыть об Игоре Михайловиче. Неудивительно, что начальник не женат, кто же захочет связать жизнь с подобным человеком. Да и внешне он совсем не интересен, рост у него, как у Зины, на голове дыбятся невообразимые кудряшки, а уж его одежда! Боже! Где деспот покупает себе такие бесформенные пуловеры? В каком подвале он откопал свой пиджак, смахивающий на вещь из старинного гардероба? Вот бы Зине заболеть на недельку! Вот бы семь дней не видеться с Игорем Михайловичем!

Зинаида погладила кошку Матильду, лежавшую рядом. Не зря говорят: «Бойтесь своих желаний, они могут сбыться». Зимой у Зиночки неожиданно начался кашель, поднялась температура, Федосеева обрадовалась и, предвидя долгожданный отдых, поспешила к врачу, думая, что у нее обычный грипп. Женщина в белом халате оказалась внимательной, она прослушала Зину стетоскопом, а потом отправила ее на флюорографию. Изучив

снимок, докторица нахмурилась, велела сдать кучу анализов, потом протянула бумажку и приказала.

– Прямо сейчас ступайте в десятый кабинет на томограф.

– Наверное, надо записаться, – удивилась Зина, – а сколько стоит обследование? Может, без него обойдемся? С деньгами не особо хорошо.

– Алевтина Петровна вам срочное направление выписала, – пояснила медсестра, – платить ничего не надо.

Очень удивленная, но не особо встревоженная поворотом событий Зиночка полежала в «трубе», а потом совершенно счастливая отправилась домой. Слишком заботливая Алевтина Петровна выдала больной освобождение от работы аж на десять дней, а Федосеева рассчитывала максимум на трое суток безделья.

Когда чудесно отдохнувшая Зина пришла закрывать листок нетрудоспособности, врач начала разговор фразой:

– Вы только не волнуйтесь, пришли результаты анализов с расшифровкой компьютерной диагностики.

Сказано это было таким тоном, что Федосеева забеспокоилась.

– Что-то не так?

И тут ей на голову рухнул страшный диагноз: у бухгалтерши опухоль, оперировать поздно, зараза проникла в лёгкие, Зине осталось жить не больше полугода.

– Но у меня ничего не болит, – растерянно произнесла Зина.

– Заболит, – пообещала Алевтина Петровна.

Не успела врач произнести фразу, как у Федосеевой закололо в боку, а из желудка к горлу подступила тошнота.

– Что же теперь делать? – прошептала Зина.

Врач отвела глаза в сторону.

– Сейчас выпишу пару лекарств. Питайтесь правильно, не нервничайте, пока не станет совсем плохо, ходите на работу. У вас есть семья? Супруг, родители?

– Нет, – прошептала Зина, – папа с мамой умерли, замуж пока не вышла. Мне тридцать пять, ещё встречу свою половинку.

– Охо-хо, – вздохнула сидевшая за соседним столом медсестра, – вы не волнуйтесь, когда сляжете, к вам будет приходить соцработник, государство не бросает одиноких безнадёжных больных.

На следующий день Зина опоздала на службу на полчаса, и когда Игорь Михайлович, красный от гнева, начал: «Это ни в какие ворота не лезет…» – крикнула начальнику: «Мне плевать на ваши нотации, если хотите, увольняйте, все равно умираю!»

А потом, бросив на стол противного дядьки выписку из своей

истории болезни, убежала плакать в туалет.

Когда Федосеева вернулась в комнату, её встретила тишина, но через пару минут коллеги кинулись к женщине и начали утешать.

– Ерунда, ты поправишься. Все будет хорошо.

– Нет, – рыдала Зина, – нет. Врач сказала, что в России не помогут, можно попытаться обратиться в клинику Германии, но знаете, сколько там стоит лечение иностранки с моей проблемой?

Когда Федосеева назвала сумму, в комнате опять стало очень тихо. Первой опомнилась Настя Колесникова.

– Глупости! В Москве прекрасные врачи. Зина, нельзя сдаваться! Борись! Иди к другому доктору, ищи специалиста.

Федосеева снова заплакала. Хорошо Анастасии сейчас произносить пустые, ничего не значащие слова. Борись! А как?

Пару недель коллеги старательно заботились о Зине, ей приносили из буфета пирожки, пересадили к стене, где не дуло от окна, не заваливали работой, а Игорь Михайлович перестал делать подчиненной замечания по поводу опозданий. Но потом все привыкли к мрачному виду Зинаиды, к тому, что она пьёт таблетки, постоянно жалуется, рыдает, и перестали сочувствовать женщине.

Через три месяца после того как офис узнал о тяжёлом состоянии сотрудницы, Настя праздновала день рождения. Колесникова притащила на работу несколько тортов, получила подарки, стала угощать присутствующих чаем, все улыбались, желали Колесниковой счастья и здоровья…

Зина сидела мрачнее тучи, она поковыряла бисквит с кремом, ощутила тошноту и ненависть к Анастасии.

– Зинульчик, – воскликнула именно в этот момент Колесникова, – чего такая грустная?

– Ты забыла, что я умираю? – закричала Зина. – У меня всё болит, еле хожу, голова кружится. Вы тут радуетесь, а я гибну.

Весёлые разговоры стихли, потом Ольга Тимофеева резко произнесла:

– Ну, мы-то не виноваты, что с тобой беда случилась, хотим помочь, но ты не желаешь ничего делать, других врачей не ищешь, не борешься, только стонешь и жалуешься. У Насти день рождения, неужели нельзя было сегодня удержаться от рассказа о своих болячках?

Зинаида убежала из кабинета, проревела до конца рабочего дня в туалете, потом бросила на стол Георгию Михайловичу заявление об уходе и уехала домой. Никто из коллег не стал уговаривать женщину остаться, ее рассчитали.

Зина осела в квартире, на улицу она выходила только для

того, чтобы купить продукты себе и корм для двух кошек, Матильды и Греты. Кошки были единственными друзьями Федосеевой, им она жаловалась без устали, повторяла:

– Я умру вот-вот, а все остальные останутся жить счастливо. Мне так плохо! Ужасно! Руки-ноги отказывают, желудок болит, кашель мучает…

Потом у Зины начали отказывать ноги – она с трудом поднималась с постели. К ней стала приходить соцработник, очень спокойная улыбчивая Лена.

Зина начала объяснять женщине, как ей плохо, тяжко, ужасно, но та, выслушав речь подопечной, сказала:

– Не сдавайтесь, боритесь, не позволяйте себе думать о смерти. Мой вам совет: ищите другого врача, вероятно, в поликлинике не очень хороший специалист, потребуйте направление в крупный медцентр, обратитесь в разные клиники, не сдавайтесь.

– Я в безвыходном положении, – зарыдала Зина, – в тупике! Я умираю!

В тот день Лена беседовала с Зиной часа два, но больная словно не слышала женщину, она постоянно повторяла:

– Мне плохо, мне хуже всех, мне осталось жить совсем немного.

И всегда, когда Леночка приносила продукты, Зинаида затевала одну и ту же беседу.

Один раз соцработник не сдержалась и резко произнесла:

– Ваше состояние не самое плохое, не нойте, живите. Вон у меня есть один пациент, он парализованный, но присутствие духа не потерял, работает в Интернете, веселый, у него куча друзей в Сети. Вам вместо того чтобы постоянно жаловаться и сетовать на злую судьбу, надо взбодриться. Вы спокойно по квартире передвигаетесь, займитесь хозяйством, заведите приятелей в социальных сетях, найдете способ заработать в Сети. Хотите, я вам спонсора найду, он компьютер купит, покажет, как им пользоваться. Не сидите дома, выходите на улицу.

– Нет! – всхлипнула Зина. – Я никому не нужна! Ничего мне не надо.

На следующий день после этой беседы Федосеева не сумела встать с постели, у нее отказали ноги, женщина стала звонить Лене, та не отвечала, днем вместо нее пришел посторонний парень и огорошил заявлением.

– Раз вы у нас лежачая, то теперь к вам станут ходить каждый день, не волнуйтесь, вас не бросят.

– Где Лена? – забеспокоилась бывшая бухгалтерша.

– Она в отпуске, – пояснил юноша, – на время отсутствия

Казаковой будет замена. Сегодня я о вас позабочусь. Кто завтра прибежит, не знаю.

Две недели к Федосеевой приходили разные люди.

И вот сейчас Зина, лежа в постели, ждала очередного соцработника, часы тикали, время приближалось к обеду, но у Федосеевой никто не появлялся.

Зинаида начала сердиться, схватила телефон, чтобы позвонить в госслужбу, но трубка выскользнула из пальцев, упала на пол и, развалившись на части, отлетела в другой конец комнаты. Зина зарыдала, ей хотелось пить, а Матильда и Грета отчаянно мяукали на кухне, им помощники по утрам насыпали корм, но сегодня никто не наполнил миски. И теперь еще телефон разбит и связи с внешним миром нет.

Еще через час Зине самой несказанно захотелось есть, в последнее время Елена с трудом уговаривала подопечную проглотить ложечку бульона, Федосееву тошнило даже от запаха пищи, но сейчас умирающая начала думать о бутербродах. Матильда с Гретой продолжали рыдать, теперь они прибегали к хозяйке, прыгали к ней на кровать, терлись головами о руки Лены, потом неслись на кухню, возвращались… К вечеру по квартире пополз отвратительный запах, кошкам следовало поменять наполнитель в лотках.

Около полудня Зина поняла: о ней забыли, соцработник не появится, телефон не работает, все очень плохо, пора умирать. И тут кошки так громко заплакали, что Федосеева вздрогнула и подумала: ну ладно, она готова уйти на тот свет, а что будет с Матильдой и Гретой? Пока кто-нибудь придет к больной, животные от голода отправятся на тот свет.

– Мяу, мяу, мяу, – рыдали кошки, – мяу.

Зинаида ухватилась за привязанный к спинке кровати ремень, села и крикнула:

– Мотя, Грети, уймитесь!

Кошки вбежали в комнату, взлетели на постель, начали скакать вокруг хозяйки, лезть к ней на колени, потом Матильда, заорав Зине прямо в ухо: «У-у-у», – укусила больную за палец.

Федосеева взвизгнула от боли, резко повернулась, свалилась на пол и зарыдала.

Все! Уходить из жизни придется, лежа на паркете. Некоторое время Зина плакала, потом ей стало холодно, в голову неожиданно прилетела мысль: этак и простудиться можно! Из кухни раздался грохот, звон бьющегося стекла, кошачий визг, а потом потянулась тишина.

– Мотя! – заорала во весь голос Зина. – Грета!

Но киски не примчались в комнату, в квартире было тихо, так

тихо, что Зина перепугалась и решила ползти в кухню.

Когда больная, вспотев от усилий, оказалась в нужном месте, она увидела, что пол около плиты усыпан осколками, а испуганные киски сидят на холодильнике.

– Ну вы даете! – обозлилась Зинаида. – Скинули фарфоровые часы, единственную вещь, которая осталась на память от бабушки.

– Мяу, – жалобно пропела Матильда и спрыгнула на пол.

– Стой, – заволновалась хозяйка, – лапы в кровь изрежешь, сейчас уберу руины.

Легко сказать, да непросто сделать. Теперь Зиночке пришлось ползти в туалет, где хранились ведро, веник, тряпка, губка. Поверьте, добраться до всех этих вещей было совсем не просто.

Через два часа еле живая от усталости Зина сумела убрать осколки и выбросить их в помойку. Еще через пятнадцать минут ей удалось подтянуться на трясущихся руках и насыпать кошкам корм из пакета. Матильда и Грета с воплем ринулись к еде. «Неплохо бы и самой перекусить», – вдруг подумала Зинаида и начала аккуратно опускаться на линолеум, чтобы ползти к холодильнику, и вдруг поняла, что опирается на ноги.

– Я стою! – ахнула женщина. – Стою! Паралич прошел!

Уцепившись за стену, больная сумела прошагать до холодильника, вытащила сыр, масло, включила чайник, присела на табуретку и посмотрела на продукты. Невероятно! Она способна управлять нижними конечностями, правда, они слабые, но ведь слушаются хозяйку, не лежат бесполезными бревнами.

Съев аж пять бутербродов и выпив литр чая, Зина оглядела кухню. Бог мой! Какой беспорядок! Во что превратилась ее любимая, недавно еще очень уютная квартира! Повсюду пыль, на плите потеки… Может, соцработники и хорошие люди, но они неряхи, ни разу не протерли клеенку на столе, Зина сейчас прилипла к ней голыми руками.

– Мяу! – завопила из туалета Матильда.

Федосеева оперлась ладонями о стол и неожиданно легко встала.

– Сейчас, Мотя, не злись, поменяю наполнитель. Кажется, на сегодня моя смерть откладывается.

Спустя три дня, когда Зина, отдраив до блеска свое жилье, решила одеться и отправиться на улицу, чтобы купить продукты, в замочной скважине завозился ключ, входная дверь открылась и в маленькую прихожую втиснулась полненькая девушка, за ней вдвинулся полицейский, два мужика в спецовках, замыкал шествие противный главный бухгалтер Игорь Михайлович.

– Вы кто? – испугалась толстушка.

– Хороший вопрос, – нахмурилась Зина, – я-то хозяйка жилья, а вот вы представьтесь.

– Социальный работник – пролепетал незнакомка, – Катя… Мне сказали, Федосеева парализована, двигаться не способна… Понимаете… Ваша Лена в отпуске. Должен был прийти Петр, он заболел, попросил Олю его заменить… У нее ребенок захворал, она велела Наде приехать… и… и…

– И в конечном итоге больная осталась без помощи, – сердито оборвал толстушку Игорь Михайлович. – Я этого так не оставлю! Доложу вашему начальству о проявлении головотяпства.

– Ой, – испугалась девушка, – я ни при чем, наши, когда поняли, что Федосеева надолго одна осталась, так перепугались! Мне велели ехать, вскрывать с полицией дверь.

– А полиция зачем? – удивилась Зина.

– Ну… – забормотала девица, – э… э… так… просто… положено… ребята, идите во двор.

Парни в спецовках испарились из прихожей.

– Раз она живая, я тоже пошел, – ответил мужчина в форме.

– Так вы решили, что в квартире труп! – осенило Зинаиду. – Не дождетесь! Валите отсюда, пока не получили как следует.

Соцработник ойкнула и исчезла. Игорь Михайлович поднял руки.

– Я не с ними. Меня отправили на несколько месяцев в командировку, вернувшись, стал про вас расспрашивать, коллеги ничего не знают. Отругал коллектив за проявление к коллеге невнимания и…

– Я уволилась, – напомнила Зинаида.

Главбух снял свои ужасные очки.

– И что? Неужели нельзя поинтересоваться здоровьем человека, с которым бок о бок работали? Спросить, как дела. Начал сам вам звонить, никто не отвечает, ну и пришел посмотреть, что у вас происходит.

– Трубка разбилась, – смутилась Зина, – вот на улицу хотела выбраться, думала корм кошкам приобрести, может, до торгового центра дошагаю, надо бы новый телефон купить.

– Какие красавицы, – восхитился вдруг бывший начальник.

Зинаида обернулась и увидела Матильду с Гретой.

– Кис-кис, – заулыбался главбух.

«А он симпатичный и совсем не старый, лет сорок», – подумала Зина.

Кошки приблизились к главному бухгалтеру и начали тереться о его ноги, Игорь присел и погладил их.

– Любите животных? – поразилась Федосеева.

– Очень, – признался главный бухгалтер, – у меня живет

Барсик, порода московский дворянин, во дворе подобранный. Не будет наглостью с моей стороны пригласить вас в кафе попить чаю?

– Сто лет не выходила из квартиры, – пробормотала Зина, – сейчас оденусь, вам придется немного подождать.

* * *

Спустя два месяца Федосеевой успешно сделали операцию, а через год Игорь и Зина сыграли свадьбу, объединили две свои небольшие квартиры в одну просторную и живут в ней счастливо вместе с Матильдой, Гретой и Барсиком. Вскоре после бракосочетания Зинаида прошла обследование в хорошем медицинском центре и врач спокойно сказал:

– У вас нет проблем, анализы в норме.

– Уверены в своем диагнозе? – спросил Игорь Михайлович. – Вы видели результат прошлой томографии? Читали заключение районного специалиста?

Доктор пожал плечами.

– Ну, там все было не так уж плохо, лекарства назначали правильно, операцию сделали хорошо. Но, главное, вы не упали духом, боролись, не жаловались…

Зина начала краснеть.

– …Не повторяли: «За что это мне?» – продолжал доктор. – Задали иной, правильный вопрос: «Зачем это мне?» Вы не сомневались – из любой ситуации всегда есть выход, просто человек его не всегда ищет или не хочет искать. И уж совсем беда, когда больной сам хоронит себя, твердит: «Я умру». Поговорит он так пару месяцев и уедет на кладбище. А другой, даже находясь в более тяжелом состоянии, ведет себя достойно, говорит: «У меня много дел, мне есть ради чего оставаться на земле» и выживает вопреки диагнозу. Никогда нельзя сдаваться.

Когда муж с женой вышли на улицу, Зина взяла Игоря под руку и тихо сказала:

– Я такую чушь несла на работе. Доктор меня совсем не знает. Я вела себя отвратительно.

Игорь обнял супругу.

– Ты молодец, ты справилась.

– Меня спасли Матильда с Гретой, – призналась Зина, – встала, чтобы их покормить, и поняла, что могу ходить.

– Спасибо кискам, – улыбнулся Игорь, – но ты поднялась, а могла остаться лежать.

– Ну да, – после небольшой паузы согласилась Зина, – я

встала и теперь буду говорить каждому, кто считает себя безнадежно больным: «Борись и никогда не сдавайся!»

Кризис бабского возраста
Мария Метлицкая, прозаик

Можно с уверенностью сказать, что все люди делятся на тех, кто любит и ждет книги Марии Метлицкой, и на тех, кто, по досадному недоразумению, о них пока не знает. Мария умеет видеть счастье в мелочах и донести до читателя это удивительное ощущение, которое способно помочь в тяжелый момент, прибавить нам сил и спасти от отчаяния.

* * *

Все было просто ужасно.

Жизнь крошилась, как лежалое песочное печенье, – разваливалась на куски, распадалась на крошки.

Все знают, как это бывает. Куча мудрейших пословиц на тему: пришла беда – отворяй ворота, беда одна не приходит, до кучи, одно к одному. Словом, все навалилось разом, накрыв меня колючим и душным одеялом тоски, уныния и мыслей о несправедливости бытия вообще и моей жизни в частности.

Казалось, что периодические взбрыки и капризы судьбы, именуемые «превратностями», давно закалили, приучили и научили – сопротивляться, противостоять и, наконец, примиряться.

И все же…

Тогда весь этот опыт, все эти горькие знания, вся жалкая мудрость, подобранная на уже довольно долгом жизненном пути, уверенность в том, что все преходяще (да знаем, знаем!) – все это никак не работало.

Ни минуты!

Да и, честно говоря, утешать себя не хотелось. Сопротивляемость жизненным трудностям была вдруг утеряна – как природный иммунитет после тяжелой болезни, что ли.

Бывает и так.

Хотелось одного – закрыть дверь, лечь на кровать, не включая света, и… послать все к черту. У меня на себя сил не осталось.

А тут еще вы!

Не первый, конечно, кризис, но точно – самый тяжелый.

Теперь по порядку: про «все и сразу». Из потерь сердечных –

единственный сын покинул отчий дом.

Нет, все нормально. Я же не идиотка. Надо бы радоваться – вырвался из цепких объятий сумасшедшей материнской любви, хватило сил. Вырвался, снял квартиру и зажил своей жизнью. Радуйся, что при всей твоей гиперопеке, при раздутых до невообразимых размеров материнских кошмарах и страхах (время такое) неожиданно для тебя самой вырос мужик. Аккуратно и почти нежно развел твои цепкие руки и упорхнул в свою жизнь.

Это нормально.

Значит, у тебя получилось не сделать урода, плюшевую игрушку из любимого и единственного мальчика.

А радоваться не получалось. То есть головой – да, конечно. А вот на сердце… Печаль.

Еще долго я пыталась въехать в его жизнь на тяжелой технике – сумки, банки, контейнеры. Грязное белье и чистое.

Поставил на место – вежливо, но не без раздражения: «Мама, не надо! Я попробую сам». Хорошо, что сообразительная – поняла. Правда, долго ревела: «Я! Ему! Совсем не нужна!»

Рисовалась немножко – чтобы муж пожалел.

Потом привыкла.

Пунктом вторым был отъезд любимой подруги – тоже из области сердечных ран. Конечно же, все разговоры сводились тогда к одному – время, слава те господи, другое! Уезжаем не навсегда, границы открыты, бери билет и через восемь часов ты у меня. Ну, или я у тебя. Да, еще телефон, Интернет и вообще…

Вообще… Да бред, конечно.

Раньше ты была на расстоянии трех километров. На расстоянии телефонной трубки без кода и карточки – только протяни руку. А сейчас – сейчас у меня ночь, а у тебя утро! Раньше я звонила тебе по вечерам, когда всех разметаешь по своим углам, и – вот, вот…

– Ну, родная! Поехали?

А сейчас…

Сейчас я буду смотреть на часы, высчитывать время в твоем дурацком Нью-Йорке и думать: могу ли позвонить? У тебя же ассимиляция. И столько проблем.

И постесняюсь, наверное, тебя грузить.

И на билет нужны деньги, а до этого – нужна виза, а дают ее твои новые соотечественники совсем неохотно.

Раньше я звонила тебе и говорила: а пойдем туда? Ну, или – туда? Посидим, выпьем кофе. Потом пройдемся по центру – по нашему центру, его немножко осталось. По Кировской, от Главпочтамта до «Дома фарфора». Или – от «Маяковки» до

«Белорусской».

А после этого отпускало. Сразу!

После наших с тобой «шатаний». После наших посиделок в кафе.

Еще я могла сказать тебе: «Отдай мне что-нибудь. Например, дубленку. Она же тебе надоела. Ну, или серый свитер. Он тебе не идет». Ты возражала, но тут же включалась: «А твой синий плащ? Он тебе мал». Теперь возражала я. Потом, разумеется, договаривались. Получалось – обе в обновках.

Да при чем здесь обновки! Сейчас тебя нет рядом! И когда я к тебе доберусь…

Итак. Сын улетел из гнезда. Подруга уехала.

И я вдруг почувствовала такое сиротство! Не одиночество даже – именно сиротство. А это куда более постоянное ощущение, оно не проходит. К тому же я осознала, что, в сущности, я никто.

В смысле – невелика потеря для общества.

Не то чтобы за «обчество» я сильно переживала, нет. Переживала я за себя. Поясняю: по первой профессии, медицинской, я давно не работала. И работать не хотела. А ничего другого и не было. Сидела дома, растила сына. Да, конечно, образование – в школу приходилось возить, потому что возле дома хороших школ не было. Каждую неделю – театры, музеи. Мальчик получился умненький, образованный. Инвестиции в ребенка – да, это главное!

А вот мое сидение дома… Ну, все понятно.

Я образцовая домохозяйка. Профессиональная жена. Это тоже профессия! Так я всем объясняла. Всем и больше всего – себе. Все убрано, все разложено, все приготовлено и все на местах.

А дальше? Да и теперь, когда мы остались с мужем вдвоем, быт упростился, и времени оставалось навалом. Мой крутеж по дому, танцы у плиты, с пылесосом, с тряпками и поварешками – пшик, пустота.

Я никто.

И еще – никому не нужна.

Слезы! И – занавес!

Да нет, конечно, нужна. Я все понимала. И мужу, и маме, и сыну. Не нужна только себе. Так у меня получалось.

В общем, «жизнь прожита зря, я неумолимо старею, ах, ах…».

Меня все это достало – ох как достало! А вырваться из этой тюрьмы не могу. Меня словно приговорили. К этим кастрюлям и швабрам. Я очень несчастная женщина. Вы понимаете? Очень! Нет, правда.

Сын убежал, подруга уехала, муж на работе.

А вот отсюда поподробней. Накаркала.

Муж потерял работу. Точнее, бизнес. И в один день мы остались ни с чем. А если точнее, с долгами. С огромными, надо сказать, долгами. Все помнят те годы – лихие, как их называют. Они и вправду лихие – для всех, без разбору. Все выживали. Правда, мы всегда выживаем. В любое время. Это для нас не экстрим, а скорее норма. Но бывает – и мы устаем.

Ну и на фоне всего я заболела.

Тоска не уморит, а с ног собьет. Пословица.

А сопротивляться всей этой фигне не было сил. Вообще не было.

И я заболела. Чем? Да никто не мог понять. Светила разводили руками – анализы приличные, обследования – вполне. Бесконечные визиты к врачам – пробовать различные новейшие техники, просвечиваться, залезать в трубу, дышать, не дышать, рассказывать.

Словом – «колоться». Про все свои беды. Вот это было самое сложное. Повторять снова и снова, что жизнь, в сущности…

Пропала жизнь. Такие дела. Ну и т. д.

Когда я начала писать? Для чего? Да вот тогда и начала. А для чего – да чтобы вырваться из этого мрака. Из тоски пусть мнимого, но одиночества, из безысходности. Из-под руин надо же было выбираться. Пока не завалило окончательно, пока не задохнулась.

Дороги, собственно, было две: одна – на свет божий, наружу, из-под обломков, отряхиваясь и постанывая. Вторая – на кладбище. Что выбирать? На кладбище проще. Ближе. Вернее – путь покороче. Короче и проще. Просто сиди и жди. Все. Путь первый был тернист. Медицина не помогала. Ну, или помогала слегка. Умница-врач так и сказал:

– Теперь вы сами. Без вас мы, пардон, никуда!

– Ладно, попробуем, – наконец согласилась я. – Но уж если не выйдет – не обессудьте.

Он кивнул:

– Лично я в вас верю.

– А лично я в себя – нет! – очень радостно объявила я.

Потом я его пожалела. Но тогда мне было жалко только себя. Честно.

Почти никто не знал, что со мной происходит, – только самые близкие: муж, мама, сестра, подруги.

От сына скрывала – зачем это ребенку?

В то время я бралась за многое. Вернее, пыталась браться.

Почти все надоедало сразу и бесповоротно.

Цветы на участке? Честно – пыталась. Нет, не мое. Хреновый из меня цветовод. И огородник тоже хреновый.

К тому же – больная спина…

Наконец зацепило.

Тарелки. Я стала расписывать тарелки. Огромная радость, поверьте! Покупались копеечные, икеевские. Белые и тяжелые. А уж на них…

На них я отрывалась! Подсолнухи с желтыми «лицами», домики с черепичными крышами и кошками на подоконниках, фиалки в горшках. Почти счастье. На некоторое время отпустило. Потом надоело. Все стены – у мамы, у сестры, у подруг – были в моих фиалках и кошках.

Ну сколько можно?!

Тарелки были, а вот денег не было совсем. Вспоминаю, как ходили по магазину с калькулятором и плюсовали цены – хватит ли расплатиться на кассе?

Вечный стресс.

Сапоги с тройными набойками, сумка с неприличными вытертостями, закрашенными фломастером. Нищета, не способствующая радостному настроению. Она вообще ничему не способствует. Не верьте, что она может сподвигнуть. Она только глубже и настырнее тянет вас в яму отчаяния и безразличия: я ничего не могу, нет для меня никаких женских радостей – ни магазинов, ни кафе, ни пляжа и моря…

Тогда – зачем? Карабканье это жалкое, эти потуги?

Все это – плюсики к моему состоянию. Все!

Сковородка с ободранным дном. Салатник с отбитым краем. Старые туфли. Плохая стрижка. Дешевая тушь. Шторы с дыркой. Выгоревшие обои.

Имя всему – Безысходность.

Именно так – с заглавной буквы.

Отсюда и настроение, правда. Не в бедности дело, а в унижении. Голодными не были ни разу, нет. А вот позволить себе ничего не могли.

Хотя…

Расставь приоритеты, милая! Ты ж не совсем дура. Стыдно все это на фоне страданий, катастроф, неизлечимых болезней, потери близких людей.

Стыдно.

Но это же моя жизнь!

И мне в ней больно, грустно, обидно. Пустынно. Я ведь… не худшая, правда? Тогда – почему? И вечный вопрос: кто виноват?

И вечный ответ: конечно же, я!

А уже хорошо за сорок. Большая, так сказать, часть жизни. Что я успела? Где отметилась? В чем отличилась?

Да, есть семья. Слава богу. Есть любовь – тебе снова мало? Нахалка. Есть сын – прекрасный, надо сказать, человек. Есть подруги. И какие подруги! Завидно самой себе. Опять мало? Нет, ты не нахалка. Ты хуже! Ты просто хамка. Вот кто ты. У других – и половины того, что есть у тебя, нет. А радуются ведь! Улыбаются!

Стыдно? Я – слабая? Я – бесстыжая? Я – неблагодарная?

Устыдилась?..

Да нет. Вот отчего-то не стыдно.

И даже стыдно, что отчего-то не стыдно! Просто… я сломалась на малом. Или все это совсем не малое? Я ведь сама это выбрала. Домохозяйство, например. Отказалась от своей прекрасной специальности, несущей надежду и реальную помощь.

Я сама выбрала этот путь. Так чем же я недовольна?

Тем, что во мне сейчас не очень нуждаются? Я же привыкла. Привыкла к тому, что я всем нужна.

А сейчас я – на обочине.

Мои неработающие подруги испытывали примерно то же, что и я.

А ведь вначале так радовались!

Мужья «посадили» нас дома – ведите хозяйство, растите детей. Встречайте кормильцев с улыбкой. Вначале была радость: мы – дома! Нам не надо рано вставать, с полузакрытыми глазами спасать подгоревшую яичницу и оправдываться перед родными. Тащить ревущего и сонного ребенка в сад или в школу. Болтаться в переполненном транспорте, отворачиваясь от пейзажа за окном – серая муть, дождь, лужи, сугробы по пояс, только бы не упасть, не сломать ногу или, не дай бог, башку, чтоб этих дворников…

Ранняя весна, и снова грязь – лужи, талый и черный снег, ветер в лицо – где моя прическа? Дальше – жара, в транспорте, простите, – воняет, на работе нечем дышать, и я всех опять ненавижу! Прибавьте к этому магазины, сумки, оттягивающие руки, скорее в детский сад: боже мой, он там, наверное, остался один из всей группы!

Ребенок смотрит на тебя так… что хочется реветь. А тут еще воспитательница со своими жалобами и наставлениями. Тащишь детеныша домой, и снова хочется реветь – от жалости к себе и к нему.

Дома – разобрать сумки, приготовить ужин, выкупать ребенка, почитать на ночь. Запустить стиралку, разморозить что-нибудь на завтра – как все надоело! – погладить мужу рубашку и юбку себе – все ненавижу, все. А после всей этой гадости – улыбнуться мужу и выслушать его.

Да! Еще вымыть пол и посуду. А назавтра – тот же сценарий.

И это в лучшем случае.

Все. Я устала.

А у меня все не так.

Я сплю по утрам. Завтрак мужу приготовлен заранее – обязанностями я не манкирую, нет. Потом пью кофе, кормлю ребенка, отправляю его в сад или в школу, болтаю по телефону и не спеша – не спеша! – подчеркиваю, – принимаюсь за домашние дела.

Днем я могу поваляться с книжкой, и к вечерней улыбке я вполне готова. Поди плохо, да?

Но вот ребенок выучился и даже окончил институт. Ушел в свою жизнь. Муж… пытается заработать. А ты – ты по-прежнему дома. Валяйся, высыпайся, читай, болтай по телефону. Не спеши! Занимайся собой, в конце концов. Бассейн, аэробика, выставки, посиделки в кафе с подружками. Наконец, магазины.

И опять пресловутое «но» – на все это необходимы деньги. На все удовольствия. Ну, чтоб не так сильно грустить. Без них никак. И не потому, что я такая корыстная. Такая меркантильная. Нет. Это закон жизни. А я не из тех, кто – счастливый! – умеет радоваться просто так, безо всяких «подпиток» в виде приятного «женского».

И к сорока годам мои подруги засобирались на работу. Одна пошла преподавать в школу. И при всей ее любви к детям… через полгода стала их ненавидеть. Другая – юрист – тоже было собралась. Но тут вышла неувязочка – дочь поспешила родить ей внучку. Подруга «пошла в бабушки».

Моя американская подруга негодовала: как вы так можете?!

В смысле – не работать. Это же неприлично, в конце концов! И дело не в деньгах – хотя помощь семье не возбраняется. Здесь даже богатые заняты делом. Идут, например, в благотворительность. В приюты – кошачьи, собачьи. Кормят нищих. Помогают престарелым и одиноким. А вы там… Живете тупо и бесполезно!

На благотворительность, как известно, тоже нужны средства, и средства немалые. И еще – здоровье.

Ни того ни другого тогда не было.

Да и самой благотворительности, кстати, тоже тогда у нас не было. В смысле – в стране.

Но мы с подругами нашли две семьи, где одинокие матери воспитывали не очень здоровых детей. Стали их опекать – по возможности. Возможности были слабенькие, однако все равно

это было для них подспорье. Собирали по знакомым вещи, американская подруга тоже прислала целый мешок одежды и игрушек. Помогали продуктами, привозили подарки на праздники. Собирали какие-то деньги. Все на уровне самодеятельности, но помощь все-таки была реальной и искренней, от души. Это меня немножко вытягивало и прибавляло жизненных сил. Хотя и отнимало тоже – как любое дело, в которое вкладываешь душу и за которое переживаешь.

Но даже это благое дело не умалило моей тоски и неприкаянности. Душа томилась дальше и глубже.

Вот что человеку нужно?!

Про «полное счастье» не говорим, все мы большие, взрослые, умные – и так все понятно.

Что нужно, чтобы просто существовать в ладу с собой? Не томиться, не тосковать, что проживаешь пустяшную и ненужную жизнь? Что нужно, чтобы поверить в себя, открыть, простите за пафос, новые горизонты, пуститься, наконец, в авантюру – рискнуть, попробовать, ошибиться и снова рискнуть и попробовать, не испугавшись?

В те годы я мечтала только об одном – о душевном равновесии. О душевном комфорте. Чтобы мне просто было хорошо и спокойно. Разве это преступление? Что-то из области невозможного и нереального? Фантастического?

Я разглядывала добившихся успеха, довольных собою женщин. Они были прекрасны. У них горели глаза. Они были уверены в себе, значительны в глазах окружающих. Они чувствовали вкус к жизни!

А у меня, похоже, атрофировались рецепторы радости и удовольствий.

В медицине, которую я окончательно забросила, есть такой термин – аносмия. Потеря чувствительности к запахам. И еще авгезия – потеря восприятия вкуса. Я и потеряла. Ну, если честно – почти.

Я проживала жизнь, а не жила. Я тащила ее за собой, как Сизиф тащил свой тяжелый, никому не нужный камень.

Ежедневный «день сурка» вытягивал из меня последние силы.

Хорошо было только вечером – этот день я уже прожила. Впереди – целая ночь. Когда не надо будет задумываться, как дотянуть до вечера. Вот оно, мое счастье!

Здорово, да? Жизнь девальвировалась. Свои «задания» я исполняла как робот – здесь работали мои прирожденные ответственность и обязательность.

Чувство долга, только и всего. На нем я и держалась.

От всех этих «радостей» снова и уже окончательно

посыпалось здоровье – так шустро, словно долго дожидалось своего часа. Я снова не успевала координировать записи к врачам. Врачи сначала предполагали ужасные диагнозы, потом не находили им подтверждения и опять разводили руками.

Пройдя все круги, я поняла, что помочь себе смогу только я.

Я сама.

Пришло время разобраться с собой.

Я перечитала свой текст. Только что.

И поняла – не убеждает.

Я получилась истеричной и капризной особой. Из тех, кто бесится с жиру.

А это, поверьте, не так. Я никогда не была ни истеричкой, ни плаксой. Я всегда была бойцом и борцом.

Я не хотела об этом писать. Потому что…

До сих пор – больно.

Но рассказ этот автобиографический. Значит, надо быть честной.

Я напишу об этом коротко, ладно?

Ох…

В тот год было еще одно испытание. Моральное и душевное.

Не получилось то, о чем мы с мужем сильно-сильно мечтали. И очень шаткий стул, на котором я, образно говоря, кое-как, но сидела, окончательно рухнул – подкосились ножки, и все.

Я полетела. Упала. Разбилась. И встать, подняться – уже не могу.

Кое-как «доковыляла» до лета.

И наконец – дача! Я так любила ее…

Пусть мой сад скромен и беден, но у меня на участке растут огромные елки, а прямо за забором зеленеет малахитовый лес. На заборе пристроились две бесстрашные сойки – переливчатые, перламутровые, коричнево-синие.

По веткам яблони пробежала пегая шустрая белка. Под крыльцом ворчит огромный, как футбольный мяч, напыщенный еж. Поют птицы, и расцветает сирень…

Я одна, и мне хорошо!

Я долго сижу в саду, иногда закрывая глаза, слушая звуки леса и поскуливание электропилы на соседнем участке.

Как я люблю природу! Я – человек леса и средней полосы. Но это не отменяет мою любовь к морю и восторг перед величием гор…

Мне стало спокойно. Впервые за долгое время.

Я поняла, что хочу жить!

И это открытие меня ошеломило. Я прислушивалась к себе – недоверчиво и пугливо.

Я боялась спугнуть эти мысли. Очень боялась.

Наверное, именно в этот день я взяла лист бумаги и ручку. Точно не помню. Да и какая разница?

Ведь это случилось.

И я начала оживать. Просыпаться. Жить.

Помню то утро, которое впервые было хорошим.

Это было огромное счастье – проснуться и не бояться прожить новый день!

Я вышла на веранду и села пить кофе. Солнце деликатно просвечивало сквозь темное кружево листвы. Разумеется, меня подбадривали и поддерживали, призывая разделить всеобщую радость, отчаянные птичьи пересвисты и переливы. Звуки природы – тактичные, ненавязчивые, успокаивающие. Целительные…

Потом я разложила листы А4 и – начала писать.

Мне было все равно, что из всего этого получится. Произойдет что-нибудь или нет. А уж про все остальное я просто не думала – да и помыслить не могла. Нахальства, наверное, не хватало.

Я не имела далеко идущих планов. Я не имела планов вообще! Я просто писала, изливая на бумагу свои мысли, печали и радости. Просто прописывала жизнь своих неожиданных героев. Говорила с ними, спорила, не соглашалась. Жалела их, презирала и снова жалела. Они были для меня такими явственными, такими живыми, такими знакомыми, словно я знала их сто лет – со всеми их слабостями, несуразностями, ошибками и неудачами. Я злилась на них, огорчалась вместе с ними, радовалась их прозрению и удачам. Я разговаривала с ними, словно они были живыми.

А они и были живыми! Честное слово!

Я проживала их жизни и забывала о своей.

Я переживала их падения, горести и неудачи, и мои собственные падения, горести и страдания чуть меркли и переставали казаться такими значительными, таким объемными.

Такими нерешаемыми.

Они меня спасали, мои придуманные герои. Они вытаскивали меня из моего сырого и глубокого колодца. Из темного подвала, куда я проваливалась все глубже и глубже. Справляясь со всеми проблемами, ну, или почти со всеми, они давали надежду, что справлюсь и я.

Или – почти справлюсь.

Такие дела…

Теперь я не могла дождаться ненавистного прежде утра, чтобы снова встретиться с ними и начать с ними же разбираться.

Муж позвонил по мобильному и не понял, в чем дело. Я говорила бодро, торопливо и… весело.

Он давно не слышал меня такой.

– Хорошо звучишь, – осторожно заметил он.

Он пока ничего не понял.

В пятницу ему полагалось приехать. Я слегка расстроилась – и это при том, что скучали мы друг по другу ужасно.

Накануне его приезда я приготовила ужин – торопясь, чуть небрежно. Не так, как всегда.

Я не вышла на дорогу его встречать – я торопливо что-то записывала.

Когда он подъехал, я, тяжело вздыхая, сложила свои листочки и нехотя поднялась ему навстречу.

Он разглядывал меня с интересом, все еще не понимая, в чем дело.

А я, грешная, думала про воскресный вечер, когда наконец останусь одна!

На следующие выходные я решилась прочесть ему свои неумелые опусы.

А он… заплакал.

И тут я совсем растерялась.

Отчего он заплакал? От счастья, что я увлеклась? Отвлеклась и не смотрю в одну точку? Или его что-то тронуло в моих рассказах? А может, все вместе, одно к другому?

Наверное, так.

А лето мое продолжалось. И впереди был еще почти целый июнь, и абсолютно целые, совсем без купюр, июль и август.

Меня больше не волновала погода – за окном дождь, и это еще лучше! Как уютно сидеть на веранде, слышать, как дождь барабанит по крыше и «плачет» по окнам.

А после него все еще прекрасней – солнце переливается в мокрой траве и такие запахи, что кружится голова!

Я писала все лето.

Я по-прежнему плохо спала, но это была другая бессонница – теперь я продумывала сюжеты.

Я вставала легко и рано. Распахивала входную дверь и шумно вдыхала прохладный утренний воздух.

Муж поставлял бесконечные ручки и толстые пачки листов А4. Помню, что назывались эти наборы «Снежинка».

Да! Еще были скрепочки – черненькие «крокодильчики»,

скреплявшие листы с готовыми рассказами.

К концу августа, который был прохладен и очень дождлив, в коричневой папке лежало, по-моему, девять рассказов.

И еще – надо было собираться в Москву. Дача была летней, печку я топить почему-то боялась, в доме было неуютно и сыро, и муж торопил меня в город. Он тосковал без меня, и мне было неловко за радость моего уединения.

Я вернулась домой и писать перестала.

Почему? Да не знаю. Честно – не знаю.

Однажды муж осторожно спросил:

– А что будем делать? Ну, со всем этим?

Я пожала плечами:

– Да что тут делать? Пописала, написала, справилась со своим отчаяньем. И все. Спасибо! Всем спасибо, все свободны. Точка.

– Жаль, – сказал муж. – Мне все понравилось. Хотя критик я, разумеется, никакой. Да и человек совсем необъективный, но все же. Трогает, знаешь… Цепляет.

– Все оттого, что я – твоя жена, – отрезала я. – И потом у меня нет амбиций и заблуждений. Никакого честолюбия и тщеславия. Психотерапия – и все! Поставили точку. Я не графоман – категорически нет. Было по кайфу – писала. Дело сделано, тема закрыта. Да мало ли кто сейчас пишет? Мало ли у кого полно свободного времени? Все это, знаешь ли, игрушки и погремушки.

А он настаивал: надо, обязательно надо кому-нибудь это показать!

Как и кому? Смешно, ей-богу!

Отослать это в издательства? Ну, допустим. Представила – сколько чокнутых шлет свои опусы ежедневно по мейлу и почте. Тонны, наверное. Надеяться, что когда-нибудь, может быть, это прочтут? Заглядывать в почтовый ящик и теребить сына – проверь свою почту?

Своей личной почты у меня тогда и не было.

Не хочу! Почему? Да не важно.

Я же уже говорила – нет у меня амбиций и с честолюбием плохо. Да и потом – куда сейчас, в наше время, без денег? Я не жена олигарха, который радостно обклеил вагоны метро рекламой книженции про нелегкую жизнь богатых своей длинноногой жены-модели. У меня, как говорится, не та ситуация. Муж бьется-колотится, чтобы мы как-то кормились. Сын живет своей жизнью. Время такое – увы! Деньги решают все. Я же не дура – все понимаю.

Искать знакомых? Бред.

Во-первых, в издательской сфере знакомые отсутствуют. Во-вторых, даже если б они и были? По знакомству такие номера не проходят. Блат тут не работает. Это же ясно, как белый день.

В общем, сидим и не рыпаемся. Планов не строим и остаемся по-прежнему реалистами.

Нет, врать не буду – телодвижения были.

Например, мы показали мои рассказы одной молодой даме, работающей в издательстве учебной литературы. Она прочитала и сказала, что мило и вполне, что это имеет право на жизнь. Скорее всего, надо начать с журналов – предложить туда. А там уж – ну, кто знает, что там, за горизонтом? Как в песне – там, там-тарам, там-тарам…

В сентябре на ВДНХ проходят ежегодные книжные ярмарки.

Как я узнала об этом? Случайно.

При всей моей горячей любви к книгоизданию и книгочтению на этом мероприятии я не бывала, признаюсь. Довольствовалась книжными магазинами.

Итак, сентябрь. Муж занят, выручает мама: поеду, говорит, с тобой – для поддержания, так сказать, морального духа.

Огромный павильон, стенды различных издательств. Я уже выучила тех, кто занимается беллетристикой. Сообразила. Их совсем немного, этих издательств. Парочка совсем серьезных, еще парочка попроще. На сцене выступают писатели. Известные, узнаваемые. Понимаю, что выступать ТАМ почетно. Я же – как бедная родственница: в захудалой куртешке, с мамой-подпоркой, с мамой-костылем пытаюсь кому-либо всучить свою дискету с тремя рассказами, набранными дочкой подруги. Какие-то люди вяло спрашивают, дескать, что у меня там, на дискете.

Рассказы? Зевок. Нет, не нужны. Снова зевок – пошире.

Более любезные объясняют, что рассказы – жанр умирающий, никому не нужный, вот если бы детектив или, на крайний случай, роман…

Вежливо дают понять, что я свободна.

Практически навсегда.

Надежд никто не дает.

Я бормочу что-то про Чехова, Куприна, Бунина. Токареву, Довлатова, наконец. При этом жарко оправдываюсь, что с ними, с великими, не сравниваю себя – ни-ни! Даже подумать страшно!

Одно понимаю – им неинтересно. Кто-то дискету берет, и я понимаю, что она останется там, на ВДНХ, навсегда. До компа редактора не доедет.

Но – что делать! Надежд-то особых и не было.

Я не верю в случайности, в счастливую судьбу, во всякие там чудеса. Повторяю, я реалист. Пошла туда под напором родных, после всех разговоров про «лежачий камень».

Ну, съездила. Побродила. Поглазела на знаменитых. Поняла, что коллегой их точно не буду. Купила какие-то книжки – уже радость. Прошвырнулись с мамочкой, потусовались. Погода прекрасная, времени свободного – море. Вышли из павильона, прошлись по выставке, посидели в кафе под полосатым тентом, что-то съели, чем-то запили. И – восвояси.

Господи! Могла ли я подумать тогда, что совсем скоро, всего-то через каких-нибудь пару лет, я буду – нет, невозможно представить, о чем вы! – выступать на стенде самого – самого – большого и лучшего издательства страны!

В качестве, разумеется, автора.

Нет, правда! Ни о чем таком я не думала. Совсем.

Не думала, что позвонят. Что рассказы возьмут. Да еще и напечатают. И вообще я об этом довольно скоро забыла, честно.

И тут – звонок!

Я – в тяжелом бронхите, за окном поздняя осень, и все противно – и погода, и самочувствие. И дела семейные по-прежнему – ни с места. Никаких улучшений. Никаких надежд на хорошее. Никаких! По подруге скучаю, денег поехать к ней нет. У мужа с работой не складывается – все обещают, но, как обычно, ничего не происходит. Сын приезжает, конечно. Но у него своя жизнь. Захожу в его комнату, сажусь на диван и – реву.

Да, отвлеклась!

Так вот, про звонок.

Женщина представляется – имя, фамилия, должность. Я сильно кашляю, извиняюсь и переспрашиваю: «Кто-кто? Редактор? Из издательства?»

Она очень терпеливо и очень вежливо подтверждает.

А после говорит, что рассказы мои они готовы взять.

Ну ничего себе?!

Да-да. Готовы. Только вопрос – а еще у вас есть? Ну, в смысле – еще материал? На дискете-то всего несколько штук. А дальше? Для книги маловато, не хватает объема.

Для чего?! Для книги?..

Нет, у меня что-то со слухом. Не иначе – осложнение после бронхита. Такое бывает, ну, когда плохо со слухом.

Я снова давлюсь приступом кашля и, представьте, к тому же разражаюсь бурными слезами – от радости, конечно. От неожиданности.

От счастья!

Редактор тяжело вздыхает. Хотя ей, наверное, не привыкать.

Авторы, они же такие…

Ранимые. Нежные такие. Впечатлительные.

Наконец я выдавливаю, что да, рассказы еще есть, но… Написаны от руки, так как компьютером я пользоваться не умею, ни к чему мне все это, домохозяйке. Я ж в писатели не собиралась…

– Ничего, – говорит редактор, – давайте рукописи. Куда ж деваться.

Я бормочу, что почерк у меня кошмарный, медицинский. Что там все правлено-переправлено. Зачеркнуто-перечеркнуто. Короче, кошмар. Такой, что неловко… Может, переписать? Начисто?

В общем, морочу ей голову, обалдевая от еще не до конца осознанного счастья.

И муж отвозит мои каракули этой прекрасной женщине.

Спустя пару месяцев, в первый же день, когда моя первая книжка вышла, мы рванули, разумеется, в книжный.

Это был МДК на Арбате. Помню прекрасно. Книжку мою отыскали с трудом. Затерялась, родная, на книжных полках. Стоит незаметная, робкая. Неприметная.

Ну, я и купила штук десять. Гордиться так уж гордиться! И так же гордо вышла на улицу.

Я – автор!

В машине я стала рассматривать ее так, как, наверное, геммолог рассматривает в сверхсильный микроскоп ценнейший алмаз. Что-то пытается увидеть, углядеть, распознать…

Я трогала ее, гладила обложку, переворачивала страницы – так и сяк. Убирала в сумку и через пять минут доставала. И снова разглядывала и гладила.

Муж косился на меня и молчал. Понимал, видимо, у меня – процесс. Процесс осознания, что вышла моя книга.

Ночью я не спала. От счастья.

В том издательстве вышли две мои первые книги.

Но…

Прошло это как-то… Никак.

По многим причинам.

И я подумала: амбиции мои, которых, собственно, и не было, вполне удовлетворены. Амбиции родни – тем более. Семья мною гордится. Всем знакомым подарено по экземпляру. Естественно, витиевато надписанному.

Кое-что я в жизни сделала: чуть-чуть, например, побыла писателем.

Громко, конечно, сказано, но… Все же приятно.

А дальше…

Дальше мне писать как-то вдруг расхотелось. Почему? Да потому, что не было мотивации. Вот почему.

Потому что книги мои продавались плохо. Денег это не приносило совсем. Учиться писать на компьютере мне не хотелось. И вообще – потешила самолюбие, и ладно. Хорош.

И я пошла работать.

Работа была интересная – подруга открыла антикварную лавочку и предложила мне быть там – внимание! – товароведом.

Ничего себе повороты судьбы, а?

Я растерялась – ну, какой из меня, медички и чуть-чуть писателя, товаровед?

Смешно.

Подруга, девушка решительная, сказала: фигня! Есть Интернет, я подскажу, интересно обалденно, ты справишься. Не боги ведь горшки обжигают, правда?

И все оказалось правдой.

Я научилась распознавать клейма на посуде и пробы на украшениях. Год, завод или фабрику, страну и прочее.

Это было невероятно интересно!

Особенно возиться с фарфором или фаянсом или с ювелиркой. Я читала статьи, шерстила Википедию.

Я полюбила китайскую технику перегородчатой эмали. Совсем недорогое варшавское столовое серебро. Эпоху арт-нуво и арт-деко. Югендстиль. Бронзу отличала от сплава. Натуральные камни от искусственных. Немцев от итальянцев. Французов от поляков.

Конечно, я понимала не все и далеко не во всем. Тогда подключалась подруга.

Словом, справлялись. Да и поток был совсем небольшой – не огурцы ведь на рынок несли, а раритетные вещицы.

Два года я просидела в этой милой лавчонке в полуподвале, разглядывая в лупу принесенные штучки.

Два года счастья и предвкушения, что вот сегодня нам принесут что-нибудь такое… Такое! Ну, все понятно. Необыкновенное, вот какое!

Кое-что покупала себе – недорогое. Например, у меня до сих пор «живут» прекрасные вазочки, какие-то фарфоровые фигурки, тоже дешевые, без эмблем. Украшения из серебра. То, что я могла тогда себе позволить. Живут и радуют душу.

Лето-2010. Жуткое лето. Смог и жара.

Да это бы ладно!

Но тяжело заболела мама. Первый инсульт. Мы с ней

поселились на даче – хоть какое-то спасение от этого ужаса. Мама почти не ходила (перед этим были реанимация и больница – почти два месяца). Она не ходит, но она жива!

Я рядом с ней, естественно. Пытаемся вылезти из этого ада. Она очень старается, но…

Все равно тяжело. Очень.

И снова звонок. От того самого редактора. Мы давно не «слышались», больше двух лет.

И она мне предлагает…

Того, первого, издательства, уже нет – в бозе почило. Работает она теперь в другом, самом большом и самом известном. Самом крутом. Так вот: они меня хотят издавать. И они предлагают выпустить мою серию, авторскую. И для этого надо немного – всего-то написать книгу.

Новую. К августу.

А на дворе июнь.

И больная мама. И жара. И ужасная вонь от пожаров. И компьютера нет. А если бы и был – работать на нем я не умею. Не сподобилась.

Такие дела…

Мне предлагают подумать – ну, скажем, три дня.

Я что-то торопливо бормочу про жару, маму и все прочее. Редактор не настаивает – просто предлагает: если сможете, Маша. Если получится.

Предлагает то, от чего нельзя отказаться!

Потому что такие предложения поступают всего один раз. И называются они ни много ни мало – шанс. Все. Конец.

Не успею, думаю я. Да ни за что не успею! Это нереально, учитывая семейные дела и проблемы…

Даже и браться не стоит – зачем время терять и морочить голову серьезным людям. Голова забита совсем другим – врачи, лечебная гимнастика, массажисты, реабилитологи и снова врачи. Мир замкнулся на этом, и это было единственно важным.

А все остальное – ерунда, и значит, опять не судьба.

Но я вступила с судьбой в противоборство. В схватку, в борьбу. Осмелилась, понимая, что сил у меня совсем немного, а у нее – да навалом у нее сил! Как она испытывает меня! Глумится, хихикая, издевается. Пробует меня на зубок…

А знаешь-ка, милая! А я попробую. Устрою себе и тебе армрестлинг.

Ну – кто кого! Согласна?

Тогда – поехали!

Помню – жара везде. Укрыться негде.

В доме жара, а на улице еще хуже. Мотаюсь из дома на террасу – плохо и там, и там. С утра, естественно, все приготовлено, прибрано, сделаны процедуры, гимнастика и все остальное.

Мама уснула.

И я пишу. До обеда.

Потом кормлю всех – приехали муж и племянник. Уборка, посуда и снова пишу…

Ну, и так далее, со всеми остановками на родных и близких.

И я ее написала! Важно было то, что я это сделала. Мое личное ощущение – я смогла! Не проиграла ей, жестокосердной и насмешливой. Не струсила.

Книгу я отдала в срок, день в день.

И тогда поняла – теперь у меня наступает совсем другая жизнь.

У меня есть работа. Дело. Мое.

Что изменилось в моей жизни? Да все. Моя жизнь организовалась. Она стала планироваться. В ней появились четкость, занятость, которые исключали и хандру, и расслабуху.

Хочешь не хочешь, а надо! Подвести людей, поверивших в меня, я не могу.

Я не могу не сдать вовремя книгу, потому что совсем потеряю покой. Мне же лучше сдать ее в срок!

Признаюсь, сначала был жуткий страх. Страх, посещающий всех без исключения авторов. Знаю, опрашивала.

Страх, что не будет сюжетов. Просто иссякнут – и все! Нечего будет писать.

Со временем он прошел. Теперь думаю: успеть бы написать все то, что задумала!

Потом был страх, что не успею сдать рукопись к сроку.

Всегда успевала, спасибо родителям за переданные по наследству организованность и обязательность.

Не заслуга – черта характера.

А когда терзают фобии и сомнения, наслаждение исключается. Абсолютно! Но первый этап – это надо, это обязательство, надо – хочешь не хочешь – просто сесть за стол и открыть комп, – прошел.

Да, кстати: работать на компьютере я научилась. Просто поняла, что без этого – никак. Да еще и замучила совесть – как они там, бедные, читают мои каракули. Кошмар!

Итак, техника – а с ней я всегда была на «вы» – освоена.

Хотя писала я первое время так медленно и мучительно, что сосредоточиться на самом тексте было сложно. Но, опять же – не боги горшки обжигают!

Освоила.

А вот что произошло дальше…

А дальше произошло то, что я стала ждать! Томиться ожиданием: когда же, когда я «упаду» в свой текст и, потирая руки, начну…

Это стало необходимым, без этого я просто не мыслила жизни.

Это помогало уйти от реальности – ну хотя бы на несколько часов.

Разбираться в перипетиях судеб, расставлять человеческие фигурки – как гроссмейстер на шахматной доске. Управлять ими, направлять их. Решать вместе с ними их неразрешимые, казалось бы, проблемы. Выводить на «ясный свет», осчастливливать, восстанавливать справедливость (хотя бы в тексте, пусть не в жизни, пусть).

Я играла в эту увлекательную, витиеватую, кропотливую игру – с такой серьезностью и удовольствием, что…

Да нет, не так все просто. Совсем не так просто, знаете ли.

А бессонные ночи? А размышления и раздумья, пожирающие меня?

При этом я – на земле. Я не в астрале каком-нибудь – ни разу! Я вообще – земная.

И я по-прежнему решаю все проблемы своей семьи. А их, как вы понимаете, меньше не стало.

Просто я стала относиться к ним… терпимее, что ли? Легче?

Не знаю, наверное, да.

А хлопот-то прибавилось. Я же теперь публичная личность! А это предполагает встречи в библиотеках и книжных магазинах. Интервью. Публикации. Телевидение и радиоэфиры. Статьи в журналах, комментарии в газетах. Командировки, кстати.

Расширился – ну, это понятно – и круг знакомых.

А все остальное не изменилось. Вообще! Я по-прежнему жена, дочь, мать и к тому же бабушка. Я по-прежнему отвечаю за всех.

Такая планида!

Но есть прекрасное слово «зато», чудесное слово, оправдывающее всю мою непростую жизнь.

Зато я писатель! Зато у меня есть почитатели, а не только читатели. И их замечательные слова поддержки и даже любви дают мне силы, физические и душевные. Мне пишут со всех концов света!

Зато мной гордится семья. Какую радость я доставила маме!

У меня появилась вторая семья – мое любимое издательство. Там меня всегда поддержат и поймут. А если надо – и пожалеют.

Кстати, я по-прежнему работаю с моим первым редактором.

Правда же – это тоже «зато»?..

У меня счастливая писательская судьба – это не мои слова, это слова главного редактора.

О чем они? О том, что мои опусы доходят до читателя и иногда цепляют и трогают его. Помогают ему. Я знаю об этом, поверьте!

Зато у меня замечательная невестка, чудесный сын, верный муж и жива моя мама. А какой у меня внучок! Моя копия, представляете? Вот как бывает…

И – кстати! Я зарабатываю деньги. Впервые в жизни это делаю я.

Чем не еще одно «зато»?

Зато я ощущаю себя… состоявшимся человеком.

Простите мою нескромность. У меня есть дело. Любимое, хоть и нелегкое. Много отнимающее, но и дающее, безусловно, неизмеримо больше. Ощущение себя, например. И это вовсе не значит, что я загордилась! Просто… я стала относиться к себе с уважением.

Разве этого мало? Для меня, например, вполне достаточно.

Я, безусловно, трезво оцениваю себя и не стремлюсь попасть в «эпохальщики» – это было бы просто смешно! Но если… кому-нибудь, когда-нибудь, чем-нибудь я помогла…

А я-то знаю, что помогла! То это значит…

Ну, всем понятно, что это значит!

И еще про судьбу и случай – вот если б я тогда струхнула? Банально испугалась, что не сдюжу, не потяну? Не успею к сроку. Что жарко, что пахнет дымом, что мало времени и вообще…

Если бы я тогда отказалась от шанса? Не взяла бы, как говорят?

Страшно подумать.

Нет, жила бы, конечно. Как-то жила бы…

Но – как?

Ведь самое главное в этой почти невероятной истории – что я обрела себя. При всех прочих приятностях.

Так вот сложилось.

Поэтому – призываю. Имею на это право, поверьте! Не сгоряча – подумать всегда есть смысл, – вступайте в схватку. Не бойтесь поражения. Ведь, в конце концов, если нас победят, то это тоже нормально. А уж если победим мы…

Ведь схватка с самим собой – наверное, самое трудное в жизни. А если ты верхом на коне и даже с поднятым знаменем?

То – честь и хвала. И рок еще сто раз подумает, стоит ли с тобой связываться? Хотя бы по мелочам…

Которые, кстати, особенно утомляют.

И тут еще вспомнилось вот что – подруга, жалея меня, утешала: ну как-то худо-бедно все поправится. Исправится как-то. Жизнь, она ведь как – пожмет-пожмет хорошего человека, ну и отпустит. Или так – Бог закрывает дверь, но приоткрывает окно.

А я так горячо все отрицала! Почему-то в справедливость убытка мне верилось гораздо сильнее.

Что вообще может поменяться в лучшую сторону? Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете?

Да и к тому же – в чудеса и всякую там прочую ерунду вроде «счастливой случайности», чего-то «на роду написанного», обычно верится только в первой половине жизни. А я была определенно уже во второй.

Но, как говорила кэрролловская Алиса, чем дальше – тем все чудесатее и чудесатее!..

И у меня нет оснований ей не верить.

А давай попробуем! Татьяна Корсакова, прозаик, врач-физиотерапевт

Родилась и живет в Беларуси и уже больше десяти лет совмещает врачебную практику с написанием мистических романов. Идея первой книги пришла к ней после рождения старшего сына – вдруг захотелось добавить в обыденность немного сказки. По мнению Татьяны, счастье прячется в мелочах. Летний вечер на даче, крылечко, одно на двоих, чашка крепкого кофе и детский смех – вот оно, настоящее счастье!

* * *

Она была еще молода, но уже успешна и чертовски уверена в себе. У нее был загородный дом, который «семейное гнездо» и «неприступная крепость», а еще – сногсшибательные красные боты.

А у меня была съемная квартира, туманные перспективы и токсикоз.

Наши миры надежно разделял экран телевизора, но кое-что нас все-таки связывало.

Она уже была известной писательницей, а я еще только мечтала ею стать.

Мечты эти были робкие и осторожные. В свете приключившейся беременности они и вовсе казались блажью, потому как всем известно: беременным барышням свойственны всякие милые чудачества и неожиданные желания, навроде клубники в январе. Гормональный фон способствует…

Вот только я не хотела клубники, мои желания были куда неопределеннее и куда масштабнее. Они были настолько масштабными, что даже признаваться в них было неловко.

Где я и где те запредельные дали, в которых обычная, в общем-то, женщина, пусть и чертовски уверенная в себе, может, не моргнув глазом, назвать себя писательницей и продемонстрировать всем желающим свою книгу?! И даже не одну, а целую полочку!

Определенно – блажь и чудачество…

Блажь и чудачество должны были пройти если не вместе с

токсикозом, то хотя бы вместе с беременностью.

Так я себя уговаривала и вразумляла, и в дальние дали заглядывать себе запрещала, а если и заглядывала, то одним глазком, осторожно и воровато.

Токсикоз и беременность закончились закономерно – тем, ради чего, собственно, и затевались: рождением сына.

И, казалось, отпустило.

Насыщенные тысячей дел дни и бессонные ночи способствовали лишь мечтам об отдыхе, а прочие наивности и глупости теряли актуальность и блекли перед радостью материнства. И только где-то на задворках подсознания жила мечта о полочке с собственными книгами и сногсшибательных красных ботах.

Но младенцы – это такие чудесные существа, которым свойственно расти, набираться сил и самостоятельности, и рано или поздно у любой мамы появляется время на себя. Его не так чтобы очень много, но в сравнении с прежним цейтнотом вполне достаточно.

А когда у женщины появляется свободное время, ее начинают одолевать думы. Может, не всех женщин, но меня – точно. И вот тут внезапно оказывается, что чудачества и блажь никуда не делись – они отсиделись в подполье, переждали смутные времена и с новыми силами ринулись в бой.

Был соблазн оправдать свое легкое безумство материнской любовью – написать детскую сказку, внести свою лепту в развитие подрастающего поколения. Вот только сказки никак не писались, а если и писались, то были явно не для детской аудитории.

Писалось по большей части что-то затейливое, с чертовщинкой. Писалось от руки, складывалось в аккуратную стопочку, пряталось в папочку.

До лучших времен.

Когда придут лучшие времена и что тогда делать с папочкой, я тогда еще не знала.

Вопрос – где я и где тот волшебный мир, по-прежнему оставался актуальным и авторскому становлению никак не способствовал. Наверное, именно тогда я и начала понимать, что это неправильный, контрпродуктивный вопрос. Сделать бы его чуть более оптимистичным, развернуть бы к лесу задом, а ко мне передом!

И я начала искать варианты.

Сейчас информационный мир изменился. Иногда мне кажется, что до неузнаваемости. Сейчас каждый третий пытается мыслить позитивно, вытаскивает себя на новый уровень развития

и бытия.

А тогда, больше десяти лет назад, в чудеса верили единицы, особенно в провинции, особенно в кругу физиков, а не лириков.

Но книги уже были!

Удивительные, особенные книги, которые казались куда более сказочными, чем те, что я пыталась писать. И авторы этих удивительных книг обещали всем желающим почти невозможное. Они были настолько убедительны, что хотелось взять и попробовать, поверить в чудеса – и в себя до кучи.

В этом не было ничего сложного. Впечатлительным натурам проще всего впечатляться и выстраивать миры внутри себя. Это приятно, увлекательно и совсем не затратно. И даже если внешний мир не отзовется, ничего страшного не случится – просто еще один опыт в копилку личных достижений.

А если он вдруг возьмет и отзовется?!

Пока не попробуешь – не поймешь.

И я попробовала.

Начала с самого простого – освоила Интернет. Тогдашний, многолетней давности Интернет еще был добр и снисходителен к неофитам, делился ссылками и сайтами, помогал заводить знакомства с такими же слегка ненормальными, слегка одержимыми, как и я.

Вдруг оказалось, что их много – ненормальных и одержимых!

И собственные страхи и странности на их ярком и смелом фоне уже не казались такими уж эксклюзивными и невероятными, а мечта вдруг сделала шаг к свершению.

Робкий такой шажок…

Хочешь для себя чуда? Придумай и сформулируй!

А еще лучше, коль уж рвешься в писатели – запиши!

И я придумала, поверила волшебным книжкам, утверждавшим, что невозможное возможно, стоит только захотеть.

Рассказ родился за пару часов.

Он был не то чтобы совсем обо мне, но о моих чаяниях – уж точно. Это была моя первая попытка проложить маршрут если не в реальном мире, то хотя бы в мире вероятностей.

Может быть, поэтому он получился немного сказочный…

«Экий ты, однако, затейник!» – улыбнулась кикимора и кокетливо заправила за острое ушко изумрудно-зеленую прядку…

Силантий поставил многоточие, потер уставшие от ночного бдения за ноутбуком глаза и откинулся на спинку кресла. Все, дело сделано! Текст, конечно, еще сырой и нуждается в изрядной

доработке, но вот она – вынашиваемая много месяцев идея, выстраданная, воплощенная в маленькие черные буковки!

На колени с требовательным мяуканьем запрыгнула кошка, потерлась башкой о подбородок Силантия, заглянула в глаза. Кошка была самая обыкновенная, серая с рыжими подпалинами. Она жила с ним уже пять лет и с первого дня отзывалась на кличку Приблуда. То есть сначала это была не то чтобы кличка, а простая констатация факта.

Силантий подобрал кошку в лесу, худющую, полудохлую, с выпирающими ребрами, и весь путь домой недоумевал, что несчастная зверюга делает в здешней глуши. А зверюга затаилась у него за пазухой и, кажется, даже не дышала. Может, спала, а может, боялась, что Силантий передумает и оставит ее умирать от голода под вековой елью.

Чего греха таить, была у него такая мыслишка. Ну зачем ему в хозяйстве кошка – существо для лесной жизни бесполезное и даже хлопотное! Пусть бы себе и дальше лежала там, где и раньше, – не он положил, не ему и забирать. Силантий, помнится, уже и лапу еловую опустил, и пару шагов прочь сделал, а потом вдруг вернулся. Что-то там такое у него внутри екнуло. У него – жалости не ведающего таежного отшельника, лучше других разбирающегося в законах джунглей и пищевых цепочках!

Зверюга из пищевой цепочки выбивалась, выглядела жалостливо и обреченно.

И вот… екнуло.

Никак особенно Силантий за Приблудой не ухаживал, просто положил на коврик у камина, перед носом поставил две плошки: одну с мясом, вторую с разведенным сухим молоком. Так она и пролежала на коврике больше недели: вела себя тихо и уважительно, Силантию не мешала, только поглядывала настороженно.

А потом вдруг исчезла.

Ну, исчезла – и исчезла, может, ушла по какой своей кошачьей надобности. Силантий особо из-за пропажи не тужил – лес дал, лес взял. У него и своих забот хватало.

Приблуда вернулась через пару дней.

Она сидела на крылечке, смотрела внимательно, переминалась с лапы на лапу. Здесь же, на крылечке, кверху пузом лежала мышь – плата за постой и заботу.

Силантий от подарка отказался, но Приблуду за старания погладил. Вот как только погладил, так она и стала частью его холостяцкой жизни, освоилась, отъелась, даже слегка обнаглела. Спать укладывалась исключительно в Силантьеву постель, долго там ворочалась, тарахтела, терлась горячим боком, а потом

затихала до самого утра. А если, как сегодня ночью, хозяин спать не ложился, устраивалась на рабочем столе, сбоку от ноутбука, и сквозь ленивую полудрему следила за скачущим по экрану курсором. Сначала, правда, пыталась курсор ловить, но Силантий строго-настрого запретил – нечего хорошую вещь портить.

К ноутбуку у него было отношение особенное, граничащее с обожанием. Он был не чужд достижениям цивилизации, почитал кое-какие из них за несомненные блага и готов был до хрипоты доказывать особо ортодоксальным своим соседям, что дизельный аккумулятор – это не блажь, а жизненная необходимость, что в тяжелом роке нет ничего ужасного, а мобильный телефон – не роскошь, а средство коммуникации. Но компьютер из списка предметов жизненной необходимости выбивался. Он был из другого мира. Нет, он сам был другим миром – целым миром, упрятанным в узкую пластмассовую книжицу. В компьютере был Интернет – слава беспроводному Интернету! – и в Интернете можно было самовыражаться!

Раньше Силантию приходилось самовыражаться исключительно на бумаге: сначала по старинке, от руки, потом с помощью печатной машинки. Времени на это уходило много, бумаги еще больше. Зато с растопкой камина, еще одной блажью лесного отшельника, проблем не возникало. Силантий садился по-турецки на коврик и скармливал огню один листок за другим. В такие минуты он ощущал какую-то сладостную горечь, сравнивал себя с Гоголем и мечтал о грядущей славе. Время убегало, огонь в камине никогда не голодал, а написать роман до конца так и не получалось. Кто сказал, что рукописи не горят?

Еще как горят…

Так Силантий и жил до прошлогодней весны. Весной на него нападала какая-то особенная решимость, все свои самые важные начинания он задумывал именно весной, вышагивая по проталинам, перепрыгивая ручьи с талой водой, барабаня палкой по замшелым еловым стволам. Ему нужен компьютер!

И Интернет тоже нужен – непременно!

Тимофей, единственный друг и единственная связующая нить с цивилизацией, явился по первому зову – через три дня. Он выглядел усталым, но довольным, с порога принялся выкладывать на стол гостинцы: пачку кофе, пакет мятных леденцов, целую упаковку шоколадных батончиков, диск с новым альбомом «Металлики», стопку журналов и бутылку беленькой.

– Поздравь меня, дружище! – сказал и улыбнулся совсем по-мальчишески.

– Поздравляю.

Силантий сунул за щеку леденец, с нежностью погладил

глянцевую поверхность журнала «Гео», понюхал пахнущий пластиком и долгими часами удовольствий диск, а шоколадки со смущенной улыбкой спрятал в книжный шкаф. Шоколадки – это не ему, это Устюше, она их любит больше всего на свете.

Кажется, даже больше чем его, Силантия.

– А с чем поздравлять-то? – спросил запоздало.

– С тем, что я теперь не просто егерь, я теперь старший егерь! – Тимофей сорвал с головы шапку, плюхнулся на табурет. – Гордись знакомством! Зарплата почти в два раза больше, мотоцикл «Урал» в личное пользование, ружьишко вот, – он ласково похлопал по прикладу двустволки.

Силантий поморщился: оружие он не признавал и не любил. Больно помогло Тимофею ружьишко-то, когда десять лет назад на него, еще сопливого пацаненка, напал шатун! Если бы Силантий тогда не вмешался, не было бы сейчас старшего егеря Тимофея Ивакина, а были бы обглоданные зверьем и временем косточки, каких в лесу полным-полно…

Они сидели перед зажженным камином – Силантий с рюмкой беленькой, а Тимофей с кружкой фирменного силантьевского березового кваску. Квасок был особенный, на меду настоянный, по крепости уступающий «беленькой», но уж ясное дело, куда более вкусный.

Сидеть, смотреть на огонь, слушать балабола Тимофея было хорошо. Так хорошо, что Силантий едва не забыл о главном – о ноутбуке. Вспомнил, только когда гость уже засобирался в обратный путь, изложил свою просьбу и, смущаясь, попросил поторопиться. Тимофей поторопиться пообещал, сказал, что на следующей же неделе съездит в райцентр и все исполнит в лучшем виде. А потом, хитро сощурившись, спросил, зачем Силантию ноутбук. Была мыслишка соврать, но Силантий подумал и рассказал правду: про рукописи, про Гоголя, про свои писательские устремления. Тимофей устремления одобрил, сказал, что это будет клево и креативно. Что такое «креативно», Силантий не знал, а спрашивать постеснялся.

Друг не подвел – ровно через месяц в Силантьевой берлоге появился ноутбук. Он освоил новое чудо в рекордно короткие сроки: сначала сам компьютер и «Ворд», а потом тайны Всемирной паутины.

Тайны были велики и необъятны, требовали времени и долгого осмысления. Времени у Силантия было достаточно, и он с головой окунулся в виртуальную жизнь.

Жизнь в Интернете била ключом, бурлила и фонтанировала, а иногда подбрасывала подарки. Силантий набрел на форум молодых литераторов, осмотрелся, освоился, вступил в переписку,

«набрался позитива» и решился наконец взяться за книгу.

Жанр выбрал креативный – теперь он знал, что такое креатив!

Это – славянское фэнтези. Хотел поведать миру всю правду про домовых, русалок, полевиков, леших и кикимор, украсить эту правду лесным колоритом, обострить детективной интригой, смягчить любовной линией. Он уже и название для книги придумал. Дело осталось за малым – воплотить мечту в жизнь.

На воплощение ее в жизнь ушел год.

Силантий так погрузился в работу, что иногда не до конца осознавал, где реальность, а где вымысел. С реальностью его связывали старший егерь Тимофей, кошка Приблуда да изредка наведывающаяся в его логово Устюша. Устюши он особенно стеснялся, даже ноутбук прятал перед ее приходом. Но только она каким-то своим особым женским чутьем все про его тайны выведала и совершенно нежданно их одобрила. В благодарность Силантий любовную линию в книге чуток углубил, добавил красок и целых три ночи, обливаясь потом и жутко смущаясь, выписывал эротическую сцену, а Устюшу с тех пор называл исключительно «моя муза».

И вот когда рукопись, пусть еще и «сырая», но уже вполне реальная, была аккуратненько заархивирована в компьютерном нутре, предстояло самое страшное – явить ее миру!

Посредниками между миром и Силантием были редакторы – существа неведомые, но, по рассказам бывалых литераторов, опасные и жестокосердные. Конечно, можно еще месяц-другой свое детище подрастить, попестовать, но потом, хочешь не хочешь, а придется отдавать кровиночку в чужие руки.

Силантий промучился три месяца, похудел, с лица спал, и однажды, особо темной ночью, решился – отослал-таки рукопись.

Все, дело сделано!

Теперь уж от него ничего не зависит, теперь остается только ждать.

А ждать ему, Силантию, не привыкать. Да вот только оказалось, что это совершенно особенное ожидание, ни с чем ранее испытанным несравнимое: муторное, выжимающее все соки, попеременно швыряющее от надежды к отчаянию…

Силантий был как раз в самом эпицентре отчаяния, когда ***это*** *случилось.*

Это *подмигивало ему с экрана ноутбука, обещало либо вечное блаженство, либо адовы муки.*

Это *– было письмо из издательства, самого крупного, самого заветного.*

Открыть послание Силантий сразу не смог: ходил вокруг

ноутбука, почесывал за ухом притихшую Приблуду, допивал остатки кофе, догрызал неприкосновенный запас карамелек – и все никак не мог собраться с силами.

К решительным действиям его подтолкнул страх. А что, если письмо исчезнет или ноутбук, боже упаси, сломается?..

Силантий уселся за стол, кликнул мышкой и перестал дышать…

«Здравствуйте, Силантий! Прочел Вашу рукопись и должен признать ее весьма занимательной, хотя местами и неоднозначной. Вот несколько моментов, которые меня озадачили. У Вашего лешего есть хвост. Но ведь это нонсенс! Леший – совершенно особенное существо, чем-то похожее на фавна, только без рогов и уж точно без хвоста. Теперь – кикимора. Почему у нее зеленые волосы? Она же не русалка. А острые уши? Вы уж меня извините, но это вообще эльфийские штучки, в славянском фольклоре категорически неприемлемые. Есть еще некоторые спорные моменты, которые мы с Вами, надеюсь, обсудим в приватной беседе уже после заключения договора. С уважением, заведующий редакцией фантастической прозы…»

Силантий прочитал раз, потом еще раз, сходил к бочке с квасом, зачерпнул ковшик, вернулся к столу, выпил, не чувствуя вкуса, вытер рукавом рубахи мокрые усы и только после этого позволил себе поверить.

Свершилось!

Не случилось, не произошло, а именно свершилось.

Ему предложили договор, его книгу, вымученную, выстраданную, издадут в самом крупном издательстве. Конечно, надо кое-что подправить, но ведь свершилось же!

…Застолье, посвященное рождению новой звезды славянского фэнтези, подошло к концу. Уехал на своем «Урале» Тимофей, разбрелись по домам соседи. С Силантием осталась только Устюша. С недавних пор она оставалась у него все чаще, и это вселяло оптимизм и мальчишеские надежды. Устюша хрустела шоколадкой, поглаживала Приблуду и поглядывала на Силантия ласково и загадочно.

– Устюша, – он улыбнулся смущенной улыбкой, – а как думаешь, это не очень страшно, что ради издания я погрешил против истины? Хотел правду жизни показать, а пошел на поводу у редактора. Может, стоило на своем настоять, сказать, что это такое особенное авторское видение?

– Если ради издания, то простительно.

Устюша засмеялась прозрачным серебряным смехом, заправила кокетливую изумрудно-зеленую прядку под косынку и добавила:

– Предлагаю пригласить твоего редактора к нам в гости.

Пусть лично убедится, что ты совсем не похож на фавна.

Теперь рассмеялся Силантий, радостно и озорно, как не смеялся уже лет триста.

– Экая ты, однако, затейница! – сказал он и поцеловал зардевшуюся от удовольствия Устюшу за острым ушком…

Вот такая мелочь – всего на насколько печатных страниц. Легкая вещь, но с правильным финалом, где мечты сбылись и «наши победили», изменила всю мою жизнь.

Конечно, узкая тропинка не стала в одночасье торной дорогой, и лепестки роз под ногами не шелестели, и пахать приходилось днями и ночами, но маршрут был проложен, оставалось лишь сделать первый шаг.

Хватило решимости написать первую книгу, хватило смелости отправить рукопись в издательство – самое крутое, самое заветное, чтобы не мелочиться!

Только с терпением возникли определенные трудности, терпение никогда не было моей самой сильной стороной, но мы с ним справились. И авторы волшебных книг не подвели.

И сама я очень вовремя и очень правильно сказала себе: «А давай попробуем!»

У меня все еще нет загородного дома, который «родовое гнездо» и «неприступная крепость», и сногсшибательные красные боты утратили свою актуальность.

Но теперь у меня есть собственная книжная полка, и теперь уже я, не моргнув глазом, могу назвать себя писательницей.

Искушение
Роман Сенчин, прозаик

В детстве, как все мальчишки, зачитывался приключенческими романами Стивенсона, Верна, Скотта, пока не познакомился с неоклассической прозой Распутина, это потрясение предопределило повествовательную манеру, с которой Роман через много лет стал лауреатом главных литературных премий России. Счастье, считает Роман, это воспоминания, от которых становится тепло на душе.

* * *

В кармане оставалось сто пятьдесят рублей. В конверте из-под приглашения на премию «Русский Букер», хранящемся в ящике стола семейном бюджете, – последняя тысяча. Имелась у меня, правда, заначка, три тысячи, но что это? – пшик, пару раз в магазин сходить…

А до зарплаты – двадцатка на срок больше недели, а до ближайшего гонорарца – тысяч в семь – почти месяц.

Катило, катило несколько лет и вот – новая черная полоса.

И она тем более черна, что за эти несколько лет мы привыкли жить, не экономя на всем, не ужимаясь. Нормально жили, на море летом ездили, в Париже побывали. Расслабились, расплылись, а теперь приходится ужиматься. Не с хлеба, конечно, на воду, но без изысков. Клубника на столе зимой не появляется.

А так казалось все надежно и крепко.

Однажды написал беспросветную повесть о семье, которая вынужденно переезжает из города в деревню и там гибнет…

Такая фабула у меня была и в двух-трех предыдущих вещах, но эта повесть, опубликованная не в самом заметном журнале, вдруг вызвала у московских интеллигентов бурную реакцию, появились рецензии, статьи, возникли дискуссии, выдвижения на премии…

Одно из крупнейших издательств заключило со мной договор, издало повесть книгой. Аккуратная такая книга получилась – не тонкая и не толстая – триста с небольшим страниц.

Первый тираж, три тысячи экземпляров, разошелся довольно быстро. Выпустили второй. Заключили договоры еще на

несколько книг.

Издали одну за другой…

Конечно, было тревожно. Тревожно всегда: в любой момент у любого пишущего может оборваться та ниточка, на которой висит самое главное – способность писать.

И все. Как говорили раньше: «Муза меня не посещает».

Можно сидеть сутками за столом и понимать – пустота. Но тут тревога была конкретная: книги продавались плохо, критики писали, что планку той своей повести я не преодолел…

Хреновато, когда у писателя есть визитная карточка. Тем более если она уже потасканная, несвежая. Бывает, автора и в восемьдесят лет воспринимают по книге, которую он написал лет в двадцать пять. А следующие сорок – довесок к той, давней…

Теперь я не знал, о чем писать. То есть наметок было достаточно: жизнь каждый день дает пищу, но наметки – одно, а сюжет хоть какой-нибудь – другое…

Да и не в сюжете дело.

Много лет я писал о том, что критики характеризуют как «свинцовые мерзости жизни», главные герои большинства вещей напоминали меня самого.

Но теперь, после периода относительного благополучия, премий, одна из которых оказалась достаточно денежной, входить в прежнюю реку было как-то стыдно, что ли. Вот, скажут, как сыр в масле катается, а пишет про проголодь и прочие мраки.

Лицемер!..

И главное – я сам себе говорил подобное, как только задумывался о новой большой вещи, где должны были фигурировать униженные и оскорбленные. И вспоминалось где-то вычитанное: после премьеры «На дне», двух часов созерцания людских страданий, Максим Горький сказал друзьям и почитателям: «А теперь едем жрать к Тестову!»

Можно было попробовать написать большую вещь не про униженных, но я боялся. Одно дело рассказ, а другое – несколько сотен страниц связного текста…

Где найти хоть какой-то конфликт? Где набрать деталей?

В сорок с хвостом лет я понял, что, по существу, ничего про реальную сегодняшнюю жизнь не знаю. Пока, попав в струю, занимался несколько лет стилистической правкой и изданием своих прежних вещей, потребности обращать внимание на то, что происходит вокруг, не возникало. И теперь, оказавшись с жалкой мелочишкой в кармане, с очень невеселой перспективой на ближайшие недели, я лишь растерянно озирался вокруг, пытаясь понять: как быть и что делать.

Это, конечно, будет воспринято как литературный прием из разряда беспомощных… Что ж, воспринимайте, но так и случилось: в момент моих самых грустных раздумий о будущем пришло письмо.

Раздумья были тем более грустные, что над ними нависал черный жирный вопрос: на какую работу возьмут сорокалетнего человека с дипломом, где в графе «специальность» значится «литературное творчество», и с трудовой книжкой, в которой записано, что я работаю почти пятнадцать лет в специфическом еженедельнике, где изучаются проблемы современной литературы; а интересуется этими проблемами куда меньше людей, чем проблемами транзита сжиженного газа? Английского языка я не знаю, креативностью не отличаюсь, в экономике, политике, автомобилях, дизайне не разбираюсь…

И тут на «мыло» капнуло послание.

Поначалу я решил, что это спам и чуть не отправил его в корзину, но вчитался – и черный жирный вопрос в мозгу стал бледнеть.

Послание было следующее:

«Уважаемый Роман Валерьевич,

Настоящим письмом мы хотим засвидетельствовать Вам свое почтение и просим рассмотреть предложение о возмездном сотрудничестве в рамках входящего в состав нашей Компании центра просвещения, который в настоящее время ведет работу по созданию всеобъединяющих гуманитарных стандартов.

Мы выбрали Вас, как одного из наиболее авторитетных представителей интеллектуального сообщества, человека, который искренне переживает за лучшее изменение окружающего нас мира. И полагаем, что Вам будет интересно принять участие в работе коллектива, который ведет работу в данном направлении.

В рамках данного предложения мы хотели бы просить Вас принять приглашение о встрече с главой нашего общества, которая пройдет по предварительной договоренности.

Подробнее о нашей деятельности Вы можете узнать из презентации, приложенной к данному письму».

Дальше – контактные телефоны, адрес…

Москва-Сити, башня «Москва».

Меня, конечно, зацепило слово «возмездное». Если «безвозмездно» – это бесплатно, то, значит, «возмездно» – за деньги…

Неплохо.

Сходил к мусоропроводу, покурил, а потом стал изучать «презентацию».

Несколько отсканированных страниц какой-то брошюры напоминали сектантский журнал вроде «Сторожевой Башни» – тоже улыбающиеся лица благообразных людей, некие схемы, стрелочки, следование которым дарует благодать…

Вчитываться я не стал, выхватил взглядом несколько фраз:

«Необходимые условия успешного развития», «комплекс личностных и деловых стандартов», «улучшение человека», «единая платформа универсальных подходов и методов», «понятные регуляторы», «преодоление разного понимания объединяющих ценностей»…

В общем, эта вот компания, как я понял, хочет создать для людей некий кодекс жизни – личной и общественной. Набор правил.

Что ж, можно поучаствовать, тем более если это оплачивается…

Глянув в Интернет, я узнал: глава компании, Игорь Алексеевич Беляев, входит в список богатейших российских предпринимателей.

Не должен скупиться.

И я написал ответ: «Готов к встрече».

Через несколько минут пришло сообщение, что встреча состоится через три дня там-то и тогда-то.

Пропуск будет заказан.

За эти три дня конвертик с бюджетом опустел окончательно, заначка сократилась до тысячи. В карманах у меня была горстка мелочи, пачка сигарет и проездной на метро с десятком поездок. Жена впервые за долгое время спросила: «А как у нас с деньгами?» И я бодро ответил: «На подходе».

Но призрак хлеба и воды становился все более ощутимым. Бродил где-то поблизости, постукивая сухими костями.

Думать я ни о чем не мог, писать – тем более. На работе тупо сидел за столом, делая вид, что вычитываю верстки; в соседнем кабинете директор с главным редактором пытались найти возможность погашения долга за аренду помещения…

То и дело я открывал хранящуюся в моем мобильнике эсэмэску.

«Роман Валерьевич, вас ждет кредит 400 000 рублей под 17 % годовых. Ждем вас! Не забудьте паспорт».

Так тянуло поехать в банк и взять эти четыреста тысяч…

Дома я поскорее ложился в кровать, отворачивался к стене, и когда жена удивленно спрашивала: «Ты уже спишь?» – сонно мычал…

Выехал на встречу за полтора часа до назначенного времени.

В Москва-Сити я до этого не бывал – торчащее скопище небоскребов пугало, а не притягивало…

Вообще признаюсь: я побаиваюсь Москвы, особенно новых для себя мест – кажется, свернешь с привычного маршрута, перейдешь не на свою ветку метро, и что-нибудь случится страшное.

А то и вовсе исчезнешь.

Несколько раз у меня случались приступы паники, когда я терялся в лабиринте выходов на станции «Китай-город», плутал в паутине переулков между Маросейкой и Солянкой, метался в полутьме пустой и тихой «Арбатской» Филевской линии…

Сегодня геморрои начались еще в метро.

И опять на Филевской.

Мне с этой линией особенно не везет – какая-то она непостоянная, неустойчивая, как русло реки в пустыне. К тому же у нее появился отросток.

Без осложнений я добрался до «Киевской-кольцевой», перешел на «Киевскую – Филевскую». Увидел стоящий поезд и прыгнул в него.

Поехали.

– «Студенческая», – объявил из динамиков автоматический голос; я не обратил на это внимания, обдумывая свое поведение на встрече: нужно было сразу показать, что я не лох какой-нибудь.

– «Кутузовская», – еще через некоторое время сообщил голос, и я забеспокоился.

– А когда «Выставочная»? – спросил у соседей.

– Хо-о! – развеселился неинтеллигентный мужчина справа от меня. – Эт ты промахнул. Выгребайся и обратно ехай. На «Киевской» узнаешь.

Я выскочил, сел в обратный поезд.

Там уж тщательно изучил путь до нужной мне станции.

Не то чтобы я не знал о переменах на Филевской линии. Нет, слышал, конечно, радовался открытию новых станций, но не вникал – не надо было. Когда-то давно, правда, ездил на «Пионерскую» – к приятелю-поэту, но потом он женился, переквалифицировался в публициста с неблизкими мне взглядами, и с тех пор в этом направлении у меня не возникало потребности.

А теперь попал…

Поезда по тому отростку, на котором находилась нужная мне «Выставочная», ходили редко – раз в десять минут, и я стал понимать, что опаздываю.

А пока искал нужное направление к башне «Москва», кружа

по огромному торговому центру, опоздание стало необратимым. Успокаивал я себя мыслью, что в Москве почти все опаздывают, пятнадцать минут и опозданием не считается. В крайнем случае, можно сказать «пробки» и, быть может, получить сочувствующий кивок. Они-то не знают, что у меня нет машины…

Я почти бежал по бесконечному торговому центру, мимо витрин с одеждой, иномарок, обвязанных подарочными лентами, фонтанов, банкоматов. Ко мне подстроился юноша в клетчатой рубашке и заговорил доверительно:

– Вы знакомы с нашей системой скидок и бонусов?

– А в какой стороне башня «Москва»? – перебил я его своим вопросом.

Юноша, словно подбитый истребитель, отвалился от меня, ушел куда-то вправо… Оглядываться на него я не стал.

Наконец я оказался перед нужным небоскребом. На мгновение приостановился, задрал голову: башня представляла собой несколько небрежно поставленных друг на друга кубов.

Дочки так года в два строили. Кубики у них неизбежно падали.

Конечно, тут все серьезно, небрежность нарочитая – дизайн такой, но все-таки… Как в таких кубиках чем-то серьезным заниматься?..

Я опасаюсь высоты.

Точнее – сознания бессилия. Вот начнет этот небоскреб рушиться, а я на каком-нибудь этаже.

И что?..

На земле надежней.

Но все же вбежал внутрь, нашел ресепшн, сунул девушке паспорт, назвал, куда мне надо. Она, как мне казалось, очень долго копалась в компьютере, слишком медленно что-то там набирала.

А минуты капали.

Доберусь сейчас, а мне: все-все, поздно, Игорь Алексеевич занят другими вопросами…

– Лифты правого крыла, пожалуйста, – девушка мягко положила на стойку паспорт и карту-пропуск.

С лифтами опять чуть не вляпался.

Увидел втекающую в раскрытые стальные створки стайку, и уже хотел было шмыгнуть следом, но тут заметил, что один мужчина не входит, а тыкает пальцем в экранчик в стене.

– А как тут нужно, чтобы поехать? – спросил я.

– Наберите этаж на дисплее, – без раздражения ответил он, – высветится номер лифта.

И, глянув на меня, зловеще пошутил:

– Иначе можно умчаться в бездну.

Может, кстати, и не пошутил.

В офис я вошел в час двадцать. На двадцать минут опоздал.

Это серьезно.

– Здравствуйте, – обратился к стоящему у дверей огромного роста парню в темно-сером с поблескивающими нитями костюме, – а как мне Игоря Алексеевича?..

– Вы Роман Валерьевич? – девичий тонкий голосок сбоку.

– Да.

Я обернулся, увидел миниатюрную симпатичную девушку. Она улыбалась приветливо, и я попытался улыбнуться.

– Очень приятно, – сказала она. – Проходите в переговорную, Игорь Алексеевич скоро подойдет. Подождете немножко?

– Конечно.

Я направился туда, куда она указала. Девушка – следом.

– Чай, кофе? – спросила.

– Нет, спасибо, пока не надо.

– Присаживайтесь.

Комната с овальным столом. Стулья.

Больше никакой мебели, если не считать мебелью кондиционер. На столе стопка толстых книг, стационарный телефон…

Меня привлекло окно – во всю стену, от потолка до самого пола. Вот так вот: пол, потом стекло, а дальше сразу же пустота.

Никакого даже бортика.

В американских фильмах разорившиеся бизнесмены разбегаются и вылетают из таких окон. Или успешных выбрасывают конкуренты…

За окном раскинулась широкая панорама Москвы. Всего-то пятнадцатый этаж, а кажется, что летишь…

Панорама, правда, не очень живописная.

Я осторожно посмотрел вниз.

Там, почти под стеной башни, несколько рабочих долбили бетон какой-то неудачной пристройки отбойными молотками, экскаватор черпал обломки ковшом и грузил в кузов грузовика. Всё это происходило бесшумно: видимо, стекло было звуконепроницаемым.

Я отступил от окна и тут же услышал быстрое:

– Здравствуйте!

В комнату вошел парень в темно-красном спортивном костюме, лет двадцати пяти на вид. Я подумал, что это какой-нибудь технический работник здания – заскочил проводку

проверить или еще что, и ответил небрежно:

– Здрассте…

Но парень по-хозяйски шлепнулся на стул, кивком пригласил садиться напротив.

Я кашлянул, сел.

– Вы ознакомились с нашим проектом?

– Ну… в общих чертах…

Парень в спортивке, а теперь я понял, что это и есть Игорь Алексеевич – миллионер, успешный предприниматель, – пристально на меня посмотрел. Один глаз смотрел прямо, а другой чуть-чуть в сторону.

Мне стало не по себе.

– Жаль, что не ознакомились, – сказал Игорь Алексеевич.

– Да нет, презентацию я прочитал, внимательно прочитал, – стал убеждать я и слышал, что говорю неубедительно. – Но лучше вот так, в личном общении.

Бизнесмен помолчал несколько секунд.

Потом как-то с усилием начал:

– Примитивно говоря, мы пришли к необходимости создания универсальной системы, комплекса стандартов, которые могли бы помочь создавать не только успешные компании, но и изменили бы в целом взаимоотношения между людьми. Я, кстати, много раз говорил об этом в интервью, писал в статьях. Не встречали?

– Ну…

Это проклятое «ну» очень часто выскакивает первым из множества более приличных слов, какими можно начать ответ.

– Встречал, конечно! Но, понимаете, встречать, это одно, а проникнуться…

– Не прониклись, значит, – досадливо качнул головой Игорь Алексеевич и снова, уже как-то прищурившись, посмотрел на меня, словно готовясь поставить на мне крест.

Я начал внутренне, глубоко внутри, раздражаться…

Чего он хочет, действительно? Чтобы я сразу заявил: «На все готов! Жду заданий!» И каблуками прищелкнуть.

– Понимаете, – опять не очень удачно начал я, – идея, конечно, интересная… Благородная, точнее… Но вряд ли ее получится в жизнь воплотить.

– Почему?

– Не будут люди следовать комплексу… То есть одни будут пытаться, а другие не будут. И эти первые тоже в итоге не станут.

Бизнесмен снова прищурился, теперь как-то угрожающе.

Сказал тихо, но внятно:

– Чтобы это заявлять, нужны аргументы.

– В природе человека заложено нарушать законы, что-нибудь

пытаться украсть, строить козни, ругаться.

– Вы не верите в людей?

– Н-ну… В общем, да.

Игорь Алексеевич тяжко вздохнул:

– У нас было относительно вас другое мнение. Мои советники доказали мне, что вы болеете за людей, и, судя по тому, что я о вас читал, это так. А на деле… Извините, что мы вас пригласили.

Он сделал движение подняться, но не поднялся, а спросил, глядя одним глазом в мои глаза, а другим куда-то в висок:

– Вы считаете, что человек изначально порочен? Что он уже рождается вором и скандалистом?

– Ну, не все. Не все, конечно…

Я давным-давно ни с кем не спорил на эти темы; споры о человеке остались где-то в юности, на пороге взрослой жизни, а потом стало не до того. И сейчас, получив возможность высказаться, я увлекся:

– Есть предрасположенность, наследственность. И, по сути, ребенка уже в три года видно… видно, каким он будет. И если ребенок в три года ворует, дерется, ведет себя плохо, то ничем его не перевоспитаешь.

– Но ведь это фашизм, – перебил Игорь Алексеевич. – Вы что – фашист?

Я вздрогнул и почувствовал, как меня заливает бешенство.

Но отозвался внешне спокойно:

– Зачем вы меня оскорбляете?

– Нет, я не оскорбляю: я констатирую. Есть демократы, есть монархисты, есть фашисты. Если вы готовы отбраковывать людей в трехлетнем возрасте, то как это назвать?

– Я не отбраковываю. Я принимаю людей с недостатками, даже злодеев, как данность. К тому же, – бешенство пригасло, хотелось продолжать разговор, сказать что-то такое, что знакомым людям я не скажу, – к тому же мне такие люди необходимы.

– Для чего?

– А о ком мне писать, если они исчезнут? Литература стоит на том, что описывает человеческие пороки.

Бизнесмен совсем невесело засмеялся:

– Отлично! А мы этого не учли! М-да, – оборвав смех, он произнес серьезно: – Я готов заплатить сто тысяч долларов, чтобы найти тех, кто бы сформулировал кодекс, создал комплекс правил – и не могу. Что же это такое происходит с людьми?!

Сто тысяч долларов вернули меня из болтовни в неблагополучную реальность. Неблагополучную для меня и моей

семьи. Сто тысяч долларов – это больше, чем самая денежная литпремия России, которая мне к тому же не светит!

– Что нужно конкретно делать? – спросил я.

– Обосновать, почему человек должен быть честным, поступать справедливо, думать о других, хорошо делать свое дело, – Игорь Алексеевич взял одну из толстых книг. – Вот «Жизненная конвенция». В нее входят разделы: «Безупречная общность», «Добродетельное соучастие», «Внутренняя гармония»…

Черт меня дернул ляпнуть:

– Вот видите, у вас же все есть.

– Ничего еще нет! – вскричал бизнесмен и открыл книгу, полистал – и я увидел, что все несколько сотен страниц пусты.

Заметив мой недоуменный взгляд, он объяснил:

– Есть архитектура, а наполнения пока нет. Его и предстоит создать.

Я представил себя сидящим над этой книгой и заполняющим белые страницы умными, безупречно умными и абсолютно правильными мыслями. Создающим обоснование для идеальной общности людей, прочитав которое, миллионы индивидов сольются в этой общности.

Внутренняя гармония…

Меня замутило.

То ли от грандиозности труда, то ли от тяжести его. Бывает, пронесешь слишком тяжелую сумку, и начинает подташнивать.

Так и сейчас.

– Но ведь, – вспомнил я, – есть Новый Завет, десятки учений, в которых уже сказано, как стать правильным…

– Вы о религии? Нет, это не наш путь. Любое религиозное течение по сути своей агрессивно, Иисус Христос на самом-то деле – очень жестокий человек. Он не терпел компромиссов. Призывал разрушать семьи, если кто-то из членов не следует за ним… Мы этого не хотим.

– Извините, но ведь невозможно, чтобы все люди присоединились к вашему комплексу… конвенции то есть…

– А мы считаем, что это возможно. Впрочем, мы с вами пошли по второму кругу. Что ж, жаль, что вы не верите в наше дело. К сожалению, мы в вас ошиблись.

– Желаю успеха, – сказал я с усмешкой, поняв, что разговор закончен.

Бизнесмен дернул головой.

– Не надо так с нами, – в его голосе послышалась угроза.

– В смысле?

– Не надо иронии. Здесь собрались очень серьезные ребята.

– Да какая ирония…

– Все, я вас больше не задерживаю.

Я встал и пошел к дверям.

Игорь Алексеевич поднял трубку телефона и стал нажимать кнопки на корпусе. Мне стало страшно: сейчас скажет там кому-нибудь, что я ему, крутому, нахамил, велит разобраться…

От этих «серьезных ребят» можно ожидать чего угодно.

Хотел вызвать лифт, но увидел зеленый указатель с бегущим человечком. Спустился по лестнице на два этажа и тогда уж поехал на лифте. Но чувство, что сейчас меня подхватят за руки и поведут куда-то, росло.

Выбрался из здания и, даже не покурив, рванул в торговый центр.

Затеряться…

Я убеждал себя, что ничего со мной не сделают, и умом соглашался, а сердце колотилось, ноги дрожали.

Пот щипал спину.

– Связался, блин, – шептал я дрожащим голосом. – Сто тысяч долларов! Получай теперь…

Тогда я не мог понять, почему нахожусь в таком состоянии, чего так испугался до паники. Лишь позже осознал, что это сработала самозащита. За страхом погони я пытался спрятать страх потери такой выгодной работы.

Ну, не сто тысяч, конечно, но за тысячу баксов в месяц можно было попытаться чего-то поделать. И хоть я до сих пор не понимаю, что именно от меня хотели, думаю, постепенно бы разобрался, втянулся…

А если не разобрался, ушел бы через два-три месяца.

Что бы я потерял?

Нет, может, и потерял бы…

Конечно, каждый начинающий писать наверняка втайне считает себя учителем – хочет рассказать, как надо и как не надо. Потом уж для большинства это становится профессией, способом зарабатывания денег.

Но когда проповедуешь открыто…

Начнешь проповедовать – и вполне реально, что в мозгу что-нибудь перемкнет, и все, станешь посмешищем. Львы Толстые и Солженицыны на каждом шагу не встречаются. Да и на их счет есть разные мнения…

Нет, лучше путаться, чем учить.

Лучше так.

Призрак хлеба и воды не заключил семью в холодные липкие объятия – подвернулась халтурка, принесшая приличную сумму,

затем зажурчали тонюсенькие, но спасительные денежные ручейки.

И все же часто я вспоминал о том упущенном шансе, слышал голос Игоря Алексеевича: «Я готов платить сто тысяч долларов», – и меня скребло нечто вроде раскаяния.

– Нет, не надо раскаиваться, – убеждал я себя. – Правильно отказался. Правильно, что ему нахамил! Это было искушение. Нас, таких, часто искушают.

И гордо приподнимал подбородок.

А где-то за спиной шелестело: «Точно ли – искушение? Или ты просто дурак?»

Признаться, я до сих пор не отделался от этого шелеста.

Маленькая смерть
Семен Злотников, драматург, режиссер, киносценарист, прозаик

Ни сном ни духом не помышлял о судьбе литератора. Но в детстве однажды проиграл товарищу спор, элементарно не сумев написать четырех строчек в рифму. С тех пор, уже в споре с собой, он сочинял стихи, пьесы, романы. Бывало и легко, и трудно, и невыносимо. Но было – счастливо! Вот оно как получилось: проиграл спор, а выиграл Жизнь!

* * *

Как-то так отчего-то сошлось, что почти в одно время я похоронил отца, потерял собаку, поссорился с другом и ушел от жены.

Вдобавок в одном из арбатских дворов мне разули колеса, взломали машину, забрали одежду, какую имел, старый портфель с документами: паспорт, военный билет, водительские права, сберкнижку, членский билет Союза писателей СССР, дневники, подборку юношеских стихов, письма любимых друзей и женщин, хранимые мной пуще зеницы ока… плюс черновик неоконченной пьесы: «Уходил старик от старухи».

Удары судьбы, скажем так, пришлись мне под дых, ниже пояса и против ожидания.

Это походило на маленькую смерть.

Как сказал бы мой старый армейский товарищ Андрюша Ширяев: «Судьба спустила штанишки и отшлепала!»

Переходя с армейского языка на арамейский: пять тощих лет сменили пять тучных…

Пропажу болгарской дубленки, венгерских джинсов и монгольского пуленепробиваемого кожаного пиджака я пережил много легче потери писем, стихов, дневников: все же в них была моя жизнь – какая-никакая…

Я и прежде, случалось, без слез расставался с домами, машинами и прочими зримыми аксессуарами благополучия. Уходил налегке в никуда, гордо демонстрируя торжество высокого духа над косной материей.

Вообще, вероятно, в гордости что-то есть еще, кроме глупости

и неудобств…

Возможной причиной моей непрактичности были удачные роды (мы с мамой долго не мучились, с ее слов!), а также трудное послевоенное детство, аскетические пятидесятые и блаженные шестидесятые.

Время великих надежд и иллюзий.

Песен, стихов и влюбленностей. Полного пренебрежения ко всему материальному. Демонстративного презрения к мещанскому уюту и благополучию. К роскоши, барству и прочему прозябанию в сытости и довольстве.

В 14 лет, подражая Рахметову из романа «Что делать?», я морил себя голодом, стужей и спал на полу, усыпанном каменной крошкой (на гвозди, признаюсь, меня не хватило!).

Казалось, я жаждал лишений. Сам их придумывал и преодолевал.

Служба в Советской армии, помню, в сравнении с рахметовской юностью мне представлялась отдыхом в санатории.

Времена изменились, и я повзрослел, а мечты и иллюзии непостижимым образом перекочевали из реальной жизни в пьесы…

И вот я стою у раздетой машины в арбатском дворе, курю одну за другой лучшие в мире сигареты «Opal» и размышляю: как мне дальше быть и что делать?

Под шквалом напастей, обрушенных разом на мою голову, я, пожалуй, впервые всерьез призадумался о хрупкости бытия и переменчивости судьбы.

О том, что не все в моей власти.

И что, в общем-то, нечем гордиться.

О ложных целях, ненужной суете и бездарно потраченном времени.

Еще вчера мне казалось, что я и есть полновластный хозяин собственной судьбы. Сегодня мне дали понять, что это не так…

Среди прочих потерь больнее всего я переживал утрату черновика неоконченной пьесы.

Смерть папы не в счет, эта боль ни с чем не сравнима.

Я, возможно, еще полюблю, и мне выпишут новый военный билет, паспорт и членский билет Союза писателей СССР.

Только пьеса, пожалуй, ко мне не вернется…

Первая запись в моем дневнике появилась давно.

«Муки совести и высота человеческих прозрений погнали Толстого прочь из дому. Вселенское чувство стыда обожгло его душу. Все сделалось стыдным: жена, дом, дети, благополучное

существование, статус почти божества, всемирная слава и осознание собственного бессилия в бесчисленных попытках хоть как-то помочь этому миру. Однажды он встал и ушел. Ушел в никуда. Потому что все понял. Понял, что вся наша жизнь – стыд. И не стоит цепляться. И что лучше умереть, чем так жить. Побег для него обернулся Голгофой, крестом, смертной мукой, последним искуплением его персональной вины за все мучения человечества».

Рождение пьесы впору сравнить с рождением человека: так же болезненно, радостно и непостижимо!

Жаль, не удастся переписать.

Как невозможно войти в одну воду два раза, так нельзя повторить однажды уловленный взгляд, вздох, звук, движение персонажа…

Добрая душа, случайный прохожий с рыжей дворнягой на поводке посоветовал срочно бежать в милицию. «Найти – не найдут, зато справку дадут, что ты не верблюд!» – в рифму высказался старик, будто сошедший с картины Ильи Репина «Иван Грозный убивает своего сына».

В самом деле, подумалось мне, я-то знаю, что я не верблюд, а другие этого могут и не знать… Я и рта не раскрыл, а дежурный ефрейтор, похожий на постаревшую Надежду Константиновну Крупскую, с порога меня попросил особенно не волноваться.

– Можно жить – волноваться, а можно не волноваться – и жить! – изрек он с апломбом, предупредительно подняв указательный палец вверх.

– Да я не волнуюсь, я только хотел… – начал я и осекся, вспомнив первый и второй законы Андрюши Ширяева: 1) угодив в вытрезвитель – молчи, что не пьян! и 2) в психушке забудь про свою адекватность!

– Да тут как бы очередь, мил-человек! – произнес он стыдяще, опять не дав мне сказать.

Пустяшный укор вогнал меня в краску.

Я вспомнил отца.

Ты не лучше других, твердил он, бывало, потому что ты не лучше других. Возьми на карандаш, говорил, заруби на носу, завяжи узелок на память. Целее будешь, дольше проживешь!

Он меня умолял соблюдать колею, ходить в ногу с другими, держаться в узде, не плевать против ветра и дуть на воду, довольствоваться синицей в руке и не пялиться на журавля в небе.

– Ты понял меня? – допытывался он после очередного урока житейской мудрости.

Я, известное дело, кивал, не желая его обижать, но про себя всякий раз повторял, как клятву, что не стану ходить под уздой, дуть на воду и довольствоваться синицей в руке.

Злился и бунтовал против любых установлений и запретов и страстно желал совершить что-то… такое что-то…

Короче, не важно – что! Главное – чтоб совершить!

Например, пробежать быстрее других сто метров или марафонскую дистанцию, полететь на Луну, переплыть океан и даже, если понадобится, погибнуть во имя высокой цели.

Только тут я заметил понуро сидящих граждан под плакатом во всю стену с барельефным изображением огромного профиля Ленина и полным сводом принципов коммунистической морали, столбцами вмонтированных в циклопический череп вождя мирового пролетариата – где-то промежду выпуклыми лобными долями и впуклой затылочной частью головы.

При мысли, что я мог кого-то обидеть, меня тут же кинуло в жар, потом в дрожь. Как в детстве бывало, когда провинишься, я вяло побрел, пристыженно втянув голову в плечи, к единственному свободному стулу под знаменитой ленинской бородкой-клинышком…

Итак, размышлял я, сидя под Лениным и сосредоточенно разглядывая рваную плешь на паркете, самое время осмыслить: что, собственно, я собой представляю и где я теперь?

Лет – 37!

Еще не так много, чтоб так уж бояться…

Но уже не так мало, чтобы не бояться вообще.

Короче, пока не боюсь, но уже страшновато.

По внешнему ряду – имеются плюсы, они же и минусы.

При росте 187 см (что, говорят, хорошо!) я чересчур заметен (что плохо!).

Можно сказать, что я строен, а можно – что худ.

Долговяз и сутул.

И голову держу, по отцовой манере, не совсем прямо.

И профиль не тот.

И морщины на лбу.

И рассеянный взгляд, и растительность на лице, и даже кадык на шее – в точности как у него…

Однажды, по дружбе, меня пожалела сама Анна Борисовна Никритина, вдова замечательного поэта-имажиниста Анатолия Мариенгофа, друга Есенина.

– Семочка, – с милым прищуром сказала она, – вы не красавец, но есть и похуже. И сильно похуже. Я даже не знаю, что

лучше!

Можно продолжить.

Пока ничего не болит. Чему немало, возможно, способствуют: ежедневные бег, растяжки, прыжки и бой с тенью – где бы ни находился и по любой погоде. Держу уголок. Без помощи ног лазаю по канату. Могу отжаться от пола 100 раз, присесть и подняться со штангой на плечах весом до 120 кг…

Ну, может, еще поживу – если не случится военных пожарищ, вселенского потопа, страшного землетрясения или ножа в спину.

В личном плане – тоска, по-другому не скажешь.

У меня нет жены, нет детей, нет места, где меня ждут.

Вообще никаких обязательств.

Свободен!

Так, должно быть, себя ощущает человек по выходе из тюрьмы на волю. После долгой болезни. Очнувшись от летаргического сна. Странное, одуряющее состояние – когда ты свободен от всех, и все свободны от тебя…

Наконец: что с карьерой (словечко, однако!).

Пьесы играются в лучших театрах Москвы, Ленинграда, Софии, Праги, Стокгольма, Токио, далее и везде. Кроме Антарктиды. Издаются в престижных журналах и сборниках.

Театральные критики будто бы благоволят и величают чуть ли не лидером «Новой волны».

Храню, как икону, фотографию моего кумира Сергея Юрьевича Юрского с его личным автографом: «Семену Злотникову, драматургу божьей милостью».

С самим богом сцены – Георгием Александровичем Товстоноговым – делюсь, трепеща от волнения, замыслом пьесы «Уходил старик от старухи». Ему интересно, он ждет. Он так и сказал – что он ждет!

С великим Олегом Николаевичем Ефремовым читаем и обсуждаем пьесу «На четвертые сутки после исчезновения».

Небожитель Юрий Петрович Любимов звонит мне на грешную землю и зовет почитать «Сцены у фонтана» на труппе.

Я и прочел. И Таганка проголосовала «за!».

Гениальный, гонимый и несгибаемый Петр Наумович Фоменко в Театре комедии на Невском проспекте репетирует пьесу «Все будет хорошо!».

И действительно: будто бы все хорошо.

Только тогда отчего же мне так худо?..

– Виноват… бога ради… мне тут подсказали… что вы как бы, что ли… должно быть, последний? – услышал я возле себя робкий и нервный одновременно голос существа невнятного

происхождения: то ли мужского, то ли женского.

– Последний? – вяло откликнулся я, нехотя отрывая глаза от проплешины в паркете.

– Мне сказали, что вы… или – разве не так? – продолжал вопрошать мужчина с внешностью Владимира Высоцкого, голосом французской певицы Мирей Матье и манерами Акакия Акакиевича Башмачкина из повести Гоголя «Шинель».

– Но если не вы – тогда кто?.. – не унимался Владимир-Мирей-Акакий Акакиевич.

Чем, вдруг подумалось мне, не персонаж с героическим обликом всеми обожаемого секс-символа нашей советской эпохи и манерами всеми отвергнутого и глубоко несчастного титулярного советника?!

– Он, он, он последний, кто же еще! – из-под ленинской мочки откликнулась тетка – страшная, как язва двенадцатиперстной кишки.

– Я буду последний! – произнес я, решительно поднимаясь и жестом любезно приглашая занять мое место.

– Нет-нет, бога ради, вы что! – возопил шепотом мой новый герой, почему-то опять нервно озираясь по сторонам.

Все же, пока я сидел, он не выглядел таким крошечным.

Настоящий Высоцкий, с которым, случалось, мы пересекались в длинных, напоминающих катакомбы, переходах Таганки, казался огромным – аж захватывало дух.

«Последний, последний… – бормотал я, обреченно потягивая «Opal» и уныло меряя шагами внутренний дворик отделения внутренних дел, сплошь усеянный битой керамикой, развороченными рамами, початыми мешками с цементом и прочим строительным мусором. – Последний, последний…» – талдычил я тупо, в попытке восстановить ход своих размышлений.

То ли по врожденной небрежности, то ли следуя инстинкту самосохранения, я не особо задумывался о последствиях землетрясения, обрушившегося на мою голову. Как если бы я, упав со скалы, не заплакал от боли, а стал размышлять о загадках и таинствах бытия.

«Как будет – так будет, – внушал я себе (наверное, чтобы не сойти с ума). – Того, что пропало, уже не вернуть. Бесполезно стенать, рвать на себе волосы, проще забыть, перевернуть страницу и начать жить с чистого листа!»

Голова была полна аналогий – с библейским Иовом (ни меньше ни больше!) и королем Лиром. Сравнение с Лиром мне льстило, с Иовом – давало надежду, что все у меня еще будет…

Курить я уже больше не мог, но и возвращаться с улицы в душный предбанник отделения милиции тоже не хотелось.

Время от времени я приоткрывал дверь и проверял движение очереди. Какие-то люди входили и выходили, но меньше их почему-то не становилось.

– Ради писания слов, – неожиданно вспомнился наш последний с отцом разговор перед моим фатальным отъездом из Ташкента, – ради **этого** ты покидаешь старых родителей, дом, любимую женщину, бросаешь нормальную работу на телефонной станции, дипломный курс института связи, хороших друзей и бежишь как ненормальный неизвестно куда и непонятно зачем?!

Папочка-папа на сто лет вперед пытался меня уберечь от любых возможных падений, вывихов и переломов…

– Ты же умный, представь, – рисовал он унылую картину моего прибытия в Ленинград, – ты представь, как ты вышел из поезда с двумя старыми потрепанными чемоданами. Дождь со снегом, полярная ночь и тоска! Ни жилья, ни работы, ни денег! Куда ты пойдешь? Где будешь спать? И что будешь есть? И кто тебя вдруг пожалеет?..

– Намазюкал, как **этот**, несколько никудышных стихотворений (папа бил прицельно и больно) и сразу решил, что ты (он при этом брезгливо поморщился) – **этот**?.. Ты хочешь быть **этим**? Ты хочешь **им** быть?..

Он настолько не верил в меня, что в горячке не смог вспомнить слова: поэт!

– Да что ты, червяк, о себе возомнил? – вопрошал он, с трудом удерживаясь от крика. – Что ты Господь Бог?

– Ты – никто и ничто! – папа резал правду сплеча. – У тебя нет таланта, нет денег, нет связей! Не знаешь людей и жизни – тоже не знаешь!..

– И даже если представить, что тебя там признают (он почти допустил и такое!) – мы с мамой до этого не доживем. И что будешь делать потом? Придешь на могилку и там нам расскажешь, как ты всех победил? Да все самые-самые слова этого мира, – кричал он, – не стоят одной слезинки твоей матери, чтобы ты знал!..

Так он меня убеждал, просил, требовал и умолял одуматься и не уезжать.

А я в ответ бормотал что-то, тер и прятал глаза, чтобы только не видеть, как он страдает.

Воистину, те несколько часов взаперти с ним показались мне вечностью.

Однако чем больше он уговаривал меня, тем я непреклоннее хмурился и молчал.

Вся океанская мощь отцовой мудрости не могла совладать с утлым суденышком моей фанатической веры в себя. На его стороне был нечеловеческий житейский опыт, а на моей – неуемная жажда свершений чего-то такого… такого чего-то… не важно чего!

Все отцовы предвидения и пророчества, впрочем, сбылись с поразительной точностью: меня в самом деле никто не встречал, дул холодный пронзительный ветер, и с неба валил мокрый снег, и вокруг было много людей, все куда-то спешили, и никому до меня не было дела.

Возможно, тогда, на холодном перроне, я впервые в жизни испытал чувство бесконечного одиночества…

– Виноват… бога ради… не угостите сигареткой… – послышался сзади слегка дребезжащий голос Мирей Матье (оборачиваясь, я уже знал, что увижу Владимира Высоцкого). – Возможно, что я ошибаюсь, но я… – закурив и покашляв, продолжил мужчина. – Я вижу, как вас что-то гложет… Нет-нет, ради бога, если не хочется!.. – он вдруг испугался, заметив мой взгляд.

– Я все потерял, – пояснил я спокойно.

– Все-все? – почему-то схватившись за голову, переспросил Владимир-Мирей-Акакий Акакиевич.

– Все-все! – также исчерпывающе подтвердил я.

– А я все нашел! – возвестил он со слезами на глазах, откровенностью за откровенность.

Возможно, я слишком еще пребывал под наркозом собственных потерь и не вполне мог соответствовать жгучей, как чувствовалось, потребности одного живого существа отворить душу другому живому существу.

И все же, признаюсь, меня поразила сердечная исповедь незнакомца.

Оказалось, в милицию он заявился, по его выражению: дабы придать земные черты чуду своего преображения – натурально, из мужского обличья в женское.

На мой неолитский вопрос: как он дошел до такой жизни? – Высоцкий-Матье-Башмачкин излился пространным монологом, бесконечно меня тронувшим.

– Все не нравилось, все раздражало! – признался он с неизъяснимой горечью. – Дневной свет казался мне чересчур ярким и резал глаза, а ночной – угнетал, просачивался в душу и томил. Всякое проявление звезд на небе, сколько себя помню, воспринимал как личное оскорбление и старался наверх не

глядеть. Но и внизу…

Он понизил вдруг голос до шепота:

– Но и внизу – тут! – ничто не внушало доверия и нагоняло тоску: чередование времен года в той, а не иной последовательности, течение рек в ту, а не в противоположную сторону, четыре угла жилища, навязанных мне от рождения… Жены и дети… – мужчина со стоном схватился за голову, – дети, представьте, и жены!.. Сколько их было, а были – зачем?! Чтобы ранить? Унизить меня? Оскорбить? Подчеркнуть свою правоту и мою несостоятельность?..

На мгновение он перевел дух и сглотнул слюну.

– Всегдашняя неудовлетворенность собой делала меня невыносимым и для других… Не желаю, – устало взмолился мужчина, – я пить с ними пиво! Выслушивать горький горячечный бред, кто кого и по сколько раз, кивать, ухмыляться, поддакивать и сопереживать пошлости!

– Скажите, что делать, ответьте, как быть, – умолял он меня, – если общение с себе подобными – в тягость мне? Подобие наше зримое, внешнее, по сути же я – один… Я один…

Тут мы с ним закурили еще по одной.

– В дальнем детстве, – продолжил печально Владимир-Мирей-Акакий Акакиевич, – как-то спасала надежда, что разлад мой временный… что все оттого, что я маленький, а они большие. Что есть – я надеялся! – некая тайна, единящая взрослых, этих загадочных, странных существ… Знали бы вы, как мне страстно хотелось, чтобы они, эти существа, и в самом деле оказались странными и загадочными! – воскликнул он в отчаянии. И продолжил:

– Я мечтал об одном: поскорее наконец вырасти, чтобы постичь эту тайну… Постичь! Как постичь? Вырос и понял, что тайны-то – нет?.. И тысячи связей, чужих и ненужных, опутали меня и душат, душат! Или растаскивают по разным сторонам и – глодают, глодают!.. А я, как бы со стороны – всегда почему-то умудряюсь зависнуть над собой со стороны! – разглядываю себя, разъятого, без смысла и значения, и без надежды снова стать мною. Я слышу и помню одно: ты – мужчина! Ты, говорят мне, должен! Я – должен? Кому?.. Говорят, я природой назначен. Назначен? На что? Разве я могу говорить резко и внятно, что думаю? Или поступать, как считаю нужным? Или есть в целом свете хоть что-то, что зависит от меня? Именно от меня. Может быть, погода на завтра? Или будущий урожай? Или – будем дружить с марсианами или воевать? Расписание трамвая, везущего меня на работу? Да хотя бы мое собственное право с надеждой смотреть в завтрашний день? Я и в сегодняшнем

запутался, я в сегодняшнем себя не нахожу!!!

Если верить Спинозе, размышлял я, блуждая по тусклым милицейским коридорам, случайностей в мире не существует. Может статься, не так уж случайна и эта случайная встреча с Высоцким-Матье-Башмачкиным.

Имени, жаль, спросить не успел…

Мой Порфирий Петрович, как я моментально, чтобы не мучиться, окрестил старшего следователя по уголовным делам Арзыбека Арлановича Киргизбаева, оказался гигантом трехметрового роста (ну, может быть, двух, но не меньше), в обхвате с египетскую пирамиду в ее основании. Над бескрайними плечами, увенчанными майорскими погонами, возвышалась величественная, как Сулейман-гора, лохматая голова. Усталые тени вокруг добрых глаз, черный пенек усов, окруженный полянами серой щетины, делали его похожим на старую панду. Занимая два стула, колосс левой дланью величественно опирался о мощную трость на четырех лапах, в то время как правой, подобной ковшу экскаватора, попеременно выуживал из чрева казенного сейфа – то французскую булку, то шмат колбасы.

– Кушить хочишь? – спросил он, едва я вошел.

Как волной окатило из забытого детства!

Ни с чем не сравнимой поры, когда папа был еще жив и мама была молодой… Когда я был в ладу сам с собой. Когда мир казался огромным, а жизнь – бесконечной, и все в ней мне нравилось – «люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитающие в воде»…

Сразу поймет меня разве родившийся в Самарканде и впитавший в себя человеческое тепло Средней Азии и потрясающие запахи восточного базара. «Кушить хочишь?» – звучало на каждом шагу в Бухаре и в Оше, в Ташкенте и в Душанбе. В любом доме, где я появлялся, меня первым делом спрашивали: «Кушить хочишь?»

– Хочу! – кивнул я.

– На! – обрадовался великан.

Странно: легко понять, но нелегко объяснить состояние, когда ты готов открыть душу случайному встречному!

Я сам не заметил, как это случилось, что мы перешли грань обычного между людьми отчуждения и услышали друг друга. Я поведал ему обо всех своих страхах, обидах и болях, комплексах и недовольстве собой, поисках и сомнениях; о смерти отца и тоске по нему, про женщин и жен, про друзей и знакомых и мысли о

смерти…

Впервые, пожалуй, я сам (не мои персонажи!) оказался в ситуации, из которой не видел выхода.

Когда умирать неохота, а жить – не хочется.

Как будто завис в пустоте промеж двух пустот: пустоты под названием «тут» и пустоты, именуемой «там».

Где пустей – «там» или «тут»?

Вот в чем вопрос, как сказал бы принц датский…

И невероятным образом во все продолжение моей исповеди рядом незримо присутствовал – так мне казалось! – Владимир-Мирей-Акакий Акакиевич… Или Высоцкий-Матье-Башмачкин?

Не важно – живой человек.

Наконец, напоследок куснув колбасы, майор попытался подняться на ноги – но, впрочем, осел обратно, так и не преодолев земного притяжения. Заметив мой взгляд, уважительно погладил себя по животу и лукаво подмигнул: «Черчил ти знаишь? Я тожи – как он, очинь тижёлий!»

Я сразу представил Уинстона Черчилля в мундире советского милиционера, изъясняющегося по-русски с киргизским акцентом. Чем не персонаж для современной комедии положений? Еще посадить рядом Сталина, говорящего по-английски с грузинским акцентом, и Рузвельта – по-киргизски с английским…

– Так вы теперь вроде Льва Николаевича Толстого после бегства из Ясной Поляны? – неожиданно произнес он без толики акцента.

– В каком смысле? – опешив, откликнулся я, не зная, чему больше удивляться: сравнению с Толстым или внезапному превращению моего Порфирия Петровича.

– Все бросили, можно сказать, ушли в никуда, – продолжал он, словно не замечая моего растерянного вида. – Разве не так?

Я хотел возразить – что Толстой тут вообще ни при чем… И что я с ним себя не равняю… И что даже не думал… Как если б я вздумал равнять себя с Господом Богом…

– Толстой, – пробормотал я, краснея и запинаясь, – ушел потому, что все понял… В моем случае – без параллелей, – голос у меня предательски задрожал. Лично я вообще перестал что-либо понимать…

– Ладно, итак, возвращаясь к Толстому… – словно назло мне повторил Порфирий Петрович, доставая из сейфа китайский термос с разноцветными дракончиками и бабочками.

– Оставим, прошу вас, Толстого, – вяло выдавил я из себя.

– Аллах килянус, как мой вас уважжяю! И как я Тольстой уважжяю! – натурально возмутился милиционер, осеняя себя

термосом, как перстом, крестным знамением. – Хочишь, буду вот етим килянус! – возопил он, потрясая партийным билетом. – Чито, ти моя вэришь ни хочишь?

Я уже был не рад, что, поддавшись настроению, открылся этому странному, без перерыва жующему, существу в милицейской робе.

Так легко запустить к себе в душу первого встречного, ругал я себя!

В свою святая святых, куда не было хода и самым любимым. Место, где я был собой, без боязни быть преданным.

Где залечивал раны, где мог выживать…

– Вай-вай, рыссырдилься, а я пашутиль! – огорчился толстяк, заметив, как я помрачнел. – У нас такуй шюткя, зимляк, ти ни зналь? Папа – кыргыз, мама – рюсский. Мама радилься Москва, папа – Джелалабад. Папа, харёший памить ему, до паследний свуй ден кричаль: «Кушить хочишь, синок?» Мама, тожи харёший ей памить, тожи гавариль: «Сыночка, хочешь поесть?» Магу харёшо гаварит па-кыргызски, – расхохотался, – могу превосходно по-русски! Могу по-русски с киргизским акцентом, а могу – и наоборот! Что ли, мой фирменный знак! – он снова взялся за термос. – Таки что ни обижжяйся, пажалиста, да? – попросил он, разливая чай по пиалам.

На Ленинградский вокзал я попал уже за полночь. Семи рублей, взятых взаймы у гиганта, хватило вполне, чтоб меня пожалела и приютила в служебном купе неподкупного вида проводница.

– Придет контролер, говори, что мой муж! – наставляла она, пряча деньги за пазухой.

– Может, скажем, что сын… – усомнился я вслух, с присущим мне тактом.

– У меня все мужья моложе тебя! – не на шутку обиделась проводница и даже было полезла обратно в бюстгальтер за семью рублями.

Короче, пока я поносил себя и хвалил ее красоту – поезд поехал в Ленинград…

По злой иронии судьбы, иначе не скажешь, я возвращался в то место, откуда уехал, и к женщине, которую более не любил.

И двух дней не прошло после тяжелейшего объяснения, полного обид и безысходности. Еще слышались стоны, еще не забылись проклятья. Еще не остыл холодок расставанья…

Слишком короток – слишком! – путь от любви до ненависти.

Все никак не привыкну к этому внезапному превращению

сущего ангела в злобного дьявола, не знающего пощады.

– Лучше бы ты умер! – кричала она вдогонку мужчине (мне), бывшему еще так недавно (она в том клялась!) единственным смыслом ее жизни. – Лучше бы умер, чем ушел! Лучше бы умер!

Абсурд правит миром.

Но мы же любили друг друга?

Мы были близки и нежны? Чего-то хотели, куда-то стремились? Делили судьбу и делились последним?..

Куда все девается, Господи?

«Иногда потерять – все равно что найти!» – вертелся в мозгу под мотив перестука колес незатейливый перл Порфирия Петровича.

За колбасой и зеленым чаем вприкуску с зефиром он советовал мне не цепляться за старое.

– Бери пример с дерева, – говорил он, – оно же не держится за свои пожухлые листья. С птицы, теряющей перья. Со зверя, меняющего шкуру. Они же не плачут, не стонут. Главное – жизнь продолжается! Зиму сменяет весна, за спуском, глядишь, следует подъем, а за падением – взлет. Живой человек, – поучал он меня, – тоже зверь и тоже нуждается в переменах. Ты и сам не заметишь, как вдруг, – предрекал он, – начнется другая реальность!

Приводил примеры из жизни, где все начиналось из рук вон как плохо и потом хорошо заканчивалось.

Вот только вчера, вспоминал великан, приходил человек, восставший из гроба. Леденящая душу история, говорил, волосы дыбом встают, кровь стынет в жилах и мороз по коже…

Ближе к ночи, рассказывал он, мужчина впал в летаргический сон.

Жена, как положено, вызвала «Скорую помощь». Приехал поддатый врач, констатировал смерть. Спокойно, ничтоже сумняшеся, без колебаний.

Спустя тридцать девять дней после «смерти» бедняга-муж очнулся в могиле. Подземные воды проникали сквозь щели в гробу. Жуть, мрак, сумбур и тоска. Зуб на зуб от ужаса не попадал!

В отчаянии он начал кричать. Казалось бы, кто там услышит, на кладбище, кроме ворон?..

– Но чудо – на то оно и чудо, что необъяснимо! – воскликнул Порфирий Петрович и откусил колбасы.

– По чудесному совпадению, – начал он, загибая свои пальцы-бревна, – в ту страшную ночь патологоанатом Боткинской больницы тоже был пьян, и еще безнадежней врача «Скорой

помощи»! Зачем-то надрезав несчастного, он дальше не стал углубляться, а сразу заштопал. Я сам видел шрам. Подумать только – ведь он мог его убить!

– Не чудо ли, – заметил гигант, – что жена явилась на могилку в тот час, когда муж пробудился от сна! Ну, пришла бы, – воскликнул мой собеседник, – как все, на сороковой день! Понятно бы, – он повторил со значением, – если бы на сороковой! Но, однако ж, она явилась на тридцать девятый!

– Наконец, – заключил Порфирий Петрович, – разве не чудо, что он закричал через толщу земную, а она его как-то услышала! Сердцем, должно быть, а как же еще?..

Рассеянно глядя в окно на мелькающие огоньки в ночи, я помалу смирился со всеми потерями.

И даже не так уже жгла утрата черновика неоконченной пьесы.

Из целого акта дословно в памяти сохранилась всего одна фраза моего восьмидесятилетнего героя: «Мне стыдно, что я, написав двадцать книг, почти ни в чем не уверен определенно: что такое любовь? творчество? зачем наши стремления? что наша жизнь?..»

Старый человек, стоя на краю жизни, мучился. Прошедший войну, все познавший, достигший вершины признания – он мучился. Мучился все теми же вопросами, с которыми и явился в мир…

Мне до слез было жалко придуманного мной старого профессора литературы. Наверно, жалея его – я жалел и себя. Это ведь я, написав десять пьес, так и не знаю ответов на вопросы:

что такое любовь?

что творчество?

что наши стремления?

что наша жизнь?

почему я пишу?

и откуда эта неутолимая жажда – выразить себя?

и отчего так мучительно трудно и так уж это необходимо – рассказывать миру мои истории?

и что в них такого, чего мир не видел?

и что я могу, наконец, и чего хочу от людей?..

Я мирно дремал в служебном купе, пока проводница (ее звали Зоя) обносила пассажиров постельным бельем и чаем. Поскольку непроданных мест не оказалось (на них был расчет), нам пришлось разместиться на узенькой полке валетиком. По счастью, мой благородный порыв провести ночь в коридоре она отвергла, коротко приказав: «Ложись давай, тоже мне!» Перед тем

как заснуть, впрочем, предупредила: «Гляди не балуй, а то!..»

Я так и забылся, боясь шевельнуться, чтоб ее не обидеть.

Во сне мне привиделась сцена, будто навеянная фильмами моего любимого режиссера Ингмара Бергмана, либо полными мистики повествованиями добрейшего Порфирия Петровича, снабдившего меня последними деньгами и справкой с печатью о том, что я не верблюд.

Подобно гигантской марионетке, я висел над кладбищем и внимательно наблюдал за женщиной, отчаянно выгребающей землю из могилы.

«Митенька, Митя… – бормотала она, не сдерживая рыданий. – Сейчас, потерпи, я сейчас… достану, спасу, я сейчас… Будем жить… будем жить с тобой, жить… Как похоронила тебя… так все места себе найти не могла… все ругала себя, что моя вина… Ругались – чего там?.. Чего нам было делить? Как малые дети, – горько всхлипывала она, машинально рукой убирая волосы со лба и размазывая грязь по лицу. – Неразумные дети… так трудно понять… что живем один раз… и любим по-настоящему один раз… Так трудно понять… Митенька, трудно понять… – потерянно повторяла она, без устали орудуя окровавленными руками. – Это я поняла… когда вдруг осталась одна… без тебя, Митя, я… Я без тебя не хочу, Митя… этот мир без тебя я не представляю…»

Постепенно, помалу, как мне вдруг почудилось, к ее голосу стали примешиваться и другие женские и мужские голоса: «Мишенька, – слезно взывали они, образуя хор, – Сонечка, Танечка, Петечка!..»

Неожиданно я ощутил, как некто невидимый стремительно и плавно вознес меня высоко над землей, полной молящих о прощении людей…

– Эх ты! – пробурчала мне на прощание Зоя, когда я ступил на перрон Московского вокзала в Ленинграде. – Эх ты! – отчего-то тоскливо бросила вслед…

На дворе стоял ласковый день, и спускаться в метро не хотелось.

Обойдя по кругу площадь Восстания, я насладился прогулкой по Невскому, повернул на Литейный и так же неспешно добрел до Каляевой.

Не успел я войти в квартиру и прикрыть за собой дверь, как зазвонил телефон.

– Извиняюсь, пожалуйста, – звонко и радостно зажурчало в трубке, – я попала в квартиру драматурга товарища Злотникова?

В последнее время с похожим вопросом ко мне обращались

завлиты или их помощники из провинциальных театров. Было время, когда я не мог к ним пробиться и уговорить прочесть пьесу. Оставлял рукопись в служебной проходной у вахтера и через какое-то время оттуда же забирал. Без слова поддержки, похвалы или хулы. Воистину, участь начинающего автора можно сравнить с судьбой законченного мазохиста: оба себя добровольно обрекают на боль и страдания. С той разницей, что один при этом испытывает кайф, а другой – танталовы муки…

– Вы попали, – ответил я мрачно.

– Извиняюсь, пожалуйста, к драматургу товарищу Злотникову, да? – уточнил девичий голосок.

– Да, да! – дважды любезно откликнулся я.

– К самому-самому, извиняюсь, товарищу драматургу Злотникову, что ли? Товарищу Семену, да? – как будто засомневались на другом конце провода.

Вот, подумал я, дожил! Так уважительно и подобострастно со мной до сих пор не разговаривали.

– Послушайте, девушка, – произнес я как можно доброжелательней, – вы из какого театра?

– Известное дело, из драматического! – почему-то обиделась девушка и важно прибавила: – Минуточку, передаю трубочку нашему товарищу са-амому главному режиссеру.

– Бля буду, не знали, что ты – это ты! – смачно и властно произнес Константин Сергеевич Станиславский, как я про себя немедленно окрестил главного режиссера.

– Я – это я! – подтвердил я с достоинством, впрочем, уже заподозрив неладное. – Что дальше?

– А дальше, мужик, – тишина! – засмеялся са-амый главный режиссер, случайно или ненароком припомнив название нашумевшего спектакля с Раневской и Пляттом.

– Уходил старик от старухи, мужик! – коротко, как пароль, произнес Станиславский.

Термоядерный взрыв, сотрясение недр, вселенский апокалипсис меня бы не так впечатлили, как эти четыре слова: **уходил старик от старухи**… **уходил старик от старухи**…

С замиранием сердца я слушал и не верил своим ушам. Отвечал что-то, не понимая, что говорю.

И даже сейчас, когда все позади, боюсь, что мне это приснилось…

Завершив разговор, я долго не мог успокоиться.

Бестолково бродил по квартире, больно шлепал себя по ногам и груди, выкрикивал что-то, давая выход энергии, и до одури молотил голыми руками по самодельному боксерскому мешку.

Наконец, обессилев, рухнул на ковер и, точно как папа бывало, по-хорошему попросил: «Пожалуйста, Господи, пугай, только не наказывай!»

Не прошло и минуты, как я на кухонной двери обнаружил записку.

«Бегу, – отчего-то прочел я с восторгом, – прости! Интервью с капитаном Конецким. С обедом не жди. На плите грибной супчик с лапшой. Как ты любишь. Еще не остыл. После спрячь в холодильник. Целую. Я».

Супчик на радостях я разогрел, но есть почему-то не стал.

Подняв крышку кастрюли, долго разглядывал мутную жижу, словно пытаясь в ней что-то понять. Так, бывает, в музее стоишь перед знаменитой картиной и силишься сообразить: и чего в ней такого?..

Безоглядная ярость меня охватила, когда на пороге купе поезда, везущего меня из Ленинграда в Москву, возникла жена с кастрюлей, полной грибов и лапши.

– Не могу! Не хочу! – застонал я в отчаянии, срываясь в крик.

– Сами просили чаю и сами кричите… – неожиданно расплакалась юная, волоокая проводница с румянцем во всю щеку.

– Извините… подумал, жена… – пробормотал я, смутившись.

– На жену, значит, можно, жену вам не жалко? – вконец разревелась девчушка.

Вид плачущей женщины невыносим, правда!

Особенно – малознакомой…

Я привлек ее мягко к себе, по-дружески, и попросил не реветь. Как ни странно, она не противилась, а только обвила меня цепкими руками и, уткнувшись носом мне в грудь, придушенно разрыдалась.

– Я зла между мной и тобой не хотел… – бормотал я, желая ее успокоить.

– И я, – откликалась она, – не хотела, я тоже…

– Я хотел быть только с тобой, только я не хотел… – пытался я ей (и себе!) объяснить, но ни чего отчего-то не получилось.

– Быть с тобой, быть с тобой, – будто вторила эхом она, – я хотела с тобой…

Мы были чужими, далекими, близкими, родными.

Нам нечего было делить и нам было легко говорить и слышать, понимать и прощать. В конце-то концов, не я пренебрег ее супчиком! Наверняка и не я был причиной страданий этого юного существа в суконной форме Северо-Западного РЖД. По счастью же, и не она была той, кто желал моей гибели.

Не было между нами пропасти близости…

Ровно в полдень следующего утра, согласно назначенному, я стоял, как и было приказано, на перроне метро Белорусского вокзала, у последнего вагона.

Ровно в 13.00, когда я, отчаявшись ждать и ругая себя последними словами за всегдашнюю легковерность, дернулся, чтобы уйти, ко мне подошел миловидный подросток и знакомым до боли журчащим девичьим голоском произнес, как пропел: «Уходил старик от старухи!»

– Вы? – вопросил я уныло, не зная, чему больше огорчаться: тому, что девочка вдруг оказалась мальчиком, или тому, как ладно гляделись на нем мои новенькие венгерские джинсы и мой же монгольский пиджак из пуленепробиваемой кожи.

– Ну, что ли, пройдемте! – позвал мальчик-девочка, в терминах бывшего НКВД.

Пробираясь наверх через толпы людские, я больше всего боялся отстать и потерять из виду моего неожиданного Вергилия.

Благополучно покинув метро, миновав стоянку машин, наконец, мы достигли гранитного монумента Максиму Горькому. Он печально смотрел в убегающую даль Ленинградского проспекта и вовсе не выглядел мятежным соколом. В нескольких метрах, наискосок, в тени развесистой липы, на зеленой скамейке меня поджидал человек, больше похожий на создателя театра социалистического реализма, чем на основателя Московского Художественного театра. Настоящий Станиславский, подумалось мне, назначил бы встречу у Чехова…

– Бля буду, не знали, что ты – это ты! – как бы с сожалением повторил Константин Сергеевич Станиславский, немедленно мною переименованный в Алексея Максимовича Горького.

– Я – это я… – подтвердил я, уже без вчерашней уверенности.

Эпилог

Спустя девять месяцев после бегло описанных мною событий в молодежном театре на Фонтанке состоялась премьера моей новой пьесы «Уходил старик от старухи». Я сидел, как обычно, в последнем ряду (чтобы видеть все поле сражения!) и от переполненного сердца благодарил Алексея Максимовича (в прошлом Константина Сергеевича) за исчерпывающую рецензию прочтенного им черновика.

– Чо, клево! – прошамкал ворюга, тасуя колоду моих

документов: паспорт, военный билет, водительские права, сберкнижку, членский билет Союза писателей СССР.

И еще эпилог

Я опять полюбил! Чуть не забыл сказать…

Экзамен
Мария Ануфриева, прозаик

Писательство помогло Марии преодолеть тяжелый период в жизни – она начала писать на следующий день после смерти мужа, оставшись одна с годовалым ребенком. Через несколько лет за ее плечами уже были два опубликованных романа, рассказы в известных литературных журналах, номинации на престижные литературные премии. Автор считает, что счастье живет в каждом человеке, просто иногда оно спрятано где-то очень глубоко. Только в себе можно найти точку опоры, чтобы перевернуть весь мир.

* * *

Как называется помада по-французски? Все время путаю: «руж а левр» или «левр а руж». Нет, последнее – это губа в красном.

Черт язык сломит…

Мои высокие отношения с французским языком начались в четвертом классе, когда в лингвистическом распределении на англичан и французов по физкультурному принципу «на первый-второй рассчитайсь» я попала в группу вторых – второсортных, какими считались принудительно изучающие французский в средней советской школе.

– Если есть учитель, кого-то же должен он учить. Если есть язык, кто-то должен на нем говорить, – рассудила директор в ответ на просьбы несознательных родителей научить всех детей говорить «по-аглицки».

Общаться на французском языке и находить понимание в суровом карельском городе удавалось с трудом.

– Чашка – une tasse, – вбивала нам в головы учительница.

Как-то после уроков вся наша французская ячейка ввалилась в гости к однокласснице.

– Мама, налей нам чаю в «юн тасс»! – блеснула она знаниями.

Мама затушила хабарик и осведомилась:

– А в ванну вам чаю не налить?

На Новый год мы учили стихи про Пера Ноэля, тогда как по стране уже вовсю развозил кока-колу всеми признанный за своего

Санта-Клаус. Пятерки мы получали все больше по простуде, когда усиливался прононс. Хрипели как висельники, пытаясь изобразить картавую «р».

Сменив среднюю школу на гуманитарный класс в лицее, я получила еще больше французского в унисон гундящей маленькой группке «филолухов», как нас ласково называли преподаватели щедро секвестированных учебной программой точных дисциплин.

Вслед за получившим зеленый свет французским языком в моей жизни не замедлили появиться репетиторы. Первых двух или трех я помню смутно – они часто болели, отменяли занятия, а посему толк от них был невелик, а урон заметен лишь карману родителей. Я исправно учила грамматику, извлекала из гортани картавое «р» и даже пополняла свой тезаурус все новыми и новыми незнакомыми словами из толстого потрепанного словаря, отлично отдавая себе отчет в том, что они мне никогда не пригодятся.

Начав учить язык тогда, когда поездки школьников в другую страну для нашего северного города были чем-то мифическим, к окончанию школы я осознала, что теперь вопрос путешествия во Францию упирается только в заработную плату родителей, которую периодически прекращали выплачивать, но деньги на репетиторов все равно находились. Ни разу за это время я не мечтала о Франции, не думала о ней и не хотела там оказаться.

Франции для меня не существовало.

Были лишь набившие оскомину тетрадки и, как редкие ростки посреди пустыни, зачатки собственных мыслей по-французски, доказывающие прописную истину, что и зайца можно научить курить…

Как из всей этой большой нелюбви родилось решение поступать на факультет иностранных языков – на французское отделение! – до сих пор не понимаю. В начале девяностых в известном рекламном ролике торговой сети «Альтернатива Синицы» в кадре бегал ежик, а за кадром утверждалось, что «при всем богатстве выбора – другой альтернативы нет». Наверное, как тому ежику, топающему из угла в угол неширокоформатного тогда еще экрана, мне казалось, что выбора у меня нет.

И его действительно не стало, когда за дело взялась репетитор Татьяна Никитична из института, куда мне и надлежало поступать – на ее факультет, в ее группу. Если раньше французский худо-бедно изливался из меня лишь сюсюкающими и шепелявыми словами, всегда казавшимися немного недоделанными, то теперь он переполнял меня и разве что не

лился из ушей.

Татьяна Никитична действовала на меня магически: во время занятий я замирала, как кролик перед удавом, впадала в отчаяние от двигавшейся слишком медленно часовой стрелки и оживала лишь спустя шестьдесят минут, когда близилось время прощания. Широко открывая рот и четко произнося звуки, она смотрела на меня, как белый лебедь на утенка, гадкость которого сглаживала лишь почасовая оплата. Когда она чихала или сморкалась, я с надеждой ждала, что на этот раз репетитор точно пожалуется на здоровье и отменит следующую встречу.

За год она не заболела ни разу.

Вторник и пятница стали черными днями календаря, готовиться к которым я начинала в понедельник и четверг. Оставшиеся три дня, свободные от штудий, были посвящены подготовке к выпускным экзаменам, а за ними неотвратимо маячил факультет иностранных языков, поступление на который осложнялось зачатками борьбы с коррупцией – первым опытом введения анонимного тестирования абитуриентов.

Сообщив эту новость, Татьяна Никитична не повела и бровью, только добавила:

– Теперь, Маша, займемся синтаксисом. Во французском языке он имеет свои особенности, в школах этого не проходят.

Еще месяц ушел на зубрежку правил до тех пор, пока не стало известно, что гвоздем экзаменационного тестирования станет предложение с небольшой грамматической ошибкой: в его начале будет стоять деепричастный оборот, требующий запятой, которая и покажет, кто есть кто при подведении итогов.

Манкировать запятой – значило пустить псу под хвост потраченные родителями деньги. Поставить – оказаться учителем французского языка в городе, где явление настоящего живого француза стало бы культурной сенсацией.

Я поставила запятую.

Вместе со мной ее поставила сидевшая рядом девочка Оля. Я подружилась с ней на подготовительных курсах, которые посещала «для прикрытия». У нее были способности к языкам и огромное желание поступить, но не было и не могло быть не предусмотренного школьной программой сакрального знания французского синтаксиса.

Хотя почему же не могло?..

Напустив на себя важность Татьяны Никитичны, я туманно намекнула на секретный пунктик в грядущем задании, о который предстояло разбить лбы львиной доле абитуриентов – во французскую группу каждый год набирали лишь десять человек.

Оля схватывала знания на лету.

Через месяц наступило первое сентября.

В нашу группу не попало ни одного человека с курсов. Анонимность оказалась бессильна перед великим и могучим французским языком, а особенно его затейливым синтаксисом. За первой партой у окна сидела Оля и махала мне рукой. Она заняла единственное резервное место в группе, признанной за зерно при отделении от плевел. Я до сих пор уверена, что по праву.

Спустя неделю иллюзий относительно ближайшего будущего не осталось. Шесть дней групповых занятий французским обещали стать сплошным плюскепарфе в настоящем – Днем сурка. Манерные однокурсницы открывали рты так же умело, как Татьяна Никитична, а в перерывах между лекциями обсуждали: как надо мариновать огурцы по-прованси, очевидно, полагая, что скоро в Карелию нагрянет десант женихов из Франции, строго равный по численности нашему факультету невест.

Татьяна Никитична по-прежнему смотрела на меня, как лебедь на утенка. Теперь уже – бесплатно, а потому – не скрывая осознания всей его гадкости. А я, сменив школьное оперение на студенческое, наконец призналась себе, что не просто не люблю французский язык, я его ненавижу – в своем исполнении.

Утро начиналось с разминки артикуляционного аппарата. Карманные зеркальца отражали не напудренные носы, а растянутые в оскале рты, сложенные в трубочку губы, раздутые щеки. Продолжением пытки становился лингафонный кабинет с допотопными проигрывателями и наушниками, призванными усовершенствовать навыки произношения. Ночами я сидела над тетрадями, напоминавшими прописи первоклассника с разложенными на составные части словами – изучение фонетики и грамматики из свойственного школе экстенсивного метода ушло в деструктивный.

На дворе стоит мочало, начинаем все сначала…

– Руж а левр, – бормотала я, застигнутая врасплох Татьяной Никитичной.

Прекрасный лебедь за неимением крыла изгибал бровь.

– Мари, вы в этом уверены?

Оля вздыхала рядом. Когда успевала, она подсказывала мне, а я, когда успевала, списывала у нее. Но успевали мы не всегда.

Я перестала спать по ночам и остригла длинные волосы, выбрав мальчишескую стрижку, чтобы фраппировать «прованских невест».

Близилась сессия. Однажды мы зашли в книжный магазин, чтобы купить один на двоих русско-французский разговорный словарь.

В отделе учебной литературы лежали карманного формата разговорники в красной клеенчатой обложке.

– Берем два, – обрадовалась Оля. – Еще и деньги останутся.

Деньги и вправду остались. На выходе из отдела стопкой лежали справочники «Для поступающих в вузы-1994» с уценкой.

– Кому старые нужны? – удивилась Оля. – Сейчас же девяносто пятый уже. А на улице вот дождь пошел…

Решили, что переждем.

Я стала листать справочник, который стоил ровно столько, чтобы потратить оставшиеся деньги и не купить кофе и коржик в студенческой столовой.

Листала его и на следующий день, и через день, и через неделю. Хотя нет, через неделю я уже совершила тайный звонок по межгороду и узнала, что день открытых дверей на факультете журналистики Санкт-Петербургского университета будет в марте.

Когда я сообщила Оле, что не стану учителем французского, она утешила меня:

– Ну, станешь переводчиком. Говорить не надо. Будешь молчать и писать.

– Переводчиком ты станешь, – сказала я, и она им действительно стала, спустя всего лишь каких-то пять лет. – А я буду писать, но не буду молчать.

Краткий абзац с «моим» факультетом в справочнике, над которым я медитировала по несколько раз в день, настоятельно требовал действий. До поступления оставалось полгода, а я все еще курлыкала в клетке лингафонного кабинета.

«Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов», – только так можно обозначить два месяца, прошедшие от подачи декану заявления об отчислении по собственному желанию до возвращения мне аттестата о среднем образовании.

Эти два месяца резала я и резали меня.

На факультете дали время одуматься, Татьяна Никитична даже звонила родителям с предложением забрать заявление: подписывать его не было никаких оснований.

В институте, куда я приходила, чтобы сдать учебники и студенческий билет, на меня показывали пальцем – это был первый случай в его славной истории, когда с бюджетного отделения блатного факультета студент уходил по собственному желанию.

Родители не скоро поверили в случившееся, а когда поверили, кинулись искать запасную взлетную полосу. В нашем городе она была одна – филфак университета. Но перевод на заочное отделение с последующим восстановлением на очном был тем же перитонитом, который надлежало резать к чертовой

матери.

Университет находился через дорогу от института.

Сбросив с себя вериги французской грамматики, фонетики и синтаксиса, 1 января 1996 года я села за письменный стол, которому на ближайшие месяцы надлежало быть заваленным учебниками, справочниками, пособиями по истории.

История России с древнейших времен до наших дней вызывала у меня самые серьезные опасения: девичья память не держала даты, вместо битв и сражений в познаниях зияли дыры, растянутые на целые века.

Начинать следовало с палеолита и стоянок первых людей на территории Восточной Европы, а заканчивать предвыборной кампанией Бориса Ельцина, которая позже войдет в историю под лозунгом «Голосуй или проиграешь».

В мою жизнь 1996 год вошел под лозунгом «Учи историю или проиграешь». Сочинение, французский и творческий конкурс страшили мало, тем более что вскоре мне удалось устроиться в местную газету, хоть и внештатником, но по официальному договору.

Через пару месяцев серьезность моих намерений убедила родителей настолько, что меня отпустили в Петербург на день открытых дверей вожделенного журфака. Гонораров за статьи хватило на билет, а компанию мне составила Оля, решившая проведать родственников.

Петербург встретил нас так, как он умеет встречать провинциалов – обухом Невского проспекта по только что поднятой с подушки в плацкартном вагоне голове. Солнце, ветер, капель, толпы на переходе от Московского вокзала к площади Восстания, платье какое красивое в витрине, ты только глянь, седьмой автобус или десятый троллейбус до Университетской набережной – написано на бумажке: через Неву по Дворцовому мосту – моща, а есть уже хочется, надо было беляш купить на вокзале, теперь кафе дешевое искать будем…

Улицы линиями называются, и весь Васильевский остров ими разлинован. Благо нам нужна линия Первая, найти ее просто. Да и журфак нетрудно – серая громадина бывшего доходного дома, зажатая с двух сторон собратьями поменьше.

– Наш, – опознала я дом, виденный на картинке.

Толпа у входа. Лестница на шестой этаж. Большая аудитория номер 601.

– А билеты по экономии России будут? – спросили из зала.

– Экономию вы дома проходите, а по экономике – возможно.

Список примерных вопросов по истории выдадим.

За соседним столом переговариваются. Оказывается, тут есть «подготы», которые нужно посещать почти год.

– Прорвешься, – говорит Оля, когда мы выходим.

Я в этом уже не так уверена.

Ее родные, у которых мы ночевали, узнав, что я собираюсь поступать в «большой» университет, не скрывали сомнений:

– Там надо хоть уборщицу знакомую иметь.

Знакомых уборщиц у меня не было, как и вообще знакомых в этом городе.

Апрель и май я учила – нет, раскладывала на составляющие и вновь собирала в формате выданного списка билетов – историю, не поднимая головы, по восемь-девять часов в день. Ездила в редакцию с конспектами под мышкой. Там моего энтузиазма, словно сговорившись с просвещенными Олиными родственниками, тоже не разделяли и без конца рассказывали истории с заведомо печальным концом о поступавших, но не поступивших на журфак местных акулах и акулятах пера. Каждый раз в непоступлении оказывались виноваты то фамилии нетитульной нации, то козни приемной комиссии с непременным раскрытием карт в конце игры в формате популярного в те годы «Поля чудес» – «играл, но не дошел ход».

Я же чертила на историческом атласе выстроенную шведами клин-«свинью» и ответный маневр Александра Невского в Ледовом побоище. Писала карточки с датами реформ в царской России. И хоть подними меня ночью! – могла рассказать, как «Отче наш», полную хронологию Соляного бунта. Словом, существовала одновременно во всех веках и, благодаря одномоментности присутствия, уже без учебника выстраивала логические связи и проводила исторические параллели.

История, как и французский язык, переполняла меня, но теперь был интерес и была цель – высокий серый дом на Первой линии «Васьки», как называли остров местные. Пробежавшись перед сном по самым незначительным датам (основные были высечены в скрижалях памяти как десять, тридцать, сто заповедей), я представляла, как открываю тяжелые двери и вхожу внутрь – студенткой.

История России разворачивалась передо мной дорожкой, по которой я шла, словно Екатерина Великая, кивая, как добрым знакомым, дворцовым переворотам и сражениям, – прямо на шестой этаж, в 601-ю аудиторию.

В эту же аудиторию я зашла наяву, когда приехала на краткосрочные «подготы» за месяц до поступления. На первое занятие бежала от метро бегом, но все равно опоздала и села на

единственное свободное место – возле высокой девушки с заколотыми в строгий пучок волосами, с высоким, гладким, как у ребенка, лбом – ботокса тогда еще не было, и словно нарисованными идеально правильными чертами.

Она была потрясающе красива – видимо, этим и объяснялось вакантное место рядом: девочки не хотели сравнений, а мальчики были «филолухами». Милостиво разрешив осквернить своим присутствием ее величество, она шепотом сказала, что только что ушли телевизионщики, снимавшие репортаж об «абитуре». Оператор только на нее и направлял камеру, вечером в новостях покажут.

Набившись в одну из немногих комнат журфаковского общежития «на Кораблях», где был телевизор, иногородняя абитура и впрямь увидела этот репортаж и уже знакомую нам диву с изогнутыми бровями, словно рожденную для того, чтобы украсить собой экраны.

На следующий день в 601-й аудитории все заняли свои места – как в туристическом автобусе, когда первая поездка закрепляет за пассажиром нигде не прописанное, но само собой разумеющееся право претендовать на это сиденье до конца поездки.

Красавица оказалась почти тезкой – Мариной. Щедро отвесив полагающуюся порцию комплиментов за вчерашнюю телепремьеру – с горкой, я оказалась произведенной в пажи Прекрасной Дамы.

Через несколько дней я привыкла к снисходительно-покровительственному тону Марины: несмотря на всю свою величественную недоступность, она оказалась довольно открытой – даже спустя много лет язык не поворачивается ее так назвать – «девчонкой». Друзей в незнакомом городе у меня не было, а у нее, казалось, не было вообще. Природа сыграла с ней злую шутку, наделив красотой, не привлекающей, а отталкивающей.

Впрочем, отталкивала ее красота далеко не всех, а недостаток общения со сверстниками с лихвой компенсировали кавалеры, все больше – великовозрастные. Один из них и оплачивал ее курсы и индивидуальные занятия с лучшими университетскими преподавателями по всем дисциплинам.

– Хуже всего история идет, – делилась она на лекции по истории, скользя взглядом по конспектам, как по меню в ресторане.

Историю читал грузный дядька. Он садился за стол, прикрывал глаза, но не засыпал, как казалось нам, в первые же минуты, а начинал рассказывать по памяти, лишь изредка приоткрывая глаза, чтобы убедиться, что слушатели бодрствуют.

Никто, конечно, не спал – до экзамена оставались каких-то три недели. Скрипели старые деревянные стулья, бегали шариковые ручки по бумаге, шелестели тетради, мы вздыхали, утирали пот со лба: в раскрытое окно дул ветер, даже не с Невы, а, казалось, с Финского залива, но на улице стояла тридцатиградусная жара, под окном громыхали трамваи.

– Я историей с его мамой занимаюсь, – на ухо сообщила Марина. – Она меня с ним познакомить хочет, но он все время поздно приходит.

– Да ну? – делано удивилась я, хотя за прошедшую с моего приезда в Петербург неделю уже перестала удивляться.

– Мы билеты проходим по Фроянову. Экзамен же университетские историки принимать будут. Своя школа!

– Разве не по этим билетам? – забеспокоилась я и достала изрядно потрепанные листочки.

Марина пробежала глазами.

– У меня другие.

– Программа же одна!

– А толкований много, – заметила Марина. – Если ты поступаешь в «большой» университет, то должна излагать историю по концепции Фроянова.

Я была вынуждена признаться, что не знаю не только концепции, но и кто такой этот Фроянов.

Тень легла на прекрасное лицо Марины. На мое лицо, наверное, тоже что-то легло, а то и село. Возможно, ледяная задница Морры: я онемела и застыла. Как померзшие цветы на клумбе Муми-мамы, так много сил положившей на то, чтобы зерно дало ростки, а потом распустились розы. Но пришла одинокая, не любимая никем Морра и села на клумбу, завороженная светом керосиновой лампы…

Зерна исторических дат надежно сидели в голове, но вот ростки и бутоны надо было срезать и выращивать заново – по профессору и декану исторического факультета Фроянову, пока на экзамене не срезали меня.

Оказалось, что Марина уже почти все прошла с репетитором. Конспекты ответов хранились в папке.

– Можно посмотреть?

Марина ответила не сразу…

Оставшиеся три недели я дословно перекатывала конспекты, все больше напоминавшие мне ту самую запятую на экзамене по французскому языку.

Все то – да не то.

Почувствуйте разницу.

С собой эти записи Марина, конечно, не давала, но на курсах, пока историк в полудреме грузил нас знаниями, я успевала окучить по пять-десять билетов.

Только сейчас, почти двадцать лет спустя, я понимаю, что попала тогда на место Оли – настолько зеркальной оказалась ситуация, что я почти превратилась в Яло.

Творческий конкурс и сочинение я сдала на «пятерки», за французский получила честный «четвертак». Всю ночь перед экзаменом по истории я открывала наугад страницы учебников, перебирала лекции и, зацепившись взглядом за дату, рассказывала воображаемому экзаменатору все, что было с ней связано.

Днем с шестнадцатого этажа общежития на Кораблях Васильевский остров был виден как на ладони. Ночью подо мной расстилалось море огней во все широкое, без занавесок, окно с шаткой, прогнившей деревянной рамой.

Под утро я словно парила над городом – и молилась Ксении Блаженной, к часовне которой на Смоленском кладбище мы накануне сходили с Мариной, профессору Фроянову, имевшему особый взгляд на историю Древней Руси, какому-то неведомому божеству или силе, которая, казалось, дремала среди серых стен, дворов-колодцев, набережных, широких линий и узких проспектов и могла повлиять на мою личную историю.

Оставить здесь или гнать восвояси.

В таком экстатическом состоянии и отправилась я на экзамен, предварительно утрамбовав по укромным уголкам маленькие книжечки шпаргалок – формат собственного изобретения, образец упражнений в каллиграфии. Не то чтобы я собиралась ими пользоваться, но все же написала по развернутым конспектам краткую структуру каждого ответа – для спокойствия.

Сдавали на геологическом факультете, на Десятой линии.

У входа на геофак уже кто-то самозабвенно плакал. Значит, первая партия вышла.

Я ждала Марину, но та опаздывала.

На широкой лестнице роилась толпа – вторая партия. Я пристроилась в хвост, рассчитывая, что очередь дойдет не скоро, еще подышу перед смертью…

Но смерть не заставила себя ждать.

Двери в аудиторию раскрылись, и стало ясно, что она больше нашей 601-й – всем места хватит.

Я занесла руку над билетами.

Кто не помнит этот миг испытания судьбы?

Господи, помоги…

Помог.

Билет достался с издевкой, похожий на пирожок, всю начинку которого бухнули в один край: реформы Петра Первого и подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.

Села за парту. Оценила обстановку.

Отвечать выходили в другую аудиторию. Тех, кто засиживался над ответами, подгоняли ходившие по рядам преподаватели. Абитура из первой партии почти вся уже ответила. Значит, скоро будут вытаскивать нас.

Петровская эпоха ожила и зашевелилась в голове. Даты, тезисы, аргументы – лист за листом.

– Можно у вас еще бумаги попросить?

Четыре листа, на тружеников тыла останется.

Сидящий впереди парень и до этого беспокойно елозил, теперь оглянулся.

– Эй, отличница… Помоги. Про Столыпина что-нибудь знаешь?

– Отстань.

– Пожалуйста!

– Не мешай.

– Буду мешать.

«Шпора» со столыпинскими реформами лежала первой в левой туфле или четвертой в бюстгальтере на правой груди. Улучив минутку, когда «надсмотрщик» прошел мимо и оказался у меня за спиной, я наклонилась почесать ногу и извлекла малюсенький, сложенный вдвое листочек – не то.

– Дай, дай шпору, – молил и вертелся мой беспокойный сосед.

– Отберут и выгонят.

– А так выгонят за то, что не знаю. Не боись – не заложу!

Я погладила грудь, лихорадочно загибая листочки – первая, вторая, третья.

Есть!

Когда сотрудник приемной комиссии снова оказался к нам спиной, сунула шпаргалку соседу. Тот успокоился и застрочил.

– Ну-ка, ну-ка, что это у вас такое? – заинтересовался преподаватель, курсировавший по соседнему ряду.

– Это не мои! – громогласно заявил парень, когда его заставили встать и отобрали шпаргалку.

– А чьи?

– Ее!

– У меня вообще другой билет, – лепетала я, когда нас обоих вели из аудитории. – Я сама все написала.

– Ну, вот и нечего сидеть, идите сдавать, – оборвал меня

препод, кивнул на дверь с надписью «Тихо. Идет экзамен!» и увел парня за собой.

Экзаменаторами оказались средних лет мужчина и неопределенного возраста дама, раздраженно водившая карандашом по ведомости.

– Начинайте! – не глядя на меня, буркнула она.

И тут я отчетливо представила длинную красивую фразу из Фроянова, вернее, из Мариниых конспектов – как раз про Петровские реформы. Она встала перед глазами со всеми запятыми, я помнила ее от первого до последнего слова. Это было отличное вступление для моего ответа на экзамене.

Я с чувством произнесла ее в первозданном виде и уже готова была проследовать в глубь Петровской эпохи со всеми полагающимися экзамену остановками. Но дама перестала вертеть в руках карандаш, подняла голову и уставилась на меня.

– Вы сами-то поняли, что сказали? – спросила она.

Я оторопела.

За шесть месяцев ежедневной, а часто и еженощной подготовки к экзамену по истории я много раз представляла и прокручивала его в воображении, ожидала каких угодно сложных, заковыристых, каверзных вопросов, но только не этого.

Изумление было настолько обескураживающим, тотальным, что я, забыв о субординации, ответила:

– Я – поняла. Вам объяснить?

И действительно была готова объяснить каждый пассаж в тираде – не зря же учила.

Уже витиеватый тезис Фроянова, то ли перевранный Мариной, то ли и правда столь сложный для восприятия давно вылетел у меня из головы, а эту фразу помню, будто произнесла только что.

Экзаменаторша отреагировала бурно:

– Ну и что хорошего сделал ваш Петр?! Сифилис в Россию завез? Воровство не смог пресечь? Вон, Меншиков столько при нем нахапал, что до сих пор по линиям пешком ходим, а могли бы плавать! Как в Венеции. На гондолах! Тоже мне: «Осталась у меня одна рука, вороватая, да верная»…

Она помахала у меня перед носом своей рукой и ткнула пальцем в окно на Десятую линию Васильевского острова, по которой мне надлежало приплыть на экзамен на гондоле по богатой на воровство истории России, если бы Александр Гаврилович Меншиков, сукин сын, не поживился при благоустройстве острова.

Обстоятельства появления в России сифилиса в учебниках не излагались, однако экзаменаторша явно знала, о чем говорила. Я

уже было открыла рот, чтобы защитить Петра, но дама резко встала, вытащила из сумки пачку сигарет и со словами «черт знает что!» вышла из аудитории.

Только тут я обратила внимание, что второй экзаменатор смеется и, кажется, как и я, испытывает большое облегчение от ее перекура. Подвинул к себе конспект ответа, пробежал глазами, зевнул. Глянул на другие мои оценки.

– С реформами все ясно, а про тыл ничего не написали?

– Не успела. Я расскажу.

– Не надо, – он уже рисовал цифру в ведомости. – Поздравляю. Желаю хорошей учебы!

На ватных ногах, не веря в спасение, я шла по коридору.

Машинально завернула в туалет. Запустила руку в бюстгальтер, карманы пиджака, по одной сняла туфли. Выбрасывать шпаргалки было жалко, и я стопочкой сложила их на подоконнике.

У стола приемной комиссии все еще стоял парень, пойманный за списыванием. На столе лежала моя шпаргалка.

– Вот она, она мне дала! – завопил он с новой силой, увидев меня.

– Я его не знаю, – честно ответила я и вывернула карманы.

Через несколько дней я нашла свою фамилию в списке поступивших.

У меня даже оказалось на два балла больше проходного. Огорчало только то, что я не могла поделиться ими с Мариной, схватившей на экзамене по истории тройку. С тех пор мы не встречались, но я еще долго вспоминала ее…

На журфаке тоже пришлось учить французский. Однажды я захватила с собой на занятие карманный разговорник в красной обложке, купленный вместе с судьбоносным «Справочником для поступающих в вузы».

– Где вы его взяли? – заинтересовалась преподаватель.

– Купила пару лет назад. Но он не очень удобный, и уровень так себе, – небрежно сказала я, не столько потому, что разговорник был плох, сколько из желания показать свою «продвинутость».

– Да, знаю, – ответила она. – Я его и написала.

Наша, как всегда, немногочисленная группа «французов» грохнула со смеху, а я подумала, что отныне вопрос моей успеваемости по этому предмету предрешен.

Но ошиблась.

Видимо, черная полоса моих неудач на образовательной ниве действительно закончилась.

Француженка никогда не припоминала мне этой неловкости и, как могла, тянула на «пятерки», потому что мой уровень знаний, даже после всех мытарств в покинутом институте, все равно оказался ниже уровня выпускников местных специализированных французских школ.

Факультет журналистики я окончила в 2001 году с безупречным красным дипломом, без единой «четверки», а потом еще и преподавала в его стенах. Только став экзаменатором, я поняла, что уровень подготовки отвечающего виден преподавателю с первых минут, и перестала удивляться своей «пятерке» на экзамене по истории.

Французский язык я недолюбливаю до сих пор. А вот то, что Меншиков разворовал казенные средства и не вырыл вместо линий на Васильевском острове каналы – оно и к лучшему.

Представляю себе студентов и преподавателей университета, гребущих веслами и пришвартовывающихся у факультетов…

Кризис среднего возраста
Андрей Геласимов, прозаик

Сочинять истории я начал в самом нежном возрасте. Это помогало объяснить маме, где я шлялся до самого вечера. Потом стал все это записывать, поскольку приходил так поздно, что мама уже спала. В итоге сложилась первая книга. Именно тогда я понял, что самые важные вещи происходят в нашей жизни сами собой, а счастье – это когда тебе в радость все то, что ты должен делать.

* * *

«Земную жизнь пройдя до половины,
И очутился…»

Я очень рано решил стать писателем. Практически в детстве. Тем более что мама всегда говорила обо мне – бездельник. И прятала мои книжки. Ну, то есть не мои, а другими писателями написанные, но я тогда твердо решил, что будут потом и мои. Не знаю когда, но будут. Потом я немного повзрослел, женился, окончил университет, но странная мечта меня не оставила. А за окном, на минуточку, девяностые годы, и минус пятьдесят два на термометре, и до Москвы самолетом шесть часов, и местное литературное сообщество размером в три с половиной читателя плюс один якутский поэт, который иногда в себе, а иногда начинает писать стихи про Париж.

И вот я бреду себе в густом зимнем тумане, потому что в Якутске при сверхнизких температурах всегда сильный туман, и бреду я в сторону университета, где мне почти ничего не платят, поскольку я всего лишь ассистент кафедры, и где я в восемь часов утра в промерзшей насквозь поточной аудитории должен рассказывать первокурсникам о трагедиях Эсхила, на фоне которых моя собственная жизнь выглядит более-менее сносно, и это утешает, хотя денег практически нет, а детей, наоборот, – трое, и один, вот уже два года, с тех пор как родился, болеет, и куда там рассчитывать на зарплату, когда по всей стране такая разруха, а на Кавказе снова война, и я про мальчишек с этой войны уже начал писать повесть, но постоянно ее бросаю, потому

что мне больно о них писать – и вот я бреду со всем этим в тумане, а навстречу мне выплывает хороший знакомый.

Он тоже ассистент кафедры, но исторической, и он очень большой. Очевидно, историк сразу рождается крупным, чтобы потом, когда он добьется успеха, все говорили – это крупный историк. Но на данный момент успеха он не добился, и его габариты некоторых раздражают. Дней за пять или шесть до того, как мы с ним выныриваем из тумана, мы празднуем что-то у общего друга, и будущее светило исторической науки теряет вдруг осторожность, потому что рассчитывает на свою массу и думает, что его не развезет. Но получается так, что расчет не верен, и его не просто развозит – его разносит, его растаскивает по сторонам, и когда вдруг входит мама нашего общего друга, будущее светило вскакивает, желая приветствовать дам, и тут же обрушивается на стол, потому что против силы притяжения не поспоришь, а если она помножена грамм на семьсот-восемьсот водки, то споры попросту смехотворны, и в первую секунду нам действительно очень смешно, потому что стол под светилом ломается ровно посредине, и все это – скатерть, салаты, горячее – теперь там, внизу. А мама нашего общего друга молчит так пронзительно, а потом с горечью изрекает – долбаный бегемот. Потому что ей жалко стола, и она понятия не имеет, что Валера будет светилом, пусть и упавшим на время пока.

А спустя пять или шесть дней после этого низвержения мы встречаемся с ним на заснеженной улице, по которой никто и никуда, кроме нас, не идет, узнаем друг друга в безликих заиндевевших тулупах, и я выдыхаю с клубами пара – Валера, что-то мне жизнь совсем не мила.

Но при этом, разумеется, не все ему говорю. Не сообщаю, например, что подумываю иногда, возвращаясь из универа, пройти мимо своей пятиэтажки, где ждет меня в тепле моя очень уставшая жена и трое никогда не устающих детей. Пройти до конца по этой широкой и прямой улице, которая упирается в набережную, и не останавливаться даже там. Спуститься на лед и двигаться дальше – мимо погребенных под снегом островов, мимо лопнувших от колоссального напряжения огромных торосов, мимо брошенных барж, вмерзших в реку подобно лицам грешников из Дантова «Ада». Идти, пока хватит сил, а потом просто лечь и заснуть, и видеть сны, потому что перейти реку вряд ли удастся – слишком она широка, даже днем противоположный берег угадывается лишь потому, что ты знаешь – он где-то там.

А Валера мне говорит – не напрягайся, это кризис среднего возраста. И я отвечаю – Валера. Друг мой обширный. Какого

среднего возраста? Мне двадцать восемь долбаных лет. Если это середина, то я не хочу дальше. Мне эту реку не перейти, дружище. Она слишком широкая. Почему никто не предупредил, что даже до середины доползти будет проблематично? А главное – что ползун из меня никакой. Почему никто ничего не сказал? Не намекнул даже.

Вернее, все это я ему не говорю, а думаю молча, потому что якутская улица в пятидесятиградусный мороз в половине восьмого утра – это не то место, где твоим друзьям нужны метафоры. Но при этом какой-то совет получить все же хочется. Потому что сам ты уже заплутал. И даже сумрачного леса не надо. И тьмы долины.

Всё. Тебя нет.

Хотя до этих пор был молодцом. Мама любила говорить – держал хвост пистолетом. Сильно помогал, конечно же, Киплинг, обнаглевший до того, что обозвал и победу и поражение самозванцами, а также теория собственного изготовления, согласно которой надо непременно мечтать о чем-то большом и прекрасном, ну, например, о том, как ты даешь интервью французскому телевидению, а рядом своей очереди ждет, скажем, Пьер Карден, однако мечтая об этом, нужно твердо осознавать, что такого в твоей жизни никогда не случится. Потому что ты реалист и давно привык не расстраиваться из-за проигрышей нашей сборной по футболу. То есть ты уверен, что когда-нибудь наши парни выиграют чемпионат мира, и эта уверенность тебя сильно приподнимает, но в то же время ты знаешь – этому не бывать, и тебе от этого знания ничуть не больно.

Я понимал, что мои амбивалентные построения требовали изрядной свободы от логики, если не сказать – от здравого смысла, но в моем случае они работали, ибо сколько логики и здравого смысла в окружающей нас жизни вообще? Ну, если по-честному? Если совсем трезво уже так взглянуть? Поэтому я прятался за ними, как за высокой надежной стеной, и чувствовал себя словно в детстве, когда говорили – «я в домике», и ничто меня в этом домике напугать уже не могло. Страх диагноза по психиатрии не в счет. Потому что когда я сойду с ума, меня-то уже здесь не будет. Да и что такое сумасшествие, как не окончательная свобода мысли?

Но к моменту моей встречи с Валерой на пустынной и хрупкой от мороза улице все эти замечательные конструкции одновременной веры в свою звезду и покорной при этом готовности принять судьбу обывателя – они как бы слегка потускнели. И даже не слегка, а, наоборот, очень сильно. И даже не потускнели, а совершенно выцвели, скукожились и оставили

меня голым и беззащитным перед отчетливой перспективой того, что ничего интересного в моей жизни уже не будет. А будет одна монотонная низкооплачиваемая работа, двадцатиминутная дорога от дома до универа в течение ближайших сорока, если повезет – пятидесяти лет, и бесконечные сожаления о том, что, возможно, я был рожден для чего-то совсем иного.

– Что делать, Валера? – спросил я своего большого и замерзшего друга, который в ответ совершенно неожиданно распахнул предо мною врата в дивный и новый мир.

– Надо что-то менять, – очень буднично сказал он. – Люди в такой ситуации меняют либо семью, либо страну, либо работу. Это как воду сменить в аквариуме. Рыбкам тогда дышать полегче.

Он оттянул заиндевевший край своего шарфа, через который говорил со мной, и показал толстыми губами, как дышат рыбки, когда им полегче.

Откровение, частью которого стал абсолютно не похожий на вестника судьбы Валера, накрыло меня так плотно, так внезапно и так всеобъемлюще, что ко мне практически сразу, едва не на той самой улице, вернулась вся моя прежняя веселость. Страхи еще поднимали свои змеиные головы, но против этой проклятой гидры у меня уже был свой меч-кладенец. Простая, если не сказать – примитивная формула, предложенная моим добрым гигантским другом, внезапно прочистила мне мозг. Я отчетливо и ясно вдруг осознал, что да, все очень просто. И нет никаких сложных причин, хитросплетений и мотиваций, которые сделали мою жизнь почти невыносимой и которые до этого момента казались мне реальными, причем настолько реальными, что я буквально задыхался под их тяжестью. Теперь от меня требовалось лишь сделать выбор того, что конкретно нужно сменить. И все – я вновь становился легким.

Вернувшись в тот день после лекции домой и от нетерпения не дождавшись, когда все угомонятся, я заперся в ванной комнате, частенько заменявшей мне кабинет, сел в старое кресло, которое заносилось туда в срочные для «папиной работы» моменты, положил на подлокотники стиральную доску, на нее – несколько плотных конвертов от больших виниловых грампластинок фирмы «Мелодия», а поверх всего этого – чистый лист бумаги формата А4. Прислушиваясь то к звукам капели из вечно бегущего крана, то к веселым воплям снаружи, я просидел неподвижно две или три минуты и наконец вывел на белом листе крупными буквами то, о чем думал весь день после странного разговора с Валерой:

НЕ НАДО БОЯТЬСЯ ЖИТЬ

Точки в конце этой фразы я не поставил. Она бы заперла эту мысль подобно тяжелой двери, наглухо закрывающей и без того мучительно узкий проход к свободе, веселью и солнечному свету.

На бумаге фраза выглядела значительно весомей, чем у меня в голове. С учетом троих детей и не работающей по уходу за ними жены все свои жизненные стратегии я строил от обороны. Я вел себя как итальянская сборная, которая отсиживается до поры до времени у своих ворот, ничего не созидает, а лишь разваливает игру соперника и терпеливо ждет, когда тот, увлекшись атакой, раскроется, и тогда можно убежать в открывшийся коридор, забить единственный мяч и снова уйти в глухую защиту. Эта эффективная схема работала и в моем скромном случае, гарантируя мне минимальные очки, необходимые для победы, однако теперь я смотрел на фразу, которую только что написал, и думал о том, что моему случаю вовсе не так уж обязательно быть скромным и счастья можно поискать у чужих ворот.

В дверь ванной комнаты затарабанили одновременно руками и ногами, и, кажется, даже головой, как это умеют делать одни лишь самозабвенные четырехлетние дети, и мне пришлось подняться из кресла, удалив предварительно с подлокотников конструкцию для «папиной работы». Пока я был занят разбором своего «кабинета», стук в дверь успел пройти несколько фаз. Вначале это был просто веселый грохот, напоминавший пионерское детство с его ошалелыми барабанами и лязгом жестяных умывальников в летних лагерях; потом это стало похоже на усилия того мужчины с усталым лицом, который стоит в оркестровой яме позади всех и, когда ему надо, начинает лупить огромными, похожими на вантузы палками по такому же огромному барабану; и, наконец, этот тревожный рокот перерос в нечто большее, наводя на мысль о том, что за дверью либо началось извержение вулкана, либо отверзся ад.

Распахнув дверь, я хотел наорать на мелких нетерпеливых чертей, но они стояли на пороге с такими счастливыми лицами, что духу, конечно же, не хватило.

– Что? – спросил я.

– Нам надо вылить, – сказала моя четырехлетняя дочь и указала на своего брата трех лет, молча стоявшего рядом с нею с горшком в руках. – Мы все пописали.

– Молодцы, – сказал я, забирая у сына горшок.

– А еще покакали.

– Тоже неплохо, – я освободил их драгоценную посудину. – Где мама?

– Она пошла в магазин.

– А кто сидит с маленьким?

– Сейчас никто. А до этого мы сидели. Что ты здесь делаешь?

– Я работаю.

– Денежки зарабатываешь?

– Пока не знаю.

– А когда будешь знать?

– Думаю, скоро.

– Хорошо, – она очень серьезно кивнула. – Давай быстрей. Скажешь потом, когда узнаешь?

– Договорились. Вы можете еще немного с маленьким посидеть?

Моя мудрая дочь помолчала, затем вздохнула и потерла кулачком лоб.

– Мы сами маленькие.

– Да, я это знаю. Но он еще меньше.

Она поняла, что спор проигран.

– Тогда поменяй ему колготки. Мы не успели их снять, когда он сел на горшок.

Вернувшись после переодевания малыша в свой «кабинет», я уже не стал сооружать никакую конструкцию на подлокотниках кресла, а просто уселся в него и стал думать. Новое отношение к жизни было сформулировано. Оставалось только понять, что из Валериного списка в ней, в этой моей смелой и прекрасной теперь жизни, надо сменить, чтобы фраза, выведенная крупными печатными буквами, получила подтверждение в конкретном поступке.

Семья отпадала сразу, потому что без этих четверых я если бы и продолжал жить, то не очень понятно – с какой целью. Забегая вперед, признаюсь, у меня потом долгие годы ушли на то, чтобы уяснить, зачем вообще существует весь остальной мир. Точнее, что он существует зачем-то. Дальше этого факта я в понимании мира продвинуться не сумел.

Следующим пунктом в списке Валеры была страна, однако менять ее с галдящей кучей-малой на руках, с их горшками, колготками, детским питанием и молочной кухней – на это смелости человека, сидящего в скрипучем кресле между ванной и унитазом, все же пока не хватало. Тут нужен был как минимум их любимый Человек-паук, или Бэтмен, или кто там еще лазил для них по стенам. Только эти ребята могли броситься в пропасть вниз головой.

К тому же переезд в другую страну для меня по большому счету мало что мог изменить. Уже тогда у меня хватало ума понять, что положение человека талантливого в любой стране более-менее одинаково. Я даже хотел написать на эту тему

большой символический роман, в котором вся планета заселена исключительно инвалидами. По причине генетического сбоя или какой-то эпидемии на Земле стали рождаться исключительно инвалиды – у одного нет руки, у другого ноги, третий парализован, четвертый слепой, и в итоге общество начинает осознавать инвалидность как норму. Поначалу нарастают конфликты между группами, сбившимися по признаку недееспособности. Безрукие создают свою политическую партию, безногие следом за ними – свою, и так далее. Но со временем выстраивается всеобщая инвалидная иерархия, социум начинает работать в новых условиях, находит баланс, и все постепенно стабилизируется, приходит к общему знаменателю. Выделяются элиты, определяются социальные слои, которым даже в таком раскладе нечего ловить, и вот когда все уже стало понятно, где-то в глухой деревушке на свет появляется абсолютно нормальный младенец, единственный практически на Земле. Его матери, обычному и ничем не примечательному инвалиду, удается какое-то время скрывать от людей правду, приматывая пеленками то ручку, то ножку, но в конце концов скандальное существо подрастает и по неосторожности выдает себя. За ним начинают охотиться инвалидные спецслужбы, которые стоят на страже установленного порядка вещей, а поскольку на момент сочинения сам я был человеком юным и от того в известной степени мрачным, секретные агенты этого нормального ребенка в итоге находят и, не особенно сомневаясь, отпиливают ему лишние конечности.

Вот так примерно я представлял себе в те времена взаимоотношения талантливого человека и остального мира. Поэтому география тут была ни при чем. Перемещение из одной страны в другую к лучшему в моей жизни на тот момент ничего изменить не могло. Потом, уже спустя годы, я, конечно, осознал, насколько заблуждался тогда насчет исключительности таланта, однако известно, как много, охотно и сильно заблуждается молодое существо, когда речь заходит об избранности, личной неповторимости, о чувстве «боже, я не такой, как все» и тому подобных вещах. И кто нас осудит – вечно молодых и самовлюбленных?

Так или иначе список Валеры сократился на два пункта, оставив мне лишь смену работы. Решение завтра же зайти в деканат и написать заявление об уходе далось безо всякого труда, и в ту ночь я спал полноразмерным сном счастливого человека. Точно не помню, но, скорее всего, мне снилась Москва, куда я скоро уеду, новая работа, новые друзья, которые не напиваются до бесчувствия и не падают на чужие столы.

На следующий день посреди первой же пары в аудиторию ко мне заглянула замдекана по учебной работе и попросила, чтобы на перемене я зашел в деканат. Там меня ждали декан и заведующая кафедрой. Обе академические дамы чему-то загадочно улыбались.

– Я увольняюсь, – хотел им гордо сказать я, но возможности это сделать они мне не дали.

– У нас появилась трехмесячная стажировка в Англию, – сказала декан. – И нам бы хотелось отправить тебя. Что скажешь?

Спустя полгода я сидел в университетской библиотеке в графстве Восточный Йоркшир, сильно скучал по дому и размышлял о том, что менять в своей жизни, очевидно, я буду только колготки младшему сыну, когда он описается – вот и всё, что я буду менять.

Как ни странно, это и было главное изменение к лучшему в моей жизни. Я не бросил семью, не переехал навсегда в другую страну, не сменил работу. Все продолжалось ровно в том же режиме, однако за десять лет, которые прошли после моего разговора с Валерой, постепенно дописалась моя повесть про мальчишек-солдат, принесшая мне впоследствии успех на Парижском книжном салоне, после нее – забавный роман, экранизированный теперь уже дважды, и несколько хороших рассказов, до сих пор включаемых в различные антологии по всему миру. Я ничего не стал менять в своей жизни в тот переломный момент, и это оказалось ключевым условием самой важной перемены – жизнь готовила для меня удивительные дары, а от меня требовалось лишь доверие к тому, что со мной происходит.

Другая жизнь и берег дальний
Ирина Муравьева, прозаик, литературовед, переводчик

«На свете счастья нет, но есть покой и воля», – сказал Пушкин, но с годами я чувствую, что нет ни покоя, ни воли, а есть, вернее сказать, бывает именно счастье, то есть острое до боли ощущение непередаваемого словами блаженства жизни. Оно наступает по разным поводам: иногда самым крупным, событийным, иногда мелким, как крупицы песка. Вчера я проснулась от яркого и ненасытного пения птиц на заре. И почувствовала счастье. Если мне удается писать прозу, которая передает это состояние или хотя бы соприкасается с ним, – я счастливейший человек!

* * *

Пророки страдали косноязычием.

Донося до смертного слуха Божий голос, они истощали все силы, давились, их била падучая.

Чем ближе к истине, тем людям труднее даются слова, и жизнь наша, в сущности, невыразима. Судьба – это не хронология жизни, а тайна ее, ее скрытая сила.

Итак: эмиграция.

Что я видела, когда закрывала глаза, и картина абстрактного для меня перемещения посторонних людей из одного географического пространства в другое тревожила воображение своими размытыми подробностями?

Избитая книжная явь: кудрявый барчук в темно-синей матроске, Цветаева, вся в папиросном дыму, огни парохода, с томительным шумом влекущего русские судьбы к далеким, чужим берегам.

Да, люди хлебнули, и это я знала. А многие и захлебнулись, ушли – в матросках и шляпах – на самое дно, где водоросли оплели их по горло.

Считается, что нигде так не обнажается человеческая природа, как в самых экстремальных ситуациях. Война, например. Близость смерти. Блокада.

Но это и так, и не так.

В экстремальных ситуациях человек напоминает раненое животное, у которого затормозились рефлексы и оно кажется мертвым. Единственно важным становится тело, которое нужно сберечь.

Душа замирает в бездействии.

А вот раскрываются люди тогда, когда идет ставка на их личный выбор. Когда им мерещится, что от их воли зависит не только их частная жизнь, но жизнь большинства и движенье планет, и ход исторически важных процессов – и много всего, что на самом-то деле не подозревает об их суете. Забыть, что «судьба человека от Господа», как сказано в Библии, проще и легче, чем, скажем, забыть даты жизни и смерти неблизких друзей.

Память наша лукава.

Моя эмиграция – это судьба, но только не в узком, практическом смысле, а именно в том, в каком я понимаю случайность любого большого решения и одновременно – его неизбежность.

Однажды в июле прибило меня волною событий к раскормленной Вене. В ней пахло печеньем, горячим асфальтом, а в парке, куда мы ходили гулять, цветами и травами. На кухне встревоженные переселенцы варили большие и гладкие яйца в огромных кастрюлях, при этом считая чужие доходы. Боялись потратить копейку, но тратили, поскольку вокруг было много соблазнов: во-первых, конечно, Макдоналдс, а рядом – большой венский рынок. Куда-то нас часто возили гуртом: сажали в автобус со скошенным верхом, и маленький грустный шофер Эдуард считал наши разгоряченные головы. В конторах, куда нас возили гуртом, всегда было много анкет. Боясь ошибиться, соврать чужой власти, мы их заполняли прилежно, как дети.

Все ждали, что будет визит к гинекологу, но этого не было. Только рентген: нельзя завозить с собой туберкулез, а если завез, то сиди в карантине.

Однажды на кухне кудрявый, но с лысиной, блестящей, как таз посреди муравы, работник торговли сказал, что в метро вполне можно ездить без всяких билетов. Какой-то был трюк, но ему не поверили: ты свои советские штучки брось – здесь, милый, Австрия.

Но Австрия перевернула страницу, открылась другая картина: Италия.

Вокзал. На вокзале старуха – вся в розах, больших и бумажных. С тележкой. В тележке – собачка, и тоже вся в розах. Старуха – безумная, все к ней привыкли. Собачка грызет шоколадку кудрявым, ввалившимся ртом…

Зной этого города был еще жестче, чем зной старой Вены. Купаться нельзя: воды мутного Тибра несут в себе грязь и отраву. Мы украдкой плескали на себя из фонтанов, снимали сандалии и погружали в воду отекшие ноги. Подошвы касались блестящих монеток: туристы мечтали вернуться обратно и снова увидеть развалины Рима.

Чужой темперамент пугал и притягивал: водители так проклинали друг друга и, высунувшись из окошек, кричали так громко, что эти их крики, плевки их проклятий, гудки и угрозы сливались в какую-то дикую музыку, исполненную сумасшедшим оркестром.

Гостиница была раскалена.

Наши женщины, забыв о приличии, строились в очередь, желая воспользоваться общим душем, в простых белых лифчиках. Босыми, но в юбках. Сквозь полураздетый их строй проплывали, как утки, арабские скромные жены, спеленутые до бровей черной тканью. Их муж жил в другой, как сказали «роскошной» гостинице с младшей, последней женою. А эти, числом, скажем, шесть или восемь, томились от скуки и от любопытства. Однажды они постучали к нам в дверь и знаками смуглых и женственных пальцев спросили, не знаем ли мы, чем открыть коробку сардин: очень проголодались.

В обед подавали фасолевый суп с горячим поджаристым хлебом, на завтрак – горячие булочки с джемом. Народ налегал на вино из кувшинов, вино было розовым, явно домашним.

На римских развалах лежали вповалку дешевые туфли, одежда и сумки. Мы знали, что римляне – вроде цыган: они говорят тебе «двадцать», ты им «пять». Сторгуетесь. Главное – не уступить.

Неделя прошла, а потом, принарядившись, мы переселились в Ладисполи – город, до этого живший спокойно и тихо.

Песок его берега был ярко-черным, сверкал, как хрусталь. Нам всем полагалось ходить в синагогу, но не для молитв, а для разных бесед. Раввин из Питера с детским именем Гриша, здесь ставший Давидом, учил нас, птенцов, еврейским законам, читал нам из Библии. Птенцы удивлялись, узнав, что в субботу нельзя даже ездить на автомобиле, и очень гордились, что мы повторили поступок решительных предков: алкая свободы, ушли из Египта!

По пятницам всем нам дарили по курице, уже размороженной, жирной и белой. На курице ярко краснела наклейка со словом «кошерная», только написано большими латинскими буквами: «Kosher».

Я помню, как пахло в садах виноградом, и как по песку, торопливо пружиня, ходили торговцы с тяжелою кладью:

браслетами, бусами, кольцами, брошами. Они приезжали сюда из Туниса, где все эти камни – агат, хальцедон и даже любимая мной бирюза – стоят копейки. А вырвавшимся из Египта хотелось купить и украсить себя даже в этих, весьма непростых, обстоятельствах жизни. Они были алчным советским народом, привыкли давиться по очередям, привыкли «хотеть», «доставать», «рвать из рук».

Оранжево загоревшие женщины кивали тунисцу, и он подходил, улыбаясь всем ртом, блестел черным потом, снимал свой лоток с костлявой, натруженной, мокрой груди – и переливались под солнцем сокровища, и женщины, хмурясь, их перебирали, и вешали на свои скользкие шеи огнистые бусы, а в уши вдевали зеленые серьги, и вскоре мужья их, не в силах противиться, вступали с торговцем в тоскливые споры, пытаясь купить, ничего не платя. Но кроткий торговец мотал головою, и сделка заканчивалась, как обычно: один, получивши гроши, надевал лоток на костлявую грудь, а другой, махнувши рукой, убирал кошелек подальше от глаз, укрывал полотенцем, подкладывал под облысевший затылок, откуда никто бы его не похитил, и даже цунами – случись оно вдруг – сначала бы смыло весь город Ладисполи, и всех итальянцев, и их детей, и ребе Давида с его синагогой, а только потом – этот вот кошелечек…

Еще одну перевернули страницу: Америка.

Узкий и душный самолет, в котором наша группа вылетела из Рима, был последним подобием жилья, объединившим тех, имен и лиц которых я сейчас – через тридцать лет – почти не помню. Отдельные черты иногда проступают сквозь пену времен – и сразу в ней тонут.

Когда я думаю о том языке, которым Бог говорит с людьми, я вижу не только картины пожаров, и войны, и гибель семей и народов, но эти простые и мощные знаки, которыми располагает природа. Они останавливают на пороге, ломают маршруты, мешают и мстят. От них закрываются на все засовы, едой запасаются, гасят огни, но если кому суждено оказаться на лодке, когда поднимается буря, то он и окажется в ней, в этой лодке, и если жених не доехал до церкви, то, значит, метель была много важнее, чем это венчание.

Мы приземлились в Нью-Йорке и тут же узнали, что несколько часов назад начался ураган, который, сокрушив всю Южную Каролину, несется сейчас к нам, сюда, с одной только целью: убить все живое. Его звали Глорией. Он (или она, эта самая Глория!) должен был быть здесь в течение часа. И все-таки мы полетели, рискнули. Последний в тот день самолетик до

Бостона, а может быть, самый последний на свете, последний на небе – простой самолетик, где у стюардессы было лицо голубя. Ее я запомнила: клюв, сизо-синие глаза с поволокой…

Глория не шутила и не намеревалась никого щадить.

Что происходило на побережье, я не знаю: океан достаточно далеко, но город под страшными лапами Глории, под скрежетом ее черных зубов утром стал грудой поваленных, жалких деревьев, осколков, обрывков каких-то полотнищ, сплетенных жгутом проводов. И все это хранило следы перепуганной жизни – не только людской, но всеобщей: древесной, и птичьей, и жизни подземной, куда уползли насекомые в страхе, и жизни всего населенья речного, которое спряталось на глубине и скрылось от глаз обезумевшей ведьмы.

Весь день бушевала она и всю ночь.

А утром затихла, устала, смирилась.

За руку со своим десятилетним сыном я бродила по Гарвардской площади, на которой, осторожно переступая через мертвых: листву и стволы, провода и осколки, бродили неловкие тихие люди, как будто они обходили все вместе огромное грустное поле сраженья.

Зачем налетела тогда эта Глория?

Чтобы напугать меня?

Предупредить?

Осень, теплая осень в чужом городе, победно блистала сквозь дыры в листве то облаком, то синевой, а сама сгорала при этом, и все осыпалось, прощалось друг с другом, и трещины старых кладбищенских плит казались слегка лиловатыми…

Той же осенью удачи посыпались на голову, как будто в небе перевернули рог изобилия, и все его благодатное содержимое летело оттуда с завидной прицельностью: искало меня среди звезд, гор и рек.

Самой большой, немыслимой, с точки зрения скромного человека, удачей была работа в Гарвардском университете. Ассистентом профессора, пять раз в неделю. Восторг раздувал меня. Вопросы: «За что? Почему?» – не мешали: мне просто везло, как везет тем лунатикам, которые могут пройти по карнизу двенадцатого этажа и спокойно опять возвратиться в постель.

Из преподаванья запомнились мелочи: читали рассказ «Толстый и тонкий». Чехов, будучи человеком старой формации, написал, что тонкий «захихикал, как китаец». Конечно, ему это с рук не сошло. Китаец, студент-второкурсник, стал красным, а вскоре вообще почернел: «Он что, был расистом? При чем здесь китайцы?»

Весной начались, как обычно, экзамены.

Студенты мои просто падали с ног. Глаза их ввалились. Мне – женщине, матери и человеку – всегда тяжело видеть чье-то страданье, и я попыталась помочь.

– Хотите, мы просто пометим билеты? – спросила я ласково.

У нас было несколько тем разговорных и несколько – литературных. Из всех разговорных одна была трудной: «К чему я стремлюсь в своей жизни», а литературные все были жуткими, особенно: «Образ простой русской девушки из фильма «Вокзал для двоих».

– Как это: «пометим»? – спросили они и притихли.

– Зеленым пометим «К чему я стремлюсь», а «Девушку» – красным. Возьмете – что знаете. Мы все в МГУ это делали.

И я рассказала забавные байки про то, как в России сдавали экзамены. Страна моего ускользнувшего детства предстала в разбойной и дикой красе. Шпаргалки, репрессии, Сахаров, бомбы и снова шпаргалки. Ни чести, ни совести, все на продажу. Так делали все, понимаете? Все!

– И вы? – прошептали они.

– Ну а как же?

Они засмеялись с неловкой угрюмостью.

В столовой я встретила взгляд.

Надо сказать, что за пару дней до этой нелепой моей откровенности ко мне на урок пришла дама. Вернее, коллега. В цепи превращений, когда незабудка становится мальчиком, а вскоре и мальчик, проживший свой срок, становится зайчиком или медведем (кто что заслужил!) – я вас уверяю: в цепи превращений моя эта дама была в свое время гремучей змеей. Хотя за плечами гремучей змеи дымились советское детство и юность, Фонтанка, Канавка, дворцы и каналы, она продолжала шипеть и извиваться, как будто вчера еще ползала в джунглях, и в маленьком, нежном ее облысении на самом затылке упрямо сквозила змеиная кожа. Глаза были узкими, черными, сильными. Улыбка, почти не сходящая с уст, измазана густо-кровавой помадой. И даже в фамилии что-то звериное: Косматова Ася.

Такая вот дама-коллега пришла на урок и сидела на нем, и все помечала своим карандашиком мои недочеты в зеленой тетрадке. Потом, окровавленным ртом усмехнувшись и быстро слизнув проступившую пену, ушла.

«Стукачка!» – подумала я, пребывая в своей лунатической фазе сознания.

Экзамены кончились.

Лето настало с внезапностью первой любви: все цвело.

Магнолии были пышны, как головки резвящихся в небе детей-ангелят. У здешней весны нет тех сказочных запахов, которые памятны мне по Москве: ни запаха дыма из мокрых садов, ни жадного запаха робкой травы, ни запаха первой сирени, которая способна смутить даже черствое сердце – настолько, что скучный его обладатель, зайдя в палисадник и сев на скамью, сорвет себе веточку и позабудет, зачем разругался с женой в пух и прах, зачем сгоряча дал по морде соседу…

В самый последний перед каникулами день меня попросили зайти в кабинет к заведующей кафедрой.

Американские слависты делятся на две категории: тех, которые стесняются говорить по-русски, и тех, которые не стесняются на нем говорить, несмотря на уморительные свои ошибки в этом непростом языке. Моя заведующая принадлежала к первой группе. Закусив еле заметную нижнюю губу, она очень быстро, на чистом английском, сказала, что Гарвард на следующий год со мной не намерен сотрудничать.

Баста.

Это было оглушительной новостью.

Кровь прилила к моему лицу, и несколько секунд перед глазами пульсировала яркая темнота. Потом я опомнилась и дрожащим, хотя, наверное, очень злым голосом спросила, в чем дело.

Малиновые пятна переползли с моего лица на ее. Понизив голос и оглянувшись на тяжелую, чудесного старинного цвета дверь своего кабинета, она сообщила, что на меня жалуются.

– Студенты? – воскликнула я.

– И студенты, – сказала она с выражением.

Я спускалась по лестнице, оскорбленная и потерянная в дебрях американской действительности, как герои Драйзера.

Гнев переполнял меня.

Если бы Косматова Ася, стукачка, змея и к тому же подонок, была бы тем домиком жалким, той хижиной, где жила невеста пушкинского Евгения, мой гнев снова смыл бы и домик с невестой, и все вокруг домики – с тою же силой и с той же безжалостностью, как Нева, которая преодолела гранит и всем показала, что значит стихия!

Свободная, если поверить поэту.

Стихии во мне очень даже хватало, но, кроме стихии, нужна и работа.

На следующий день я приняла неистовое решение: не продолжать своего безрадостного романа с американской славистикой, а тут же освоить любую профессию.

Бесы, смущающие человека на всем протяжении жизни его: от мирных яслей до последнего вздоха, влетели, как пчелы, впились, зажужжали. И я, вся изжаленная и искусанная, решила, что стану теперь косметичкой. Учиться недолго: три, кажется, месяца, работы полно.

Я буду работать с народом. И так даже лучше: народ вам не Гарвард, народ не предаст.

По-русски слово «косметичка» заключает в себе нечто фамильярное и снисходительное, вроде как: «закорючка». По-английски это звучит намного солидней: «специалист по эстетике».

Машины у меня не было, и на курсы обучения «эстетических специалистов» я ездила на трамвае.

Но это была уже не прежняя «я» – не та, которая прошлой осенью, разрываемая счастьем, садилась на мягкое красное сиденье автобуса, летящего почти от самого моего дома до Гарвардского университета, не та, которая с сумкой, полной книг и тетрадей, вдыхала листву и землю гарвардского двора, а потом по пологой широкой лестнице поднималась на третий этаж, окруженная доброжелательными взглядами аккуратно причесанных профессоров, педагогов и попечителей, которые смотрели на меня с портретов, украшавших это почтенное здание.

Теперь я была женщиной, на лице которой ясно читалось, что она, как говорили в нашей московской коммуналке, «трудящая», поэтому ранним утречком эта «трудящая» быстренько моется-споласкивается, волосы жгутом закручивает, садится в трамвай – у нас говорили «транвай» – и шасть на учебу! А там – никаких ни дерев, ни портретов, а спуск прямо в очень глубокий подвал, где свет на всем – мертвый, слегка синеватый. Окошек-то нету, на то он и подвал.

В подвале нужно было первым делом «пробить время», то есть отметить карточку, во сколько часов и минут и секунд ты прибыл учиться *эстетике*.

Потом нужно скоренько переодеться: на ноги – белые тапочки, на голову – белую косыночку, кофточку домашнюю, «светскую», так сказать, – в сумочку, и вместо нее – чистый белый халат, застегнутый прямо до самого горла.

А преобразившись в покойницу, сядь, раскрой свои записи с прошлого раза и слушай учительницу.

Все это так живо напоминало московскую школу, в свое время отпустившую меня на волю с документом о полученном среднем образовании, что иногда даже казалось, что я участвую в каком-то розыгрыше. Как могут свободные взрослые люди пугаться того, что их будут ругать за плохо разглаженную

косынку? За то, что пришла в белых *туфлях, а не в тапочках?!*

Я не делала ничего нарочно, но как-то само получалось, что иногда мой зеленый трамвай слегка опаздывал, а иногда я *действительно* забывала дома белые тапочки. На втором месяце обучения меня попытались отчислить, но потом разрешили исправиться и наказали тем, что я должна была оставаться в школе на вторую, вечернюю смену. Я стиснула зубы и приказала себе до дна выпить чашу унижения, получить бумажку и устроиться на работу.

Призрачность моего замысла становилась все очевиднее: я плохо спала по ночам, а утром не могла есть от тоскливого волнения. Перед выпускными экзаменами, на пороге моей яркой будущей карьеры, одна из учительниц – пышная, как кусок свежего торта, с глазами совы – вдруг меня отругала. Какое-то сделала мне замечание и даже повысила голос. Бывает. «Эстеты» – ведь тоже, в конце концов, люди, и нервы у них не канаты, поймите. Но тут меня вдруг прорвало, как плотину: я стала безудержно, сладко рыдать. Вокруг с вытянутыми лицами сбились в кучу матери детей и подростков – мои, так сказать, «одноклассницы». А четверо кураторов – владелица школы с серебристой головой и молодыми розовыми щеками, две ее помощницы (та самая, которая сделала мне замечание, и еще одна, пугливая, с разбитой жизнью), а также любовник начальницы школы, который имел непонятную должность, – стояли, не зная, что делать. Опытные люди мне много позже объяснили, что будь я слегка поумней – рыдать нужно было не так, бескорыстно, а, всех напугав своим жутким рыданьем, самой звонить в «Скорую». Примчалась бы «Скорая», и в тот же вечер закрылась бы школа. Потом, значит, тяжба, суды и застенки руководителям школы, а мне – компенсация в денежных знаках. Поскольку они же меня довели, и я из спокойной и честной «трудящей» вдруг стала почти невменяемой!

Но я, как всегда, упустила свой шанс: рыдать – порыдала, и все. Успокоилась.

Однако они ничего не забыли.

Экзамены были в конце ноября. Пришли волонтеры-клиенты, уселись на кресла, закинули головы. Мы все, молодые «эстеты», накрыли им личики белыми тряпками и начали эти помятые личики разглаживать и увлажнять. Ко мне легла женщина старше восьмидесяти. Не знаю, чего я ей там нанесла на дряблые веки, но женщина стала чернеть и пытаться привстать на своих ослабевших ногах. Кураторы кинулись к ней с ломким криком. Старуху спасли, но мне сразу сказали, что даже и речи не будет отныне о сертификате: я им опозорила школу, и бизнес,

налаженный в муках, разрушила.

Но тут уж и я рукава закатала и тихо ответила, что если так, то я расскажу в нашей русской «комьюнити», какие у них тут дела и порядки. И мы, настоящие русские женщины, устроим так, что больше никто в этом городе в их мерзкий подвал никогда не заглянет.

Тогда они выдали сертификат и возненавидели нас, русских женщин.

Приближалось Рождество.

Мелкий, голубоватый в сумерках снег беззвучно струился на землю.

Уже пахло хвоей. В Центральном парке огромное неподвижное дерево переливалось огнями и звездами, работал каток. Бездомные, не пожелавшие быть укрытыми от холода в городских приютах, разворачивали рваные спальные мешки, укладывались на люки, из которых мягко валил пар, и укутывались замасленными одеялами. Город стал празднично-беспокойным и одновременно уютным, зима создавала внутри себя свой порядок.

Это было лучшее время для того, чтобы устроиться на работу: перед Рождеством женщины начинают волноваться, как чайки, которые чувствуют приближение рыбы. Косметические салоны едва справлялись с наплывом клиентов. Ни на секунду не забывая, как розовощекая хозяйка железным голосом пообещала, что никто и никогда не возьмет меня на работу, я села в трамвай и приехала на самую модную, самую дорогую, полную богатых магазинов, галерей и ресторанов Ньюберри-стрит.

В центре Ньюберри-стрит, опять же в подвальчике, уютном, с глубокими креслами, находился в те времена знаменитый салон Элизабет Грейди. Кто такая была эта Элизабет, жива ли она или хрупкие косточки бедняжки промерзли в бостонской земле – не знаю и вряд ли когда-то узнаю…

По лестнице, на каждой ступеньке которой стояла маленькая сверкающая елочка в цветочном горшке, я спустилась и отворила дверь.

Запах духов и еще чего-то – свежего, терпкого, вкусного – охватил меня, и сердце внутри задрожало в предчувствии. Через пятнадцать минут та же самая я – в том же пальто и с тою же сумкой – поднялась обратно по лестнице, уставленной елочками, совсем в другом качестве: частицей огромной и пышной промышленности, которая служит лицу человека.

А то ведь такие случаются лица, что с ними и на улицу выйти неловко!

Природа безжалостна, но, слава богу, есть мы, «эстеты», и знания наши, и вкус наш, и опыт, и наше стремленье отдать это все человеческой массе.

На работу меня взяли сразу же, не задав почти никаких вопросов, по одной причине: мой русский акцент.

Не хуже французского, даже еще лучше.

На Ньюберри-стрит горели огни и переливались звезды, пахло хвоей и шоколадом, редкий снежок замедлял свое простодушное движение у самых больших фонарей и словно смотрелся в них, как в зеркала.

Я спрыгивала с трамвая и, понимая, что опять опоздала, ныряла на дно ослепительной улицы.

Чернокожая, с золотистыми зрачками под густыми наклеенными ресницами, Дэнис укоризненно качала головой на мое опоздание и кивала в сторону очередного незнакомого человека, который дожидался меня, небрежно перелистывая глянцевый журнал:

– А вот и Ирина. Она вас обслужит.

Я просила извинить меня за опоздание, улыбалась как можно приветливей, просила подождать ровно две минуты, быстро шла по узкому коридору в свою комнату, зажигала там свет, снимала пальто, набрасывала розовый халатик – и возвращалась обратно в холл, где незнакомый человек, черт которого я по-прежнему не замечала, уже переминался с ноги на ногу, встав со своего мягкого кресла. Я летела впереди, не стирая с лица улыбки, как будто мне лень было дважды раздвигать губы заново, а шаги незнакомого существа – мужчины или женщины – торопились за мною следом.

Войдя в комнату, я строго сжимала губы, давая понять, что сеанс будет нешуточным, просила раздеться до пояса, – я подожду за ширмочкой, не торопитесь! – лечь на пологую кушетку и укрыться до подбородка вот этой – не той, а вот этой! – простынкой.

– И обувь снимать? – спрашивал меня чей-то голос.

Преодолевая легкое отвращение, я беспечно отвечала, что можно и снять, а можно и оставить. Как хотите, что хотите, лишь бы вам было удобно.

И скрывалась за ширмочкой.

Тут на меня почему-то сразу наваливался сон. Я слышала легкое позвякиванье чужого браслета, часов или бус, скрип молнии, шорох одежды, а сон обнимал меня мягкими лапами, пытаясь свалить прямо на пол, где я, словно Варька из раннего Чехова, готова была погрузиться в беспамятство.

Потом раздавалось кряхтенье кушетки, звук скрещиваемых

под простынкой ног, осторожное покашливание. Невидимый занавес раздвигался – и начиналось мое жалкое клубное представление.

Театр одной крепостной.

Обеими ладонями пробивая плотный туман сна, как пробивают морскую воду, входя в нее и нащупывая ногами дно, я выныривала из-под ширмочки и, одарив незнакомое существо улыбкой, усаживалась на высокий крутящийся табурет. После этого я быстро проводила ладонями по постороннему лицу, сильно, но вежливо нажимала жертве на лоб, словно пытаясь полностью отключить у нее сознание, и принималась задавать самые нелепые вопросы тем самым голосом, в котором содержался драгоценный для моей карьеры русский акцент:

– Любите ли вы зеленые яблоки?

– Зеленые… что?

– Яблоки, яблоки, – журчала я на одной ноте, что, как известно, способствует расслаблению лицевых мышц. – Вы будете очень удивлены, узнав, что семьдесят пять процентов того, как выглядит ваша кожа, зависит от количества зеленых яблок в вашем ежедневном рационе!..

Жертва пучила глаза.

– Мы очень многого не знаем о своей коже, – бормотала я, стискивая большими пальцами обеих рук углы чужого рта, чтобы существо молчало: голоса раздражали меня. – Секрет ее эластичности содержится в кожуре обыкновенных зеленых яблок.

Потом я приступала к пытке, расковыривая щеки и нос беззащитного человека ногтями, обернутыми полотенцем.

– Знаете французскую пословицу? Pouretre bele il faut souffrir – красота требует жертв?

Сердце мое звонко стучало от злорадного удовольствия, когда, истощив запас своего отвращения к любимой работе, я бросала в ведерко слегка окровавленное полотенце, слышала глубокий, покорный вздох и шелестящим шепотом сообщала, что теперь наступает самая приятная часть процедуры: лечебная маска и глубокий сон.

Маску я делала исключительно по вдохновению минуты.

На полочке под зеркалом стояло множество хорошеньких баночек с разноцветными мазями. Каждая баночка была подписана: «ментол», «клубника», «цинк», «цитрус», «имбирь» и так далее. Не имея ни малейшего представления о том, что будет, например, если смешать клубнику с имбирем и добавить туда побольше цинка, а потом какого-нибудь масла, я зачерпывала маленькой деревянной ложечкой немножко красного из одной баночки, желтого из другой, сыпала струйку какого-то искристого

порошка из третьей, потом перемешивала и смотрела, что получилось. Чаще всего получалось красиво и пахло приятно.

– Это именно та маска, которая необходима вашему лицу, – бормотала я. – Действие ее рассчитано на двадцать пять – тридцать минут, и потом вы, глянув в зеркало, себя не узнаете!

Я гасила большую лампу, оставляла что-то вроде крошечного красного ночника, просила закрыть глаза и для верности придавливала веки смоченными в теплой воде марлевыми салфетками.

– Поспите, поспите, – шаманила я. – Сон так же необходим, как и зеленые яблоки. А масочка будет работать во сне…

Дыхание погружаемого в колдовство организма становилось глубоким и ровным. Иногда раздавалось посапывание, которое я хоть с трудом, но терпела. Но если спящий начинал громко и сладострастно храпеть или свистеть, как дачная электричка, я тихо дула на переносицу или переворачивала на веках марлевые салфетки, и неприятные, мешающие мне сосредоточиться звуки прекращались.

Была тишина, темнота, падал снег.

Я сидела на высоком табурете, крест-накрест обхватив себя руками, забыв о полуголом, беспечно спящем в моем присутствии краснолицем или синелицем человеке (состав моих масочек давал самые разные цветовые результаты!), и время затягивало меня в свою глубокую воронку, где вспыхивали, словно искры, минуты, уже пережитые мною… Это были не воспоминания и тем более не картинки прошлого, это были переживания, которые ждали своего завершения, словно тогда, когда они происходили в действительности, душе моей не хватило на них ни сил, ни жизненного опыта.

Я знала, что снег идет здесь и сейчас, и он пахнет хвоей, но только и снег, и еловый запах вдруг высвобождались из «здесь и сейчас»: они становились приметой Москвы, в которую навеки впечатался след моих детских санок…

Жизнь переплеталась внутри, как коса, узлы в ней развязывались, а все пустоты затягивались, наподобие ран.

Почему ничего подобного не происходило со мной в другие минуты? Почему нужно было забраться в этот подвальчик, нацепить на себя розовый халат, вооружиться чужим языком, чужим, вязким голосом, слегка устыдиться своей новой роли, и тут-то *оно* и пришло?

Мои переживания были такими сильными, чувство вины, почти не знакомое прежде, за все, совершенное в жизни, накатывало с такой беспощадностью, что я и боялась этих минут, и упивалась ими.

Мне казалось, что я долго бежала куда-то, задыхалась, спотыкалась, ободрала руки и ноги и вдруг оказалось, что все это зря: бежать было некуда.

А главное – незачем.

Оказалось, что за все время моего марафона я ни разу не осталась наедине ни с собой, ни с тем, что копилось внутри, пока санки царапали снег на Плющихе, пока из меня, чуть живой от потери большого количества крови, вытаскивали ребенка, и доктор, который сказал мне в палате: «Забудь обо всем, мы спасем тебя», – был сам потрясен, что мы с ребенком выжили: оба. И все это – санки, и снег, и взросление; и сын, мне доставшийся чудом и кровью; и столько ошибок, и столько любви, отпущенной мне; и смертей самых близких; и лес, где сначала растили меня, поскольку наш дом был у самой опушки, а после на этой же самой опушке я тихо качала коляску с ребенком; и все эти веточки, ветви, цветочки; весь шум поездов, запах мокрой травы; какие-то встречи, какие-то слезы и радуги радостей – жило внутри, но главного я так и не поняла: прошедшего времени нет у души.

Оно есть у тела, поэтому смерть – удел только плоти, бояться тут нечего.

Время поднималось внутри, как огромная волна на знаменитой картине Хокусая, который со своим чисто японским бесстрашием написал, как вода, вся в мелких и жадных когтях, вылупившихся из ее белой пены, стоит выше гор, выше всех их снегов и выше далекого облака в небе.

Это поднявшееся из глубины всей меня и остановившееся внутри меня время ощущалось, как особая, самостоятельная величина, к которой я никогда не привыкну, потому что она больше, чем я, и все, через что я прошла и пройду.

Сладко спящему под простынкой надлежало тем не менее проснуться, чтобы я, как с дитяти, стерла с него свою волшебную масочку и предложила последовать за мной по тому же коридору, в тот же уютный холл, где он, румяный и сладко выспавшийся, должен был заплатить строгой Дэнис за красоту и полученное удовольствие.

Был тут еще один, довольно щепетильный момент: а именно – чаевые, к которым я все не могла привыкнуть, несмотря на их очевидную практическую полезность. Поначалу я вела себя самым странным образом: а именно прятала руки за спину, делая их недоступными для людской благодарности, но оставался еще карман, в который, не обращая внимания на яркую краску, заливавшую меня, умело засовывали две-три бумажки.

Теперь и это не удручало: обида на судьбу, спустившую меня с широкой гарвардской лестницы, утрачивала свою силу.

Я уже не тяготилась своей работой и не вспоминала об унижениях, пережитых за месяцы учебы. Четыре вечера в неделю я, как подарка, ждала минуты, когда под простынкой заснет человек, а я стану думать, и думать, и думать.

То, что это состояние может привести к чему-то еще, кроме слез и наслаивающихся друг на друга воспаленных переживаний, не приходило мне в голову, пока однажды вечером – особенно снежным, особенно праздничным, словно бы ждущим того, что сейчас загорится на небе звезда Рождества, хотя до Рождества еще оставались какие-то дни, – этим вечером, подробности которого остались в памяти, как будто бы все это было вчера, я вдруг достала из сумки записную книжку, ручку и стала писать без единой помарки.

Сначала подкралось простое название: «Ляля, Наташа, Тома».

Потом вспыхнула перед глазами стершаяся фотография – именно вспыхнула, несмотря на свою тусклость: моя мама в венке из ромашек. Потом – опять она, полузакрывшая лицо огромной белой кошкой и улыбающаяся из-под пушистой кошачьей головы…

Я потеряла ее в трехлетнем возрасте, и тоска этой потери не успела прорасти глубоко: я слишком мала была для такой боли. Сейчас я ощущала тоже не боль – было что-то, что я порывалась успеть записать, но память моя была куцей, короткой, отдельные факты из маминой жизни, рассказанные мне другими, мешали, и я их отбросила.

Снег шел и шел.

Мерцающий снег, словно в детстве.

И стены салона «Элизабет Грейди» меня уже не защищали от детства: мы с мамой остались в нем наедине.

Потом я исчезла.

Она была в центре: в венке из ромашек и в еле заметном венке из моих непролившихся слез…

Через две недели оказалось, что повесть «Ляля, Наташа, Тома» дописана.

За это время я поняла, что несколько месяцев «эстетической» учебы и месяц на Ньюберри-стрит пора отодвинуть, как коврик у двери.

Они отыграли свое. Отработали.

А дальше были – глубина, синева.

Похвали меня, мать Анна
Елена Нестерина, прозаик, драматург

Начала писать еще во время обучения в Литературном институте им. М. Горького. По словам автора, ее творчество можно охарактеризовать как социальную фантастику с элементами чуда и волшебства. Успешно сочетает работу в издательстве, творчество и заботу о семье.

* * *

Мать Анна, ну ты-то помнишь, как маленький солдат всех спас?

Думаю, вряд ли это помнит твой жених, я, кстати, издалека наблюдаю за движением его творческой биографии. Его примечательную мандибулу и комическую фамилию я иногда вижу или на экране (по телевизору шла как-то передача про колдунов и загадки рейха) или на сцене – в самодельной актерской пьесе с продолжением. Пьеса слабенькая, да и он хоть и имеет роль начальника, а играет хуже всех, и на полюсе его черепа, противоположном мандибуле, уже образовалась плешь.

Мужчины тут у нас стареют, мать Анна.

И похвали меня из прошлого, потому что никто из тех, кто остался жив-здоров и продолжил учиться на актеров, этого тогда не сделал.

Ну вот, мать Анна, помнишь же, как твой курс, Машер, я и будущий доктор О, отправились на природу?

Артисты пели, артисты играли на гитарах, артисты расположились в лесу и продолжили петь.

Звали тебя тогда иначе, и ты, мать Анна, ходила в широченных шароварах и была самой талантливой на курсе. Я все думала: зачем тебе такие широкие штаны, подхваченные внизу резинкой, где ты их только откопала?..

Чего меня с вами понесло – молчать и слушать, как обычно? Безделье, наверно. Доктора О, видимо, тоже. Первое мая же, студенты не учатся. Мы с ней сидели себе тихонько, слушали, молчали.

И тут в лесу появились МЕСТНЫЕ.

Не все, разведчики. Остальных было только слышно – вдали ревели мотоциклы и доносилась свирепая речь.

Местные хотели бить артистов. Местным даже издалека их гитары не нравились. Местные уже выпили – и хотели отобрать городскую добычу.

Артисты надеялись, что все обойдется. Или – на добрых богов театра.

Но в лесу были только сосны, сумки с едой и бутылками да местные вида ужасного – и, наверное, их местные боги.

Девушки в предлагаемых обстоятельствах сжались в кучки. Тут кучка, там кучка, но кучки тоже можно бить и пинать ногами.

Кто-то из артистов вышел на переговоры. Этого местным было только и надо. Их спектакль начинался.

Бог защиты наивных? Или его ангел-заместитель? Кто-то из них попустил меня подойти к одному из местных и сказать: «Мотоцикл! Настоящий! Твой? А покатай меня? Я никогда не каталась».

Кто из нас в тот момент был артист? Кто изобразил детское восхищение – такое, что оно пробрало мордастого гопника на мотоцикле? Хвали же меня вот здесь, мать Анна!

Эти слова прозвучали так неожиданно, наверное, что оба местных замолчали.

– Покатай, а? Ты быстро ездишь? Но как – тут же одни деревья? Как вы только не врезаетесь…

И какой же местный выдержит подобное сомнение?

– Как мы не врезаемся? – местный переглянулся с местным. Погладил своего металлического коня. – Да мы – нормально. Поехали!

Он хлопнул по сиденью позади себя.

– И подруга моя тоже хочет. Покатаешь ее после меня? – доктора О пришлось тоже привлекать.

О – вот молодец – закивала: «Хочу, да, хочу»…

– Да чего после тебя – я давай покатаю! – ухнул другой местный.

Доктор О, явно первый раз в жизни, полезла на мотоцикл.

К третьему местному никто не сел. Он сначала мчался с нами, а потом свернул в сторону.

И они очень хорошо катали. Быстро.

В деревья не врезались.

Я громко спрашивала в ухо своего местного что-то такое, которое, видимо, у него никто никогда не спрашивал. Он интересовался, удобно ли мне.

И катал.

И когда он катил меня по трассе, появилась – хорошо, мать

Анна, ты ее не видела – конкурирующая группировка местных.

Увидев моего местного (Серегу, а второго звали Мешков), конкурирующая группировка дала по газам и погналась за нами. Мешков, который сильно отстал, это тоже понял и резко развернулся. Мы влетели в лес – надо же было сообщить нашим!

«Наши» не сразу снялись с места. Но их было больше – и конкуренты об этом не знали.

Высадив нас с О недалеко от актерского лагеря, Сергей и Мешков умчались на войну.

– Класс, уехали! – обрадовались предводители артистов.

Как взревели и затихли мотоциклы – было слышно хорошо.

Темнело.

Шансов, что местные вернутся нам валять, становилось все меньше. В темноте по лесу на мотоцикле – это вам не тру-ля-ля…

Артисты снова пели, артисты развели костер и поставили две палатки, артисты вытащили еду и напитки.

Но мотоциклы вернулись. Два.

Бросив круговой танец, артисты напряглись.

Серега и Мешков появились с большим пакетом печенья и бутылью лимонада. Глаз у Мешкова не действовал, он был закрыт гематомным мешком. Заплыл глазик. Доктор О оттянула кровавую кожу затянувшую глаз и констатировала, что сам он цел и видеть должен.

Это было приятно.

– Мы их сделали, – сообщил Серега.

Этой радостью ему хотелось поделиться именно с нами.

– Поздравляю, – улыбнулась я, потому что смотрел он преданными глазами в лицо именно мне. – А остальные-то ваши где?

– На дискотеке.

– А вы чего не поехали?

– А мы к вам, – Серега сделал улыбку своим крупным детским лицом. И ткнул в меня пакетом с печеньем:

– Спасибо.

– За что?

– Да предупредили, чего за «что»? – рявкнул Мешков. – Мы на дороге-то их заметили. Ну и вот…

– Вовремя заметили, – добавил Серега. – А если бы на трассу кататься бы не поехали, то все.

– Они бы того… Раньше…

– Ага.

Люди, а особенно такие чувствительные, как артисты, быстро понимают, когда опасность минует. Артисты ощутили, что местные не опасны и подкрепление не придет, и для них Серега и

Мешков перестали существовать.

Зазвенели бутылки, забренчала гитара.

А местные не уходили.

Серега из чьих-то тонких рук отобрал гитару, сыграл три аккорда, поглумился, как водится, выбирая песню, которую хотел бы заказать, артист стал исполнять, Серега слушал-слушал – да и быстро утомился…

От песен утомились все.

Кроме самих артистов. Они были неистощимы.

А утомленные все – я, О и двое местных – притаились у палатки и стали есть печенье.

Что хочет народный богатырь от того, от кого слышит связную речь?

Правильно, историй.

Серега и Мешков старательно не ругались матом – в те времена простые парни с понятием подчеркнуто не ругались матом при интеллигентных девушках. Они слушали про Слейпнира, восьминогого коня бога Одина (он их просто потряс, Серега несколько раз прослушал и постарался вызнать о нем все подробности); про Нибелунгов, про путешествия викингов в Гренландию; и как клады в старые времена закапывали, и какие приметы для того, чтобы их найти, существуют; и как морок водит по лесам, и что светится в болотных огнях, и что такое огни святого Эльма…

Доктор О добавляла про болезни, раны и боевые увечья.

А Мешков с Серегой все спрашивали и спрашивали…

Нам дали миску каши на всех, вина – но местным-то вино как слону дробина, они отказались в пользу нас с О.

Как раз лимонад кончился, печенье уже не лезло, чай не скоро, а с вином оказалось замечательно.

Быстро наступило утро, и стало так холодно, что все вспомнили про первый автобус.

Машер, О и меня на остановку отвезли Сергей с Мешковым.

А вы, мать Анна, брели пешком, и ты отсвечивала среди осин своими широченными шароварами. Они у тебя внизу намокли – и штаны съезжали под их тяжестью. Это было смешно: ноги, как груши, сверху тонкие, снизу наливные, но в автобусе ты села на колени к своему жениху, и груши спрятались.

Мать Анна, помяни в своих молитвах меня – и наш прекрасный русский язык, мое владение которым спасло нас от дубины народного гнева, зачаровав простого русского парня Серегу.

И Серегу помяни, и Мешкова.

Надеюсь, живы.

Сверкащий камень
Лариса Рубальская, поэт-песенник, прозаик, переводчик с японского

Я всегда любила слушать рассказы людей. А потом пересказывать их своими словами, попутно добавляя то, что, как мне казалось, сделает сюжеты более интересными. Так появлялись рассказы и стихи. Теперь это стало главным в моей жизни.

* * *

Помню, как в послевоенном дворе мы, дети, искали «сверкащий камень». Да-да, именно сверкащий – так мы говорили. Это были небольшие кусочки то ли мрамора, то ли булыжника, мы находили их на улице, чиркали друг об друга и высекались искорки. Они сверкали в наших ладошках, не обжигая, и казалось, озаряли нас каким-то сказочным огнем. И вот так же я потихоньку-понемногу всю жизнь чиркаю мысленно прекрасные камешки, и искорки превращаются в стихи и рассказы. И ничего волшебнее для меня на свете нет.

– Митрофанова, покажи-ка грацию – в маленьком клубе, разместившемся в полуподвальном помещении дома с осыпающейся штукатуркой, где занимался наш танцевальный кружок, – командовал «балетмейстер». Он сам себя так обозначил. Он выделял эту Митрофанову за какую-то там плавность движений. И Митрофанова плыла лебедью под музыку, несущуюся с пластинки. Под эту музыку лучше бы было плясать Барыню или Цыганочку, какой там лебедь! Но Танька эта, дылда тощая, на цыпочки вставала, чтобы балетмейстеру угодить. Он был вообще-то хороший дядька, фронтовик. А до войны мечтал танцевать в Большом театре, а мечтать перестал, когда его ранило в ногу. И нога не сгибалась – какие уж тут танцы. Какие-какие? А вот такие – в клубе девчонок обучать. Он и слова балетные знал – батман, плие… После Митрофановой хвалил за гибкость рук Жаворонкову, за музыкальность Белову и так всех по очереди. А до меня эта очередь никак не доходила. Получалось, что я хуже всех. Я расстраивалась и, чуть не плача, просила: «А мне-то что продемонстрировать?» Балетмейстер ойкал, и, чтоб

меня не обижать говорил – а ты, Лариса, покажи-ка нам настроение! И тут я пускалась в пляс – руки вместе, руки врозь, чечеточку путаную ногами, веревочку тоже – ножка за ножку. А лицом делала разные радостные гримасы, и все наши лебедушки моим настроением заражались, и учитель танцев радовался тоже.

Теперь я понимаю, что еще тогда, в далекие годы, я никаких надежд не подавала. Первая от хвоста. Но если нужно было настроение создать, то тут я пригождалась. И стало это для меня такой наукой: «Делай только то, за что тебя хвалят».

Бабушка с дедушкой мной гордились почему-то и объясняли всем, что я вундеркинд. У нас во дворе это слово замысловатое никто особенно не понимал. Но бабушка-то моя, Марьвасильна, в гимназии когда-то училась и знала много такого, чего никто, кроме нее, во всем дворе и слыхом не слыхивал. Вундеркинд, то есть я, как все дети, вставал при гостях на табуретку, складывал ручки на груди, глазки закатывал и декламировал «Однажды в студеную зимнюю пору». Причем при словах «был сильный мороз» так жмурился, что у всех, кто его, то есть меня, слушал, мороз этот просто шел по коже. Да, кстати, вундеркинду в ту пору было около трех лет.

А других талантов у меня не было совсем. И достигший школьного возраста вундеркинд оказался туповатым ребенком. И чем старше я становилась, тем непосильнее происходил процесс моего обучения. Ни одна наука мной не усваивалась. Я приводила в бешенство учителей, потому что им приходилось тратить на меня время, объясняя то, что все остальные уже давным-давно усвоили. Получать хотя бы тройки мне помогала наша сердобольная отличница Ритка, сидящая за первой партой. Она подсказывала мне громким шепотом правильные ответы и давала списывать контрольные. Учителя смотрели на это сквозь пальцы, потому что второгодники им были не нужны – РОНО требовал хорошую статистику. «На осень» я оставалась три раза – то по физике, то по химии, то по алгебре. Но все-таки я не была последним человеком в школе, потому что учеба учебой, но ведь бывали и утренники, а потом и вечера с танцами. И вот тут я – главная. «Рубала, покажи настроение» – и я показывала. Все свои умения – и стихи с выражением, и танцы – ножки веревочкой. Одним словом, целый концерт могла одна устроить. Даже учителям нравилось. «Если бы она так же училась… – сокрушались они вслух и сочувственно смотрели на мою маму: – «Куда ж дочка-то ваша после школы пойдет? Ах, в институт? Да туда таких не принимают. А-а-а, машинисткой устроится? – вот это правильно. Это ее потолок».

На выпускном Ритка танцевала со Славиком. А я ей

завидовала. Потому что в моей тетрадке, в которой я составляла мужской идеал моей мечты, такие тетрадки были у всех девочек нашего класса, был изображен именно этот Славик – и рост в сантиметрах, и вес в килограммах, и цвет волос и глаз. Даже идеал этот у меня букву Л не выговаривал, говоря вместо нее В – шоковад, вампочка, шкова. Ну, сами понимаете, с кого был идеал полностью списан.

Славик, кстати, до золотой медали чуть-чуть не дотянул, а серебряную, конечно, получил. Так что они пара – отличники, умники оба. Идеал мой к ней щекой прижался, она вся красная стала. А я дура дурой, танцевать никто не приглашает, кому я нужна – опять на осень – в одиннадцатом-то классе.

Подружка моя, Наташка, сразу после выпускного с Витькой из параллельного класса расписалась и через полгода Катьку родила. Осенью почти все наши студентами в институты свои потопали, а я по призванию и по способностям – машинисткой.

Дальше, как говорится, шли годы, шли годы. Я, как муха, так и висела на своем «потолке». Правда, он чуть-чуть менялся. Но все равно оставался на одной высоте – машинистка, корректор, библиотекарша. Со своими школьными ребятами я почти не встречалась. Один только раз Наташку видела – мы в магазине, в очереди в кассу стояли, расплачиваться. У нее Катька на руках была, кошелек доставать неудобно. Ну вот я и заплатила за нее. Поговорить-то не получилось – Катька орала как резаная.

Я жизнь свою сравниваю с винтовой лестницей. Сто раз повернуть надо, пока наверх поднимешься. Если, конечно, сил и дыханья хватит. А еще она похожа на детскую игру – помните, такую – бросаешь кубик, сколько на нем точечек выпадет – от шести до одной. И по игровому полю – то вперед и вверх, то назад откатишься – смотря на какую картинку попадешь. Но, представляете, хоть мой кубик никогда не выпадал на шесть, а в основном на один или изредка на два, но назад я ни разу не откатилась. Потихоньку – вперед, вперед, вверх.

Сидели мы как-то с девчонками в машбюро после работы и про жизнь разговаривали. Каждая историю свою рассказывала. Безрадостные и безнадежные истории таких же «мух на потолке», как я. Что ни жизнь – то авария. Да и у меня тоже история была такая, что лет пятьдесят назад я ее решила забыть, и эту тайну мою так до сих пор никто и не знает. А когда до меня очередь исповедоваться дошла, я устроила, как теперь говорят, такое шоу – с песнями, стихами, танцами, что девчонки все про свои аварии забыли и слушали, что встречаюсь я с настоящим принцем,

правда, африканским. И что мы с ним скоро поженимся, и в свадебное путешествие поедем на слоне.

И будет у меня дворец под пальмами, и тысяча слуг. Вот буквально доработаю до зарплаты, и с принцем своим прямо к нему на родину, с родителями знакомиться. А хотите знать, что я тогда пела и танцевала? Да песню и танец африканского племени. В общем, по домам расходились все в очень хорошем настроении. Даже те, кто мне не особенно и поверил.

Учеба в заочном педагогическом институте трудной не была. А практика в школе мне как раз очень понравилась – я десятиклассникам Маяковского преподавала. И не разбирала, как тогда было принято, по образам и художественной ценности, а выучила все его поэмы наизусть и ребятам читала. «ЦаРРям двоРРРец постРРРоил РРРастРРРелли»… – раскатывала я, и ребятам было, судя по всему, интересно. Потому что потом, когда я их спрашивала, они мне отвечали, читая строки наизусть. А потом мы после уроков сидели еще долго, и я читала им свои любимые стихи. И никто не ушел, даже мальчишки. Настроение у всех было классное.

«Муха», похоже, начала расправлять крылышки, устремив полет в далекую загадочную страну, где три дня всего цветет весной сакура, но успевает за этот короткий срок свести с ума туристов со всего земного шара и местных обитателей тоже веками не оставляет равнодушными.

Случайное объявление в газете, набор на курсы японского языка, и вот вам – пожалуйста – «Коре ва нан дес ка? Коре ва хон дес» Неужели не понятно? Перевожу: «Что это? Это книга». Запоминала я все быстро, говорила еще быстрей. А когда справочку об окончании курсов получила, сразу в переводчики. Группу японцев в аэропорту встретила, а говорить боюсь. В голове только та самая первая фраза: «Коре ва нан дес ка?» Терплю, не произношу, а то подумают, что им чокнутую прислали. В общем, при помощи пантомимы отвела их в автобус. А до гостиницы больше часа. Глава делегации мне что-то говорит, улыбается. Ну тут я микрофон у водителя взяла, и как запою «Калинка-малинка-малинка моя…» Смотрю, японцы повеселели и давай мне хлопками помогать. Песня закончилась, а до гостиницы еще ехать и ехать. Тогда я микрофон главе делегации всучила, он понял и запел какую-то японскую народную песню, а потом микрофон поплыл по рукам, и всю дорогу мы пели. А в конце пути они все, хором, затянули по-японски «Подмосковные вечера». И я услышала, как все говорили «Иии кимоти дес, нэ?» Посмотрела в

словаре перевод: «Чудесное настроение, не правда ли?»

А я уже бабочка-шоколадница. Но сознание все равно остается мухино. Ну и что, что японский был как родной? Что где только не была, что только не переводила? Ну и что, что все мои песни поют, а меня по телевизору показывают? И даже небольшая мечта осуществилась. Знаете какая? Когда песенки стали понемногу появляться, мечтала я о несбыточном – вот, к примеру, иду я по Парку культуры, а из радиоприемников на весь парк моя какая-нибудь песня звучит!!! Это какая же была наглость такую мечту придумать? Но ведь я говорила, что никогда назад не откатывалась, хоть небольшими шажками, но вперед. И вот однажды пошла в Парк Горького, побродить по местам юности моей незадачливой. Иду, вспоминаю, как по субботам с подружками на каток ходила. И всегда перед этим карамельки в красивых фантиках покупала. Да нет, не есть и не угощать кого-то. Просто фантики были нужны. Конфетку разверну, на красный фантик поплюю, щеки потру – ну просто красавица из меня получается с румяными щечками. Между прочим, если, к примеру, я куда-нибудь поеду, а косметичку дома забуду, мой верный старый способ навести марафет меня не подведет.

И вот иду я по парку и слышу что-то знакомое. Ой, это же моя песня звучит! Ура! Мечты сбываются! По крайней мере эта.

Перед Новым годом работы особенно много. Везде концерты, корпоративы. Ну и я бегаю, стихи про любовь озвучиваю. На фабрике молочной продукции как раз мой народ – женщины лет 30–40. Им про любовь – то, что надо. Особенно про несчастную. Но я и про несчастную так стараюсь придумать, чтоб в конце несчастных не было. Когда выступление закончилось, смотрю – женщина какая-то объемная коробку тащит. Вручает ее мне со словами – вот тебе наша продукция. Угостишь своих. Я – спасибо, конечно, но что это она сразу на ты. А женщина смотрит на меня: «Что, зазналась? По телевизору тебя показывают? Где бы ты была, если бы не я?!» Я не успела ничего сообразить, а она меня давай обнимать: «Помнишь, как ты Уральские горы в Америке искала на географии?» Боже мой, только теперь я узнала – это же Ритка, отличница из нашего класса! Ритка! Кто ты? Изменилась! Что тут делаешь?

И рассказала мне Ритка, что она – мастер в цеху готовой продукции, уже сорок лет здесь работает. Так сложилась жизнь – после танца на выпускном она от Славика залетела. По любви, конечно. А ему мать на ней жениться не дала, хоть и отличница Ритка. Мать не то чтобы злодейка, просто хотела, чтоб сынок

сначала человеком стал, научился деньги зарабатывать, а уж потом о женитьбе думать. Ну и послала его за деньгами на Север – там больше платят. Он уехал и через два месяца женился уже там, и мать не смогла на расстоянии ему это запретить. А потом там случились какие-то неприятности, Славик пропал. Ритка долго о нем ничего не слышала. А узнала, что у него там мальчик родился, когда случайно мать его встретила. Ритка как раз со своим сыном гуляла, а мать навстречу шла. И сразу поняла, что в коляске ее внучок лежит, как две капли на Славика похож. Санечка зовут. А там, на Севере, тоже Шурик подрастает. И так выходит, что почти близнецы ее внучата, и имена у них одинаковые – Александры Вячеславовичи. Ну потом разное было. Ритка своего Санечку одна растила, Славик из памяти куда-то растворился – ведь истории-то не было. Так, танец на выпускном. Ни боли, ни обиды. Правда, знания школьные не пригодились – устроилась Ритка на молокозавод, пацана ведь кормить надо было. А там и зарплата неплохая, и молочка с кефирчиком бери сколько хочешь. Сыну уже лет восемнадцать было, когда они ехали в электричке за город. А по вагону мужик обросший шел, какой-то мелочовкой торговал. Оказалось, это Славик. Не друг и не враг, как в песне известной. Ритку с Санечкой мужик не узнал, да и Ритка окликать его не стала – как сложилось, так сложилось. Тем более что Саня ее мужа, Григория Васильевича, отцом называет. Короче, все хорошо. Жизнь удалась. Вся их семья теперь на молокозаводе работает, и живут они, ни в чем себе не отказывая. У всех троих по машине. И дача кирпичная. А ты, Ларис, как?

Спасибо, Ритка. И я нормально – не рассказывать же, сколько несчастий и горя за последние два года на меня обрушилось, сколько потерь. И ни с кем я стараюсь об этом не говорить. Кому нужна чужая боль? Да и мне так легче. – Правда, если бы не ты, сидела бы я в каждом классе по два года. А так вот видишь – артисткой заделалась. Выступаю. Настроение людям поднимаю.

* * *

На юге Франции просто так не отдыхают. Там парад. Все демонстрируют кто что может. Меня подруга пригласила погостить. Вечером идем к какой-то крутой Галке. Надо нарядиться. Наряжаюсь, цветочек из бисера на кофточку приколола, волосы лаком побрызгала, тени изумрудные на веки. Шик! Ну совсем другая, чем в поездах по России гоняю, концерты, встречи – деньги зарабатываю. А тут – ну чисто вельможа какая-

то. Потом посмотрю в Википедии, что слово «вельможа» означает. Я вообще-то знаю, но хочу уточнить. Может, оно ко мне и не подходит совсем. Но звучит красиво. Этой вельможей я выплываю на суд подруги, она чуть в обморок не упала.

– Лариса, сними это говно – на мой цветочек бисерный указывает, – ты с ума сошла. Галка будет вся в Шанели. Ты меня не позорь.

Я человек послушный, зачем мне подругу позорить? Сняла цветочек. Тени на глазах стерла – тоже, оказывается, не комильфо зеленые тени. Остальное сойдет. Крутая Галка встретила нас очень приветливо и пригласила в гостиную. Там уже переливались драгоценными камушками ее подруги – местный истеблишмент. Так она их представила.

Разговор тек плавно и однообразно. Обсуждали диеты, бренды, погоду. Потом посудачили о какой-то Нельке. Что Нелька эта делает вид, что не знает, где и с кем бывает ее муж. Короче, обычный женский разговор. Ведь и те, которые не истеблишмент, а попроще, тоже, собравшись, болтают об этом же, только этажом пониже.

Горничная принесла десерт, низкокалорийный торт с диковинными фруктами. Все уже было переговорено, дамы готовились заскучать. И вдруг подруга говорит – а Лариска сейчас нам стихи почитает. Да, Ларис?

Ну конечно почитаю. Только у меня там про разведенок и брошенок, вам, наверно, неинтересно будет? Подружка сделала строгое лицо – давай, не выпендривайся, читай. Ну я и начала. Думала, парочку прочитаю, и баста. А дамочки просят – еще, еще почитай. Смотрю, одна краешек салфетки к глазам поднесла, потом другая.

Расходиться не хотелось. Девочки наперебой рассказывали о себе, про жизнь свою совсем непростую. Ведь на юге Франции, как я уже заметила, просто так не поселишься. И увидела я этих нормальных, хороших теток. И истории, которые они рассказывали, уже мысленно складывались в будущие строчки стихов.

Когда я уходила, Галка крутая колечко с пальца сняла: «Это тебе». – «Да мне не надо, не надо. Да есть у меня кольца, носите сами». А Галка: «Не обижайся, и не обижай меня. Это тебе за подаренное настроение».

А живу я одна. И настроение бывает разное. Но это касается только меня. А если надо – всегда смогу и чечеточку, и веревочку ножка за ножку. Потому что с самого детства я только и могла «показывать настроение», а других талантов у меня не было и нет.

Метроном
Ариадна Борисова, прозаик, драматург, переводчик с якутского, художник

Удовольствие от писательства для автора сродни живописи или пению, как говорят в ее родной Якутии, когда человек поет, он поет жизнь. Ариадна пишет жизнь. Счастье: сочинять сказки для театра и смотреть потом из зрительного зала, как чудесно играют дети, рисовать на берегу, пока рыбачит муж, петь над рекой, прислушиваясь к тому, как далеко по воде уносит голос.

Мой дядя самых честных правил…

В три года, на заре моей памяти, я была девочкой на редкость бойкой и проказливой.

Алеша, младший из семи маминых братьев, считался удивительно ответственным для своих шести лет. Всячески подчеркивая свое родственное и возрастное превосходство, он заставлял меня называть его дядей, а при посторонних – Алексеем Александровичем.

Я протестовала и возмущалась. Статус Алеши был ничтожен в моих глазах, он ведь даже еще не учился!

Однажды бабушка велела ему присмотреть за мной и собралась в магазин.

– Долго будешь? – заныл мой дошкольный дядька.

– Полчаса, не больше. – Бабушка показала на часы с кукушкой. – Я вернусь, когда длинная стрелка подойдет к цифре 6.

Мы сидели за столом друг против друга – красные, настороженные, взволнованные по разным причинам. Я стремилась на улицу – покормить кур, поиграть с Шариком, сделать огурчикам дождь из лейки, найти в сарае кисть и зеленую краску, которой дедушка недавно обновил забор, и покрасить несправедливо обойденную дедушкой собачью будку.

Опасаясь, как бы я чего не натворила, Алеша не сводил с меня тревожных глаз.

Часы тикали.

Едва я шевельнулась, он закричал:

– Сидеть!

«Как Шарику», – оскорбилась я, но с максимальной кротостью спросила:

– Алеша, можно я пойду поиграю?

– Дядя Алеша.

– Дядя Алеша, можно я пойду поиграю?

– Нет.

Мы сидели в гостиной (она же прихожая).

Я смотрела на часы.

Алеша вертел головой, глядя то на часы, то на меня, то на часы, то на меня. Стрелка двигалась так… тик-так… тик… так медленно, сидячая пытка была такой невыносимой, что хотелось громко заплакать. Но плакать в отсутствие остальных зрителей не имело смысла, пожаловаться некому и удрать невозможно – Алеша бегал в сто раз быстрее меня.

– Ку-ку, – сказала кукушка, высунувшись из дверцы в часах.

Нервный Алеша показал птичке язык:

– Молчи, кукушка!

Я оценила обстановку: часы на стене, посудный шкаф, мой веснушчатый сторож, часть его смешно растянутого лица на зеркальном боку самовара, краник с фигурными кольцами и плотной ножкой в самоварном носу – предмет моего неувядающего интереса… легко вынимается… стоп!

В бедовой моей голове что-то звонко тренькнуло.

Не успела я сама сообразить, что происходит, как рука моя метнулась к кранику и выдернула его.

Вода хлынула на поднос!..

Мой караульный не посрамил себя: в мгновение ока сунул указательный палец в дырку от краника и остановил водопад!

Я была в восторге.

Мало того, что в руках моих очутилась вожделенная вещица, мне еще и удалось полностью обезвредить противника! В сопровождении его оглушительного рева я моментально покинула помещение.

Отпущенный с цепи Шарик, весь в зеленых масляных пятнах, радостно гонял по двору обезумевших кур. Я, тоже почти вся зеленая, поливала собачью будку краской из лейки, потому что кисть оказалась засохшей.

Охранника бабушка застала на прежнем месте. Он уже не мог ни рыдать, ни говорить, а только издавал длинные судорожные всхлипы. Рубашка его взмокла от слез и соплей.

Бедный палец в носу самовара посинел. Хорошо хоть вода была не сильно горячей.

– Ку-ку, – сказала кукушка.

Краник нашелся в будке, когда мне исполнилось четыре года.

Урок географии

Когда мне было четыре с половиной года, у меня появилась сестренка.

Папа пожелал дать младшей дочке мамино имя – Виктория. В нашей родне имена часто повторяются, я тоже получила свое в честь бабушки Ариадны. Прабабушка Евдокия (бабушкина мама), старушка чрезвычайно упрямая, была старостой церкви в районном городке Олекминске и умела настоять на крещении правнуков. Священник, согласно святцам, окрестил девочку Никой. Дома сестренку стали называть Викшей, чтобы не путать маленькую Вику с большой.

Алеша был горд поручениями: грел бутылочки, гладил пеленки и каждый день после обеда катал вокруг дома коляску с новенькой племянницей. В свете младенческих событий даже приезд каникулярных дядей Степы и Валеры прошел как-то непразднично.

Им разрешили ночевать на чердаке!

Присутствуя при поднятии наверх раскладушек, тумбочек, груды учебников, я завистливо думала: вот счастливые люди! Что может быть прекраснее жизни под крышей, у самого неба?! На чердак сносят лыжи, санки, коробки с елочными игрушками, старые и сломанные вещи, еще годные к починке…

– Дядя Валера, а что вы там будете делать?

– Степа – дрыхнуть, я – «Китай» смотреть.

– Китай – это что?

– Не мешай! – крикнул дядя Степа сверху.

– Большая страна, мы с ней когда-то дружили, – рассеянно ответил дядя Валера. – Ты иди, ладно? Некогда нам.

Я отошла с трепещущим сердцем.

Мне, конечно, нестерпимо захотелось тотчас же увидеть страну, с которой когда-то дружили дяди Степа и Валера! Дружили и, видимо, раздружились.

Я еле дождалась их ухода на волейбольную площадку.

Лестница казалась надежной, абсолютно безопасной, но на верхней ступеньке я осмелилась глянуть на землю, и коленки мои затряслись. Все-таки было очень высоко и страшно.

Внезапно из-за угла дома выкатилась коляска – разумеется, не сама по себе.

– Эй, ты зачем туда забралась?! – закричал Алеша.

– Китай смотреть.

– Врушa!

– Не врушa: Валера сказал, что оттуда Китай видно!

– Ну-ка спускайся, а то маме скажу!

– Жалобная книга, – сказала я, соображая, какой маме: моей или своей? Лучше бы бабушке, мама строже…

Сестренка проснулась от Алешиного крика и захныкала. Я обрадовалась – сейчас дядька уйдет. Но нет, оставив коляску с плачущим ребенком, он встал на первую ступень лестницы. На вторую… третью.

– Алеша!

– Дядя Алеша! – возопил он. – Дядя, понятно?! Спускайся, говорю!

– Дядя Алеша, ты что, не слышишь? Викша плачет!

– Свалишься, дурочка, слезай!

– Сам дурачок!

Он вдруг переменил тактику. Голос его стал вкрадчивым, почти нежным:

– А хочешь, я тебе Москву покажу?

– Хочу.

– Тогда спускайся.

– А Китай?

– Китай подождет…

Лезть вниз оказалось гораздо труднее, чем вверх.

Более подлого обмана еще не знала моя доверчивая душа.

Уши болели целую вечность, полыхали, как пунцовые коробочки бабушкиных духов «Красная Москва».

Самое обидное, что взаправдашнего Китая дядя Валера на чердаке, как выяснилось, не видел. Он там ночью при свечке просматривал старые подшивки журнала «Китай». С этой страной дружили и почему-то раздружились не мои дяди, а все мы, то есть Советский Союз.

Этимология

Когда мне было пять, все домашние, кому не лень, учили меня алфавиту. Скоро я начала читать по складам и писать печатными буквами. Только буква «я» никак не поддавалась – получалась справа налево.

От уличной ребятни я набралась бранных словечек, которых не слышала дома. Один добрый мальчик объяснил, что слово на

букву «х» означает письку, а смачным, как шлепок, словом на «б», оказывается, называют плохих тетек.

– А дядек так называют? – поинтересовалась я.

Мальчик кивнул:

– Да, самых гадских.

Как раз выпал первый снежок.

У дороги к дому я вывела веткой имя «гадского дядьки», добавив к нему более пристойное и подходящее, на мой взгляд, ругательство.

Вряд ли разоблачат, думала я мстительно. Детей на улице много. Вполне вероятно, не одна я затаила обиду на умельца показывать Москву…

Дядюшка-то и засвидетельствовал улику.

– Это она матерщинское слово на снегу начеркала! – убеждал он сомневающуюся сестру. – Пойдем, Вика, ты увидишь и сразу поймешь, что она!

Чего тут доказывать…

Я уже поняла, что буква «я» выдала меня в слове на букву «б».

Пришлось сознаться.

– Дети, которые с малых лет сквернословят, как правило, вырастают хулиганами, – расстроилась мама.

– Жаль, что я против физического наказания детей, – сказал папа. – А то бы выпорол.

– Я больше не буду, – торопливо пообещала я, думая, что до конца жизни не смогу посмотреть в праведные лица родителей, и – бывает же такое! – именно в эту скорбную минуту меня озарило лингвистическое вдохновение. По первому звуку в выражении «хулиган» мне вдруг стало совершенно ясно, что оно образовалось от неприличного слова на букву «х»!

Конечно, я не хотела вырасти хулиганкой и постаралась больше не вспоминать дурных фонем, а если слышала нечто подобное на улице, закрывала ладонями уши.

Скоро судьба предоставила мне возможность обелить себя в родительских глазах.

Мы стояли на остановке в ожидании автобуса. На стене чернело накарябанное углем словцо на букву «х», и я, отныне борец со сквернословием, попыталась стереть его носовым платком. Оно не стиралось. Тогда я подобрала валявшийся внизу уголек и дописала к трем буквам: «…лиган».

В моей интерпретации буква «й» не была лишней, поэтому я не поняла смешков папы и маминого смущения.

Мудрые несмышленыши

Когда мне было шесть, утомленные моим воспитанием родители решили отдать меня в школу.

Но пока еще стоял жаркий июль, и главной наперсницей моих игр стала подросшая Викша. Теперь я, старшая и умная, учила ее алфавиту.

– Смотри, это «а».

– А-а-а.

– Это буква «б», бяка, – вздыхала я, невольно вспоминая совсем другое слово.

– Бяка.

Викша быстро научилась узнавать буквы «а» и «бяка». Я страшно гордилась плодами своих педагогических трудов.

Мы играли на песчаном пятачке в бабушкином цветочном садике, иногда я читала сестренке вслух «Мойдодыра» и «Краденое солнце». Сама я с зимы перешла на более солидные книги и уже прочла про Айболита, Пенту и Буратино, а «Незнайка в Солнечном городе» меня просто очаровал.

Я пересказывала сюжеты книг деревенским ровесникам, добавляя в содержание что-нибудь свое. Они читать не умели, а дома моей стремительной эволюции никто не удивлялся. Напротив, считалось, что я «поздняя» – дяди мои наперебой хвастали своими читательскими успехами чуть ли не в трех-четырехлетнем возрасте.

На самом деле, сказала бабушка, в четыре года по-настоящему читал книги только дядя Валера. Причем пренебрегая играми, и не какие-нибудь сказки, а взрослые романы!

Дедушка тогда работал в представительстве по линии просвещения, семья жила в Москве, и обеспокоенные ранним развитием ребенка родители показали его именитому врачу. Тот сказал, что мальчик – вундеркинд, но со временем это пройдет, и велел запретить ему многочасовое чтение. Мама вспоминала, как братишка ходил за ней по пятам и со слезами на глазах просил: «Викочка, дорогая, любимая, дай книжку, умоляю! Хотя бы детскую…»

Валера мечтал стать космонавтом-испытателем, но не прошел в военное училище по зрению и годам – школу он окончил в двенадцать лет одновременно с «нормальным» братом Степаном (старшим в троице послевоенных братьев). Вместе они поступили в пединститут.

Степа в отчаянии писал из Ленинграда родителям: «Мама, папа, заберите отсюда Валерку, пожалуйста, он все везде забывает и ничего не умеет, в общежитии над ним смеются! Вчера сварил суп, и я нашел в супе свой грязный носок!!!»

Валера оправдывался в письме: «…это случилось потому, что Степа куда-то засунул столовую тряпку, и я взял первую попавшуюся, чтобы помешать суп, – поварешка была горячая. Я немножко зачитался и не заметил, как носок нечаянно упал в кастрюлю с супом (а пусть Степа не бросает свои носки где попало!). Мамочка, не волнуйся, я изо всех сил стараюсь быть внимательнее… Папа, я учел твои замечания, Степа зря жалуется, что я не занимаюсь спортом, мы с ним часто играем в теннис»…

Игру в настольный теннис любила вся семья. Собираясь как-то в спортзал, братья попадали от хохота на пол, когда Викша спросила: «Опять в пенис иглать?», хотя ничего смешного в обмолвке, по-моему, не было.

Я обижалась за сестренку, если кто-то смеялся над ее детским произношением. Сумку она называла «сункой» (от слова «сунуть»), вазелин – «мазелином» (тоже логично), густую сметану, взбитую с земляникой, – «мечтаной».

Лучше всех домашних понимая ее, я не могла разгадать, что означает слово «казиказяйки». Викша подняла пальчик вверх – смотри, и это оказались стрекозы, парящие над бабушкиными цветами.

– У них кылыски (крылышки), лучки и паття (ручки и платья). Они холосые силавечки.

– Человечки? – удивилась я… и замерла.

Под золотыми стрекозьими крыльями отчетливо мелькнуло человечье лицо. Крохотное, с мерцающими клетчатыми глазами, оно успело улыбнуться мне.

Казиказяйки, стрекозы-хозяйки… Дюймовочка… феи, эльфы?

А может, и Носов ничего не придумывал, и всюду в цветах, травах, листьях живут невидимые коротышки?!

Задыхаясь от невероятного открытия, я побежала искать Алешу. На зов он откликнулся неохотно. Выслушав, по обыкновению обозвал меня врушей, но потом пошел и терпеливо разобрался в Викшином лепете. Не стал смеяться над малышкой (это ж не я) и, так же как я, переспросил:

– Человечки?

– Силавечки.

– А разве крылатые человечки бывают?

– Есь, казиказяйки вон, – сестренка задрала голову и махнула рукой стрекозам.

Тщетно я до рези в глазах вглядывалась в «крылатых человечков», напрасно, ползая, извозила в земле и зелени сарафан – солнечные города спрятались от меня. За обедом я не утерпела и спросила дедушку:

– Деда, как ты думаешь, коротышки существуют?

– Что за коротышки?

– Незнайка, Винтик со Шпунтиком, Пачкуля пестренький…

– Пачкуля – это ты, – проворчала бабушка, но дед не стал шутить:

– Если ты веришь в них, значит, существуют.

– А крылатые человечки?

Алеша презрительно скривился:

– Ребенку поверила!

– Силавечки холосые, – сдвинула бровки Викша.

Дедушка, смеясь, подхватил ее на руки:

– Пойдем-ка баиньки, мудрый мой несмышленыш!

Когда сестренка уснула, я кое-что заметила в саду. Я заметила в зарослях ирисов голубую рубашку Алеши и, конечно, подкралась с огорода посмотреть, чем он там занимается. А вот чем: осторожно придерживая на ладони стрекозу, мой почти десятилетний дядька сосредоточенно изучал ее сквозь дедушкину лупу.

В огород пришел дедушка с ведрами и понятливо шепнул:

– Человечков разглядывает.

Шепнул-то шепнул, но громко.

Дедушка оглох после контузии в бою под Ржевом и носил слуховой аппарат, который в шутку называл «соловьем-разбойником». Не всегда исправное устройство имело обыкновение пронзительно свистеть в самые неожиданные часы. Например, на совхозных собраниях. Народ к свисту привык и, если кто-нибудь чужой начинал возмущаться, его успокаивали: «Не обращайте внимания, это «соловей-разбойник» Александра Степановича хулиганит».

Алеша обернулся и тоже отправился за ведром.

– Деда, а почему ты назвал Викшу мудрым несмышленышем? – спросила я.

Он усмехнулся в усы:

– Ты тоже еще бываешь мудрым несмышленышем, и Алеша, гляжу, пытается вспомнить.

Дед явно увильнул от ответа.

Мы молча таскали воду: я – пластмассовым ведерком, Алеша – цинковым ведром, а дедушка – двумя на коромысле. Вопросов только прибавилось, но я трудилась молча и за работой забыла о мудрых несмышленышах.

К 1 сентября цветочный садик опустел. Бабушка, как всегда, раздала цветы соседским ребятам. Бывало, ученики дарили ей букеты с ее же ирисами, какие в деревне не росли больше ни у кого…

Составили красивый букет и мне.

Я подарила его первой учительнице и была полна приятных надежд, но очень скоро разочаровалась в учебе. Нет ничего ужаснее, чем учиться в школе, где твой папа работает директором, мама с бабушкой – учителями, а дедушка вообще начальником над всеми школами района – инспектором отдела народного образования.

Туда не ступи, сюда не лезь, это не вздумай, то не смей!

Нет, школа мне категорически не нравилась.

Семья

Когда мне исполнилось семь, случилось замечательное событие: все семейство в одно время собралось под отчим кровом. Из разных городов приехали старшие дядья с женами и детьми, тетя с мужем и дочкой.

Целую неделю были вместе!

Дедушке исполнилось шестьдесят пять лет.

Радостная бабушка носилась по дому, волшебным образом находясь сразу везде: вынимала из уличной печи жаром пышущие противни с могучими ковригами хлеба, с кем-то беседовала, кого-то слушала; колдовала над огромной кастрюлей с «сибирским» борщом из мясного ассорти, утирала детские носы и слезы; проверяла, готов ли якутский деликатес – прослоенные жирком жеребячьи ребрышки (не дай бог переварить!) и всех старалась приласкать словом, улыбкой, ладонью…

Так и реяло, так и витало повсюду пушистое среброкудрое облачко над бабушкиной головой.

Большой сильный дед хватал старших внуков в охапку:

– Ну что, будем летать?

Восемь галчат с визгом и хохотом повисали на его распахнутых руках, он тоже смеялся и, будто сорванная с крепей ожившая карусель, кружил нас вихрем по всему двору… и мы летали… летали!

Бабушка, боясь приблизиться, тоже кружилась вокруг, как спутник по орбите, и тонко кричала:

– Саша! Ты их уронишь, Саша! Они ж покалечатся, Саша! Саша, не надорвись!!!

Мы гроздьями падали на мягчайшее покрывало из упругой «воробьиной» травки – ее, кажется, специально высеивали весной во дворе.

Ни разу никто не ушибся.

В эти дни, полные смеха, ароматов стряпни, разговоров и песен, мы знакомились с семейными легендами, слушали – когда

мельком, когда частями – не для наших ушей предназначенные рассказы о превратностях жизни, о чьих-то удивительных судьбах и редкой любви, расспрашивали дедушку о войне и победе…

Вечерами он зажигал на веранде свечи. Семья рассаживалась за столом на старом диване, скамьях и стульях. На стенах, за нашими спинами, бродили зыбкие тени. Многослойные, они умножались, толпились, накатывали одна на другую.

Может быть, посмотреть на своих потомков слетались души предков? Разношерстное население: казаки сотника Бекетова, «пашенные» крестьяне, смешавшиеся с якутами и эвенками, царевы ямщики, ссыльные старообрядцы, а также грузины и евреи, занесенные сюда политическим смерчем.

Поводов для грусти в большом роду хоть отбавляй, но грустили, очевидно, без детей. Ужиная бабушкиными бесподобными пирожками с брусникой, взрослые собирали в копилку веселых баек недавние истории.

Хохот стоял…

Вспоминали, как мама примеривала в учительской корону Снегурочки, а тут звонок. Так и провела урок в короне, недоумевая, что смешного нашел класс в ее «sprechen Sie Deutsch» (она преподавала немецкий). А дядя Миша, учитель истории, во время весенней охоты на водоплавающую дичь не спал несколько дней и, рассказывая ученикам о войне с поляками, вдруг пополз между партами. Ребята перепугались:

– Что случилось, Михаил Александрович?

– Тихо вы! – прошипел он. – Не видите – сели!

– Кто сел – поляки?..

– Какие поляки?! Утки!

За малым исключением, все в семье Габышевых, включая зятьев и невесток, были учителями. Потом поддержали династию некоторые внуки и правнуки. Мы с Викшей как-то взялись считать годы общего педстажа и сбились на числе около семисот.

Кстати, маме в замужестве не пришлось менять фамилию – она у них с папой одна. Дореволюционные миссионеры крестили людей из улуса в улус целыми наслегами и не утруждались изобретением разных фамилий.

Так вот, дяди-тети подтрунивали друг над другом, и родителям доставалось. По негласному уговору ни словом не упоминался только свежий случай – бабушка могла обидеться.

В начале лета дед ездил на курорт и привез массу фотографий. На двух групповых снимках возле деда обнаружилась одна и та же дама.

– Симпатичная женщина, – сощурилась бабушка. – Кто такая, Саша?

– Это Нина Васильевна, учительница из Иркутска, – пояснил дед без задних мыслей. – Соседка по санаторию.

Бабушка промолчала, но что-то, почудившееся ей недосказанным, приняла к сведению.

Новосибирцы дядя Вася с тетей Лилей привезли бабушке электрическую плиту на ножках – по той поре большую редкость в деревне. Распаковали коробку с сюрпризом, позвали бабушку, предвкушая ликование и триумф. Она коротко вскрикнула, всплеснув руками. «От счастья», – решили довольные дарители. Плита была белоснежная, с четырьмя конфорками, с вместительной, под стеклом, духовкой в два противня…

И называлось все это великолепие «Нина».

Поздним вечером бабушке вздумалось постряпать оладушек на завтрак – опробовать подарок в действии.

– Спасибо, милые, – отказалась она от помощи невесток. – Сама управлюсь. Устану, так высплюсь днем. Зато утром ничего готовить не надо – только подогреть в масле. Спокойной вам ночи…

Плиту по ее просьбе вынесли в уличную кухню, дома было не продохнуть от жары. А утром те, кто заметил, тихо посмеивались по углам: там, где прежде красовалось «Нина», эмаль была аккуратно отбита, металл покрыт белой нитрокраской, и по трафарету выведено: «Ариадна».

Мужчины покуривали, сидя на крыльце, и, как мальчишки, фантазировали, что будет лет через тридцать.

– Коммунизм, ура.

– Через сорок лет ЭВМ будет у всех в доме, – пророчил математик дядя Вася.

– А через семьдесят…

– Девяносто…

– Сто…

Ватные волокна дыма путались в ветках берез за перилами, плыли белесыми нитями в незаметно сошедшую ночь. В ней, как бабушкины левкои, пышно распускались созвездия. Лучи звезд несли прохладу измаянной дневным зноем земле.

Понемногу широкие, крепко сработанные ступени крыльца принимали всех, кроме уснувших малышей и прабабушки Евдокии. Старушка ложилась рано, сразу после ужина и молитвы.

Бабушка тихо заводила: «Дивлюсь я на небо, тай думку гадаю…» Урожденная Шкутко, она скучала по украинским песням, хотя плохо помнила рано потерянного отца. («Бравый был хохол, шибко сало любил и меня», – вздыхала «за ним» прабабка.)

Вступали высокие женские голоса: «Чому я не сокіл, чому не літаю», подтягивались басовитые мужские: «Чому ж мені, Боже, ти

крилець не дав? Я б землю покинув – тай в небо злітав…»

И стихал шелест берез, смолкал в деревне собачий лай…

Чудесная музыка многоголосья заполняла ночной воздух и весь подлунный мир.

После бабушкиной «затравки» пели революционные, военные, русские народные и якутские песни.

Иногда, в особом настроении, под студенческую гитару, – цыганские романсы. Где-то далеко в глубинах наших интернациональных корней спит цыганская праматерь. По великой любви прикочевала она в Сибирь за крестьянином Вологдиным, родила ему двадцать пять детей, трое умерли, а остальных супруги вырастили в труде и благочестии. Прабабушка Евдокия, увидевшая свет при Александре III, приходилась той цыганке внучкой.

Мы сидели как мыши, не смея шелохнуться в боязни, что отправят спать, и комары справляли на нас свои вампирские пиршества. В какую-то неуловимую минуту голоса становились глуше, отдалялись… отдалялись… улетали ввысь. Бархатные звездные крылья смыкались над старым домом, над нашими головами, подхватывали, качали – ласковые крылья-руки, пахнущие домашним хлебом. Несли в сон, во вневременье, к перекрестку запредельных дорог, по которым, звеня бубенцами, вечно мчатся ямщицкие тройки и лоскутные кибитки, взметая до небес золотую, просквоженную солнцем пыль…

До того как навсегда разъехаться по городам и странам, мы, молодые братья-сестры, тоже пели, тоже перебирали семейные байки. Кто-нибудь, заходясь от смеха, непременно вспоминал: «А еще бабушка деда к плите приревновала!» Я хихикала над этим забавным случаем вместе со всеми, пока не вышла замуж. Лишь тогда мне вдруг стало понятно, что я унаследовала от бабушки не только имя.

Все те же упрямые черты характеров нет-нет да прорываются в новых порослях густо разросшегося древа. Однажды моя четырехлетняя внучка ревниво спросила:

– Бабушка, скажи честно: ты же должна меня больше всех любить, раз я ношу твое имя?..

Бог, Дед Мороз и судьба

В восемь лет я заболела золотой лихорадкой.

Вообще-то косвенно в запуске бациллы был виноват дедушка. Во-первых, я по его рекомендации прочла «Остров сокровищ». Во-вторых, дед опрометчиво проговорился, что до революции в

нашей деревне проводились богатые ярмарки. В-третьих, он не учел, какой бурный всплеск моей фантазии вызовет это совпадение!

Ярмарка с ее сокровищами снилась мне ночью, грезилась на уроках. Перед глазами сиял жемчужный свет купеческих лотков, в узорчатых сундуках вспыхивала радуга самоцветов, развязывались дерюжные мешочки, полные старинных монет… и я попалась в сети собственного воображения.

От слова «клад» у мальчишек разгорелись глаза.

Группа единомышленников сколотилась, едва начались каникулы. Мы принялись тайно подкапывать задки старых конюшен и трухлявые останки покинутого выселка на горе. Самое большее, на что рассчитывали, – это организовать пароходство для путешествий. Самое меньшее – велосипедство. Если такового в мире не существует, мы бы открыли первое.

…Поисковый зуд вылечился позором.

В борьбе с вечной мерзлотой мы нечаянно сожгли бесхозную беседку на околице, лишив влюбленных места их обычных свиданий. Как потенциальных преступников, нас взяли под домашний арест на неделю без права переписки и встреч.

Бабушка сокрушалась:

– В кого ты такая уродилась? Мама по сравнению с тобой была паинькой!

Прямой намек адресовался папе. Это он привил всем шуринам страсть к охоте-рыбалке и норовил пуститься в лесное бродяжничество, как только позволяло время.

Прабабушка Евдокия сурово поджала губы:

– Бога забыли, вот и наказание.

Я встрепенулась: в библиотеке деда меня давно привлекала книга «Преступление и наказание». Теперь я просто обязана была ее прочесть, чтобы исправиться раз и навсегда! Книга представлялась мне чем-то вроде руководства для коррекции людей, склонных к правонарушениям.

Никакая это оказалась не инструкция для безупречного поведения. Дедушка не одобрил бы чтения «взрослого» романа.

Он библейски считал, что всему свое время.

Рассеянно пролистывая страницы, я сидела на диване в дедушкином кабинете и болталась в хаосе мыслей. Думала о Боге прабабушки Евдокии, о маме и о том, что все взрослые, боги и Деды Морозы любят только паинек.

Я, конечно, больше не верила в Деда Мороза – нашего физрука, который потеет на школьных утренниках в белой бороде и красной шубе. Это смешно – верить в такого Деда Мороза.

Настоящий Дед Мороз живет в Лапландии и посылает достойным детям настоящие подарки, не профсоюзные…

В дверь кабинета заглянула мама, и я поспешно положила книгу на полку.

– Вот ты где! А я тебя ищу.

– Зачем?..

– Давно не видела, – засмеялась мама. – Поговорим?

– О чем?

– Ни о чем, занудная ты девочка. Просто поболтаем.

Она села рядом и обняла меня. От нее вкусно пахло духами.

– Мама, правда, что ты была в детстве паинькой?

– Твоя бабушка преувеличивает. Но мы с братьями старались хорошо себя вести, ведь ей и без того было трудно.

– А Дед Мороз присылал вам подарки из Лапландии?

Она помолчала.

– Нет… Тогда шла война, все адреса перепутались, и он, должно быть, не работал.

Мама рассказала, как в те годы бабушка отправляла старших детей к родственникам в деревню на реке Чаре. На берегах ее рос дикий виноград охта, кусты свисали над быстриной низко – спелые гроздья так и падали в руки. Ребята вязали длинный плот, и, пока он двигался вдоль берега по реке, успевали собирать ягоды. А однажды мама с братом Васей нашли красивый фиолетовый камень в горах. Есть предание, будто над Чарой находится кузница небесного коваля. Грозы там небывалые – это он бьет молотом по наковальне, и вниз летят горячие осколки. На земле они остывают и превращаются в камни…

– Приехали как-то раз домой раньше обычного, в Ильин день, с ягодами-грибами, зашли тихо-тихо. Нас еще не ждали. Мама с Мишкой и Шурочкой картошку кушают. Глаза у мамы грустные, поднесет картошку ко рту, откусит и отложит. Сама ест – душа плачет: картошка новая, вкусная, а нас нет. Увидела – вот радость! Мама и теперь есть не может «без никого»… И больше мы в ту деревню не ездили. Наводнением ее снесло, а главное – кончилась война, и папа вернулся.

Мы болтали, наверное, целый час, пока не пришел дедушка.

Накануне Нового года я написала Деду Морозу письмо в Лапландию. Поведение у меня по-прежнему не блистало, и шансов на настоящий подарок не было, но следовало восстановить справедливость. Я напомнила забывчивому старику о мамином образцовом поведении в детстве (если что – бабушка подтвердит). Я попросила прислать маме пусть запоздавший, но заслуженный подарок – лодку с мотором. Лодка нужна, пояснила

я, для того, чтобы мы сплавились летом по Чаре, где растет дикий виноград и падают небесные камни.

Мама очень мечтает когда-нибудь туда съездить.

Конверт был подписан просто: Лапландия, Деду Морозу.

Поиском индекса я не заморачивалась, полагая, что письмо не единственное и дойдет до адресата в куче других.

После праздников Алеша занес корреспонденцию из почтового ящика и весело завертел передо мной письмом:

– До сих пор веришь в Деда Мороза?

На конверте же стоял и обратный адрес. И мое имя.

В глазах дядьки сверкали ехидные искорки, ему давно не удавалось надо мной посмеяться. А я давно так сильно не плакала.

Мы с мамой снова сидели в дедушкином кабинете. Утешая меня, она сказала, что в детстве тоже верила – но не в Деда Мороза, а в Бога бабушки Евдокии. Они с ней вместе молились, чтобы папа (дедушка) вернулся с войны живой.

И он вернулся.

Это был самый лучший подарок, какой только можно было представить.

– Ему Бог помог?

– Дедушка в Бога не верит, – вздохнула мама. – Он сказал – судьба.

Летом папа взял у кого-то напрокат лодку с мотором.

Папа хорошенько ее просмолил, и мы отправились в путешествие. Сначала по Лене, потом по Олекме.

Мы приехали в гости к Чаре!

Все здесь было так, как рассказывала мама.

Чара – самая чистая река на свете…

Папа выключил мотор и сел на весла. Склонив голову над бортом, я смотрела в воду и не могла поверить, что она такая прозрачная. Сквозь отражение моего лица на рябом каменистом дне дрожали солнечные пятна, темная тень от лодки двигалась немного зловеще, будто спина сопровождающего нас плезиозавра. Иногда мелькали зеленовато-серые хребты крупных рыбин – они удирали от нас быстро-быстро, а вокруг без всякого страха сновала шустрая рыбья мелочь. С весла падали хрустальные капли, речное зеркало разбивалось и восстанавливалось до следующего гребка…

Охту мы собирали прямо с лодки. Я больше не знаю мест в Якутии, где рос бы этот вкуснейший, винно-терпкий дикий виноград.

На берегах мы ставили палатку, удили рыбу и разводили костры. А фиолетовых камней, сколько ни искали, к сожалению, не нашли. Вероятно, потому, что не доплыли до грозовых гор небесного коваля, окутанных пелеринами сиреневого тумана. (Через некоторое время этот чудесный минерал обнаружили геологи и назвали чароитом – по имени реки. Месторождение чароита находится только здесь и больше нигде на земле.)

Сбылась мамина мечта побывать на Чаре. Папа радовался общему «бродяжничеству». Мы с Викшей чувствовали себя совершенно счастливыми.

Это была не жизнь, а какое-то сплошное настоящее чудо!

Независимо от того, кто в нем принял участие – Бог, Дед Мороз или судьба.

Метаморфозы любви

В девять лет я испытала жестокое разочарование в любви.

Наша маленькая семья переехала из деревни в город, и папа стал работать в райсовете.

Дети тут были другие – более развитые, что ли, и чуть менее открытые, особенно девочки. Они собирали портреты киноактеров и менялись друг с другом открытками.

Моей новой подружке Фае очень нравился Владимир Коренев. Чтобы заполучить редкую открытку с портретом «человека-амфибии», она поменяла Шурика на Ивана Бровкина, Ивана Бровкина на адъютанта его превосходительства и, добавив к адъютанту его превосходительства Штирлица, стала обладательницей Ихтиандра.

К весне после премьеры зарубежного фильма «Ромео и Джульетта» девочки увлеклись анкетами. Каждая в классе должна была ответить, верит ли она в любовь: а) с первого взгляда? б) с одноклассником? в) до смерти? «Да» или «нет» – зачеркнуть».

И, наконец, Фая влюбилась в мальчика из параллельного класса Вовку Дягилева, потому что он влюбился в меня.

Это ни для кого не было тайной.

Вовка даже на стене школьного туалета нацарапал название курортного города: ЯЛТА (на самом деле эта аббревиатура означала: «Я люблю тебя, А…»).

Получив от Вовки записку с предложением «встретицца после школы у парка», я холодно ответила: «Если подтянешься по русскому языку».

Что мне был Вовка?

Мы и так ежедневно встречались в школе.

Не зная, чем привлечь к себе мое внимание, Вовка притащил в школу альбом с рисунками молодого учителя черчения и рисования Анатолия Петровича. Он снимал у Дягилевых комнату.

Я рассматривала рисунки – карандашные портреты красивых девушек, детей, стариков, узнавала берег Лены у дебаркадера, домишки на приречной улице, эскизы каких-то старинных строений…

Полный альбом чудесных рисунков!

Я влюбилась в них.

В этот день я твердо сказала маме, что больше не хочу учиться в музыкальной школе, мне всегда нравилось рисовать, а не играть на пианино. Мама твердо возразила:

– Художественной школы в нашем городе нет.

Я продолжила учебу в музыкальной и записалась в кружок, который вел в нашей обычной средней школе Анатолий Петрович.

Там меня (к собственному изумлению) сразу постиг успех.

Я старалась.

Анатолий Петрович хвалил мою фантазию и «верную руку». Однажды мы с ним случайно встретились в парке, он угостил меня мороженым и рассказал о художнике Тимофее Степанове – своем кумире.

Черт дернул меня за язык сказать по секрету Фае, что мы с Анатолием Петровичем встречаемся у парка после школы. Но этого показалось черту мало, его как с цепи спустили от вопросов заинтересованной Файки. Этот мерзкий бес, впечатленный, очевидно, фильмом Дзеффирелли, натрепал еще о какой-то кровной вражде между семьей Анатолия Петровича и моей, отчего наши встречи не только нежелательны, но даже опасны…

На следующий день о секрете знали все девочки и некоторые мальчики класса. В своей парте я нашла записку, предположительно – от оскорбленного Вовки: «Зачем наврала? У Анатолия есть невеста».

Без единой ошибки.

Папу вызвали в школу.

Признание в любви (к рисованию) я прорыдала в учительской. Кое-как успокоив, меня попросили выйти. Я думала, что учитель потребует по крайней мере моего исключения из школы, и удивилась, слыша через дверь его смех. Анатолия Петровича рассмешила «вендетта», и директор тоже смеялся, а папа смущенно говорил, что я наивная и глуповатая…

Говорил так, наверное, от стыда.

– У вас талантливая девочка, – серьезно сказал вдруг

директор. – Мы выдвинули ее акварельную работу на республиканский конкурс «Мы рисуем космос».

Некоторое время я заходила в класс с опущенной головой. От пламени моих щек можно было разжигать костры пионерских зарниц. Но даже такие повести, печальнее которых нет на свете, когда-нибудь заканчиваются.

Если бы не Шекспир…

Много лет спустя моя маленькая трагедия стала основой для веселого рассказа в детской книжке (если я в рассказах что-то привра… то есть присочинила, так это для смеха).

Я немножко поколотила подружку Фаю. К чести ее надо сказать, она никому не нажаловалась, и мы с ней помирились.

Вовка скоро меня разлюбил.

Папа сказал маме, что неплохо бы начать развивать мои способности. В смысле – способности к рисованию. Мой «космический» рисунок выиграл первое место на конкурсе, «уехал» куда-то в Москву, и меня наградили детской туристической путевкой в Иркутск.

Жаль, поступить в художественное училище, как я мечтала, не пришлось, потому что сразу после школы я вышла замуж. Любовь меня постигла длинная, сама я все еще продолжаю ее постигать, хотя со времени первой встречи с мужем минуло около сорока лет.

Но и любовь к рисованию осталась со мной.

И к чтению.

Через год я прочла «Преступление и наказание». Дедушка задал по книге кое-какие вопросы и огорчился, узнав, что я пропустила массу недопонятых абзацев. Вдвоем мы перечитали роман вслух в зимние каникулы.

Память, эта вольтова дуга времени, часто перебрасывает меня в кабинет деда. У него мягкий, чуть рокочущий голос. Отвлекаясь от чтения, дедушка что-то объясняет, пускается в исторические детали, улыбается, – сияют белейшие зубы – собственные, не вставные…

Улыбка деда была такой – сияющей – до конца его жизни.

А ушел он от нас за три месяца до своего девяностолетия.

* * *

…Так получилось, что судьба моя оказалась тем еще Дедом Морозом и подготовила мне в подарок знакомство с художником Тимофеем Степановым. Он согласился дать интервью, когда я

работала в газете.

Я знала, что он долго терпел нападки «соцреалистов». Его обвиняли в «злостной пропаганде язычества», но Степанов оставался верен избранной теме: писал серии картин, посвященных якутскому героическому эпосу олонхо.

Ко времени нашего разговора Тимофей Андреевич уже получил звание народного, и картины его экспонировались по всей Европе. Один из пяти первых профессиональных реставраторов, выпущенных «Репинкой», он работал в Национальном художественном музее, в реставраторской, и писал свои изумительные картины – огромные, от стены до стены.

У человека, переступившего через порог этого небольшого помещения, создавалась иллюзия «входа» в живописный сюжет. Я вошла, вернее, вышла на луг, полный солнца и лета, над которым парили крохотные крылатые человечки…

– Духи трав и цветов?

– Да, – кивнул художник. – Когда я был мудрым несмышленышем, я хорошо их видел.

– Как вы сказали? Мудрым несмышленышем?!

И он рассказал, что, по якутскому поверью, дитя до пяти весен (якуты считают годы по веснам) понимает язык вещей, видит духов и его называют «мудрым несмышленышем». После пяти «потустороннее» зрение ребенка исчезает. Он полностью становится «земным», но еще четыре года его свежий разум впитывает сложные смыслы как губка, хотя поступки и представления о жизни остаются ребячьими.

Девять весен – черта, за которой человеческий дух полностью укрепляется к осмыслению окружающего мира.

Художник улыбнулся:

– Жизнь – метроном, каждый год учит человека чему-то, но у некоторых детское зрение, или сила детского воображения – называйте этот феномен как хотите, – никуда не уходит после пяти весен… а бывает, и после девяти, если тебя коснется жезл Кудая.

Позже, гораздо позже я напишу роман о детях Кудая – небесного коваля, разбрасывающего по земле небесные камни. Это трехликое божество искушает людей творчеством.

Правый лик Кудая светел
И божественно сияет,
Левый гнусен, словно беса
Отвратительная рожа,
Ну а тот, что посередке, —
Лик обычный, человечий…

Ох, и трудно трем личинам,
Меж собою несогласным,
К одному прийти решенью!
Потому-то, верно, людям,
Обладающим джогуром[1],
Ни покоя нет, ни лада,
В их сердцах то жар, то стужа —
Скоротечный праздник славы
И сомнений долгих мука,
Счастья высшего блаженство
И отчаянье глухое!

…Стоит заглянуть в призму памяти, как начинает кружиться калейдоскопическая вселенная детства.

Лечу, теряюсь, растворяюсь то ли между мирозданиями, то ли в ином измерении, на границе воспоминаний, чувств, эмоций… Не все-то и ухватишь – ускользают, уносятся в слепую пучину стеклянные зернышки, шуршащие осенние листья…

Но вот он – двор, поросший «воробьиной» травкой, бабушкин цветочный сад, солнечный круг, звездное небо… «песенное» крыльцо…

Останавливается пестрый вихрь, тихая печаль падает на широкие ступени, строенные «под семью», – многих родных больше нет…

Алеша давно не требует называть его дядей. Мы с Викшей очень его любим. Давние сюжеты легли в наши рассказы. Обе мы отошли от учительской династии и стали… кем?

Непонятно.

Я не знаю, как называется моя работа, которая большей частью – моя жизнь. Моя страсть неблагодарная, труд изнуряющий, чудо маниакальное, подарок судьбы… или Урана?

Да разве и сама жизнь – не подарок?

Недавно сестра купила часы с кукушкой.

– Правда же, они похожи на те, что висели в старом доме?

– Правда похожи.

– Ку-ку, – подтвердила, высунувшись, кукушка.

В отличие от меня, Викша верила в летающих человечков, даже когда перестала их видеть, и в Деда Мороза почти до двенадцати лет. Мы вспоминаем об этом и смеемся. И фантазируем, что будет с нами лет через десять.

– А через двадцать лет я…

– А через сорок…
– В девяносто…
– В сто…
(Молчи, кукушка!)

Небесный Иерусалим, или История одного романа
Дарья Дезомбре, прозаик, сценарист, маркетолог

Дарья росла балованным ребенком, защищенным от всех жизненных бурь, пока не приняла решение попытать счастья в чужой стране и не стала парижской «лимитой», вынужденной бороться за свое место под солнцем. А еще несколько лет спустя вновь оказалась без работы и перспектив уже в Брюсселе, где и начала писать. Дарья уверена – любые сложности могут благотворно сказаться на характере и судьбе, если смотреть на них под правильным углом. Именно падения формируют нас, без них никогда не узнаешь, способен ли ты подняться.

* * *

Не плачь, Маша, я здесь,
Не плачь, солнце взойдет,
Не прячь от Бога глаза —
А то как он найдет нас?
Небесный град Иерусалим
Горит сквозь холод и лед,
И вот он стоит вокруг нас,
И ждет нас, и ждет нас.

Б. Гребенщиков, «Дубровский».

– Отличная идея! – сказал мне по телефону мой знакомый продюсер М., и я вспыхнула от удовольствия.

Я и сама понимала, что держу в руках (а точнее – пока еще только в мозгах!) редкую, как говорят американцы – «на миллион долларов», идею фильма. И вот М., настоящий профи, подтвердил мои девичьи мечты.

– Не побоюсь этого слова – «полный метр».

Где-то, в заснеженной Москве, М. закурил. Я же бросила взгляд на косо заштрихованный вечным брюссельским дождем городской пейзаж за окном.

Но сердце пело.

«Полным метром» профессионалы называют то, что зрители считают «кином».

То есть – высший пилотаж. Большой бюджет. Звезды на главных ролях.

Широко раскрытая для меня, молодого сценариста, стезя.

Наконец-то!

Сценарии я начала писать пару лет назад, но, несмотря на бодрое начало, дело застопорилось. И немудрено: у меня не было профильного образования. Но это еще полбеды. Хуже всего оказалось то, что я жила далеко от московских, да и российских, реалий, не общалась с «нужными людьми», не знала, какие мелодрамы, комедии, детективы особенно востребованы на российском телевидении в данный конкретный момент. А уж про тот самый «полный метр» можно было и не мечтать – с моим-то отсутствием опыта…

Но та идея, что осенила меня однажды вечером за чтением скучной статьи по архитектуре, – в ней было зерно, настоящий потенциал для развития истории. И разглядев его, я вся подобралась, как охотничий пес, учуявший след в прелой листве.

Поинтересуйтесь: как часто я читаю тексты о средневековом зодчестве?

И я отвечу вам – никогда.

Но блуждание в полубессознательном состоянии в Интернете… Но творческие пути, которые, как выяснилось, неисповедимы…

– Так, давай конкретно, – сказал мне М. – Сколько тебе нужно времени, чтобы расписать тритмент?

Я очнулась.

Что такое тритмент – подробное, страниц на пятнадцать, описание происходящего в фильме – я уже знала, поэтому бодро ответила:

– Недели за две справлюсь.

На том мы и распрощались.

Следующие две недели я не отрывала седалища от стула. Дождь за окном оказался отличным фоном для полета фантазии: мглистая пелена не позволяла отвлекаться на пейзаж, отрезав дом от всего остального мира.

Не хотелось даже выходить на улицу, хотелось только писать-писать-писать.

Сначала родились главные герои, мальчик и девочка (относительные мальчик и девочка, поскольку между ними, по законам блокбастера, должен был вспыхнуть роман, так ведь?). У обоих появились загадки в прошлом, романтического и

криминального склада: загадки придавали характерам глубину, а отношениям между героями – драматизм. Вокруг главных персонажей столпились персонажи второстепенные: родственники, друзья, коллеги.

Наконец, пришел черед убийцы.

Зритель не будет знать, кто он, до победного конца, но мне, автору, следует ввести его как можно раньше.

В идеале, никем не видимый, он должен всегда незримо присутствовать в кадре – в своем параллельном страшном мире, о котором герои поначалу и не подозревают.

Вообще, убийца, признавалась себе я, – самый интересный персонаж для нашего брата сценариста. Черный, как ночь, но не такой плоский и однозначный, как вырезанные из черной бумаги профили: поделки провинциальных художников на пляже где-нибудь в Анапе. Нет, в нем должна быть глубина, как в падшем ангеле, его сердце когда-то было способно к сильным чувствам, и именно поэтому…

Итак, жертвы падали, как спелые яблоки, на московскую многовековую мостовую, герои-сыщики шли по следу, постепенно назревал катарсис…

Я отослала тритмент и приготовилась к комплиментам.

– Это никуда не годится! – заявил продюсер, прочитав мою первую версию. – У тебя картонные жертвы, а их должно быть жалко! Нужно, чтобы каждая из них стала узнаваемой! Почитай криминальную хронику, найди настоящих потерпевших, спиши с них историю! А героиня? Где легкий эротизм для подрастающего поколения, что придет на поздние сеансы твоей нетленки? А?

Я грустно вздохнула: похоже, комплиментов мне сегодня не дождаться. Эротизму и правда было маловато. Меня можно было понять: я давно и плотно находилась в счастливом браке.

Пришлось клятвенно пообещать эротизму добавить. По жертвам – начитать статей в интернет-изданиях, специализирующихся на уголовщине, чтобы сентиментальный зритель ронял над каждой соленую слезу.

Соленую слезу – да в сладкий попкорн.

Погода за окном начала потихоньку идти на поправку.

Иное дело – мой скорбный труд. Каждый раз после жестких комментариев М. мой тритмент умирал, чтобы затем, подобно Фениксу, вновь восстать из пепла. В нем теперь присутствовал эротизм в виде юной выпускницы юрфака с прозрачными глазами и высокими скулами, жесткий драйв, любовь и кровь, и…

И в один прекрасный день М. объявил мне – аллилуйя! – что

документ готов к показу нужным людям. Нужные люди – крупные киноворотилы, имеющие желание и возможность финансировать блокбастеры, – представлялись мне мистерами Твистерами: толстыми мужчинами в костюмах в тонкую полоску, с сигарой в зубах и в шляпе. Но Твистеры, к счастью, уже были вне моей компетенции – тут на сцену вступал мой приятель со своими связями…

Дабы отвлечь жену от мук ожидания, мой супруг соблазнил меня поездкой в Зееланд: местечко на границе с Голландией. Там, остановив машину прямо на насыпи, заходящей полукруглым рукавом далеко в Северное море, и вооружившись объемными полиэтиленовыми пакетами из супермаркета, мы отправились на охоту – пиратский промысел, знакомый всем бельгийцам. В отлив море в Зееланде отступало километра на два, обнажая песок в мелких камнях, заросших лохмотьями водорослей. В ушах монотонно шумел совсем не легкомысленный здесь зюйд-ост…

Но пара-тройка часов на пронизывающем ветру, промокшие ноги, а руки, красные, как у прачки, в морском иле – и вы счастливый обладатель пяти дюжин «диких» устриц. Муж, известный «устрицеман», вскрывал их перочинным ножом прямо там, на прогулке: блестела на чахоточном северном солнце перламутровая изнанка, жемчужный язычок моллюска одуряюще пах морем. Муж блаженно подносил устрицу к губам и ел, дикарь, на ветру, безо всякого лимонного сока и бокальчика шабли. Потом блаженно прикрывал глаза:

– Свежак.

Ну, еще бы!

Как результат, всю ближайшую неделю я ждала новостей из Москвы, сидя на устричной диете.

Свежие, запеченные, в супе…

Уже без всякого аппетита я поглощала деликатес, уговаривая себя, что «быстро подобные решения не принимаются», «такие люди не сидят и не ждут твоего тритмента», им «есть что почитать, кроме твоих убогих виршей».

– Приветствую, – начал М. Он позвонил, когда все наши устричные запасы истощились. – Прости, что так долго не проявлялся. Я тут нашел одного славного парня – владельца сети супермаркетов. Молодого, горячего. Обожает кино.

Я моргнула. При чем тут супермаркеты?!

– Хочет вложиться в кинопроизводство на уровне пятидесяти миллионов долларов. Спрашивал меня о проектах. Я предложил твою историю.

Я перевела дух. «Молодой горячий парень» не внушал мне

особенного доверия, но кто я такая, чтобы выбирать? Пятьдесят миллионов на дороге не валяются. Да что там – они не валяются даже на полу супермаркета.

– Э… Отлично, – вздохнула я. – И что теперь?

– Теперь все пойдет очень быстро! – пообещал мне вдохновленный перспективами, которые открывали для нас сети супермаркетов, М.

И вновь пропал.

Тщетно мерила я квартиру шагами в попытках найти душевное равновесие. Муж, выбирая между моим возможным алкоголизмом и миром в семье, начал ежедневно открывать бутылку вина: бокал бургундского за ужином – и жена почти не огрызалась и меньше ворочалась по ночам

Не выдержав, через пару недель я сама набрала московский номер.

– Видишь ли, какое дело, – негромко сказал мне, кашлянув, М. – Тут у нас, как ты, наверное, уже знаешь, финансовый кризис…

– Он не только у вас. У нас тоже, – нахмурилась я, полная дурных предчувствий.

– Так вот. Тот парень…

– Молодой и горячий суперпарень?

М. хохотнул, но как-то невесело.

– Суперпарень разлюбил кинематограф? – похолодела я.

– Можно и так сказать, – приятель мялся, не зная, как озвучить новость. – Скорее не любит его так горячо, как прежде. И вместо пятидесяти миллионов предлагает пять. А твое кино…

– С пятью миллионами не снимешь, – закончила я мрачно.

– Ну да. Сама понимаешь, натурные съемки в центре Москвы, все дела… Дорогостоящее мероприятие.

Мы помолчали.

– Значит, все? – спросила я.

– Нет, что ты! – всполошился М. – Подожди! История-то классная! А вот что ты скажешь, если я предложу ее на телек?

– А что телек? – вяло пожала плечами я. – Ты сам говорил: это не телеформат. Жестокие убийства, кровь рекой, все дела…

– Ну, ты же не обязана показывать крупным планом расчлененку, верно? – вдохновился М. – Кое-что может остаться и за кадром. Поверь, по нынешним тухлым временам, телемувик – не худший выход. А я давно хотел забабахать какую-нибудь историю, вроде моей «Федоровой»…

«Федорова», знаменитый сериал М. по еще более знаменитой книге, вышел на экраны уже лет шесть назад. Побив все рейтинги центральных каналов, «Федорова» ввела неувядающую моду на

женщин-следовательниц: строгих красавиц с высоким айкью, на каблуках и с пышной пазухой. По мере продвижения расследования красавицы умудрялись еще и совратить пару-тройку холостых миллионеров.

– А я тут как раз придумала красивую фамилию для своей героини, – робко встряла я. – Каравай.

– Каравай? Нет, – жестко отбрил меня М. – Слишком заковыристо, для телика не катит. Давай какую-нибудь простую, распространенную. Ну, не знаю. Кузнецова, пойдет?

Я перевела глаза на весеннюю траву за окном, пожала плечами:

– Пойдет.

– Вот и ладушки, – удовлетворенно вздохнул на другом конце трубки М. – А я на этой неделе схожу к теленачальству – прощупаю почву. Все. Не кисни!

– Не кисну! – как можно бодрее ответила я.

В конце концов, пусть уже не голливудский блокбастер, но это все еще был выход, лазейка для моей мечты…

Всего пара бутылок бургундского истекли с нашей последней беседы, как М. разбудил меня ранним звонком:

– Пляши, красотка! Я поговорил с главной редакторшей федерального канала. Все прошло неплохо.

– Неплохо, но не хорошо? – из-за невозможности личной встречи и взгляда глаза в глаза я гонялась за подтекстами.

– Неплохо – значит, неплохо, – хохотнул на другом конце трубки М. – Ей, конечно, не понравилось, что меня спустили сверху, но… Тема для сериала перспективная, да и сам сериал востребован. А то у них уже 8-й сезон «Тайн подследственных» идет, срочно нужно что-то новенькое!

– Но ведь это же – ура?! – наученная горьким опытом, решила все-таки уточнить я.

– Ура-то ура. Но есть один момент.

– Валяй, – вздохнула я.

– Героиня у нас – только что из университета. Молодая.

– И красивая, – уточнила я.

– Возможно. Но не вписывается в контекст. Аудитория у канала какая?

Я потерянно молчала, и М. сам ответил на свой вопрос:

– Тетки за сорок. Им не нужна девочка едва со студенческой скамьи.

– А кто им нужен?

– Ну, что ты как маленькая, – ласково заворковал продюсер. – Им нужна тэжэдэ.

– Тэжэ чего? – нахмурилась я.

– Эх ты, молодняк! Не знаешь, что такое ТЖД! – хмыкнул М. – ТЖД – это Тяжелая Женская Доля. Аббревиатура канала, чтобы, так сказать, мгновенно очертить профессионалам задачу. То есть – одинокая женщина средних лет с дитём. А потом у тебя будет серий десять или сто – это уж в зависимости от авторского дарования, чтобы бедняжка могла эту самую неудавшуюся личную жизнь исправить с привлекательным…

– Миллионером.

– Зришь в корень. Живет, она, значит, ради разнообразия, вместе с отцом, – на ходу стал сочинять М. – К примеру, крупным чином МВД…

– Он умер, – глухо сказала я.

– Кто? – испугался М.

– Отец. В нашей версии отец умер. Она мстит за его смерть.

– Ну так оживи его! – разозлился М. – Жалко тебе, что ли?

– Не жалко, – кивнула я обреченно, забыв, что он меня не видит.

– Вот и славно, – поняв, что щекотливый момент позади, М. повеселел. – Могло быть и хуже.

– Да неужели? – сарказма в моем голосе не услышал бы только глухой.

– Да! – отрезал М. – Могли вообще поменять девочку на мальчика. Без всяких трансгендерных операций.

Я молчала.

– Ну, не вешай носа! Все ж отлично! У тебя есть возможность зайти на один из крупнейших федеральных каналов с авторским проектом. Чем плохо?

Я произнесла что-то невнятное – в этот момент с работы вернулся муж и по одному выражению моего лица догадался, что нужно делать. С легким чмоканьем на кухне открылась очередная бутыль. «Женский алкоголизм неизлечим», – наставительно сказала себе я, слушая, как в кухне раздается дорогое сердцу «буль-буль-буль».

Муж подошел с двумя бокалами. Сел у моих ног и поднял вопросительно бровь: «Ну, что там?»

Я покачала головой: не спрашивай. Глотнула живительного нектара и прикрыла глаза: все-таки хорошее бургундское…

– Ты меня слышишь? – вернул меня в московские реалии продюсер.

– Мм-м? Да?

– Я говорю, нельзя им сдавать историю «Небесного Иерусалима». Воруют идеи у нас на раз. И защиты никакой. Так что делать первую четверку серий надо с другой истории.

– Как нельзя? – захлебнулась я нектаром. – Но у нас же все готово, расписано в деталях!

– Да знаю я! – перебил меня М. – Но ведь стырят же идею – и не поперхнутся.

В телефонной трубке установилось молчание – то ли ангел пролетел, то ли М. закурил свежую сигарету.

– Поверь, тебе так будет даже проще: поменяешь своих героев на новом материале. Ну, давай. Вперед. Когда сможешь прислать мне первый вариант?

Следующие пару недель я ходила как во сне, тщетно пытаясь раскачать, свести на нет внутреннее сопротивление. В конце концов, М. прав: ну подумаешь, героиня из 23-летней выпускницы МГУ станет 35-летней теткой в разводе? Волшебный мир голубого экрана видал еще и не такие превращения. Но я, черт возьми, уже сжилась со своей Машей, чувствовала логику ее поступков и слов, как чувствуют их с близким человеком! Эта москвичка из состоятельной семьи, девочка из физматшколы ничем, казалось, не была со мной схожа – вплоть до цвета волос и глаз, но расставание с ней оказалось болезненным и требовало времени. «Ты ближе по возрасту к 35-летней, у тебя есть дочь, – уговаривала себя я. – Ну, хочешь, сделай, себе на радость, ее гуманитарием из Питера? Адвокатом. Уже проще, верно? Дальше – порезвись с ее первым браком. Пусть это будет не вялый питерский алкоголик с претензией на философствование, а, к примеру… ее подзащитный. Да, это будет подзащитный, которого с героиней – только звать ее теперь будут не Маша, а Анна (имя тоже необходимо было поменять, иначе я окончательно бы запуталась) связывают поначалу чисто профессиональные отношения. Итак, Анна берется за защиту интересного мужчины (назовем его Илья – а пуркуа бы и не па?), обвиняемого в убийстве. Защищать Илью оказывается несложно, ибо прямых улик нет, а косвенные разваливаются на процессе. Плюс – бывшая жена дает показания, благодаря которым у парня есть алиби, и вот наш герой выходит на свободу. Что же делает Илья, едва покинув зал суда? Он возникает на пороге дома своей бывшей адвокатессы. Начинается роман, заканчивающийся, как положено, сценой сдержанной страсти (тут важно не переборщить – федеральный канал, нас смотрят припоздившиеся дети!) и – беременностью. И вот тут-то на героиню и выходит бывшая жена (Люся? Света? Наташа? Выбирайте любое из имен): рыдая, она признается, что все сказанное ею на суде – ложь. А еще через несколько дней бывшую супругу находят мертвой в стылой Неве. Ну и далее в том же духе: Анна выводит мужа-убийцу на чистую воду, ее побег в Москву, начало работы на Петровке…

Я перечитала начало истории и выдохнула.

Не Бог весть что, но в качестве наброска биографии главной героини – сойдет. Теперь, когда вчерашняя студентка превратилась в чистый образец тэжэдэ, пора было вновь подумать о ее личной жизни. Я решила, что ради разнообразия пусть у Анны в Москве случится роман не с миллионером, а с небритым, плохо одетым коллегой (как, впрочем, в свое время и у Маши). Только в варианте с Машей ему было под тридцать, а тут окажется под сорок. В финальном эпизоде произойдет смертельное столкновение бывшего мужа с нынешним поклонником, обеспечив осчастливленным моим сериалом телезрительницам хеппи-энд.

Впрочем, я и сама люблю хеппи-энды, и потому банальность предстоящего финала меня не смущала.

Не смущал меня даже грозящий объем работы: четыре серии следовало довести с нуля до примерно двухсот страниц в диалогах.

Контракта со мной никто не подписал, но ведь М. был своим человеком на телевидении, приятельствующим с самим гендиректором, так что беспокоиться было не о чем, не о чем, не о чем…

Я приступила: список персонажей, сама история, разбитая на четыре части, да так, чтобы по окончании каждой серии вам безумно хотелось бы посмотреть продолжение. Все, как в американских учебниках по сценарному мастерству. Они же, голливудские гуру, и регулярно повторяют неофитам, что создание сценария, это не «написание», а «переписывание».

Что есть истинная правда.

Итак, первый вариант отсылался по мейлу М. Через пару дней я получала ответное письмо с его критикой и рекомендациями. Садилась за работу и перелопачивала весь материал. Отсылала улучшенный вариант обратно. А еще через два дня мне приходили новые комментарии и пожелания…

Так происходило раз пять. Потом М. нес эпизод «на канал» и там несчастная серия препарировалась вновь – что твоя лягушка студентом-садистом, где каждый из редакторов желал вставить свои пять копеек. Отважный М. ругался с ними по каждой из правок, но искусство ведения военных действий, как известно, подразумевает иногда уступать в отдельном сражении, дабы выиграть войну. Кроме того, требования канала для сценариста – это нечто вроде Моисеевых скрижалей для правоверных: обсуждению не подлежат.

Прошло лето, наступила осень.

Работа – медленно, буксуя, – но двигалась вперед.

Иногда я заставляла себя выйти из дома, чтобы пойти поглазеть на витрины антикваров в центре. Саблон, раскинувшийся вокруг готической церковки район старьевщиков, славился среди знающих людей на всю Европу. Большинство из выставленных на продажу вещичек были мне не по карману, но никто не мешал зайти в лавку, пропахшую пылью веков, а часто – еще и табаком, и собачьей шерстью, и приценяться. К примеру, к огромным расписным сундукам из Бретани XVIII века, предназначенным для приданого, или к покрытому зеленоватой патиной бронзовому Будде, привезенному Бог весть когда из бывших ост-индских колоний, или к барочной серебряной сахарнице…

Особенно же я радовалась, когда обнаруживала среди антикварных сокровищ старую плитку с кобальтовым рисунком. Изразцы. Они стоили недорого: поторговавшись, можно было унести с собой обернутый в пожелтевшую газету кусочек из XVI или XVII веков. Казалось невозможным представить, что мой родной город еще не существовал даже в воображении Петра Алексеевича, а вот эта сценка из жизни детей или пастухов уже украшала чей-то камин в Низких Землях!

Выкрасив стены в ванной комнате в синий цвет, я постепенно вывешивала на них свои приобретения. Теперь, чтобы успокоить нервы и попытаться заснуть после очередного мейла, полного критики от редакторов канала, я ложилась в пенную ванну и часами рассматривала детали костюма бравого солдата, морской пейзаж с парусниками и мельницы, окруженные стадами овец…

Впрочем, было бы нечестным не упомянуть, что, окромя критики, редакция рассылала своим авторам еще и прекрасные в своей маркетинговой невинности «памятки для сценариста». К несчастью, я не сохранила сих блистательных документов в своем ноутбуке, но кое-что помню. Например, по результату «круглых столов» с привлечением активных телезрительниц выяснилось, что в сериалах надо обязательно показывать «красивую жизнь»: виллы, яхты, личные самолеты, нужное подчеркнуть. Зиму (зиму!) русскому человеку демонстрировать, напротив, не стоит – «наш зритель не любит зиму». Поэтому действо сериала сдвигалось на лето, а Илья постепенно превратился из парня со средним доходом в миллионера (очевидно, вовсе этой категории было никак не избежать). Приз же моих симпатий получил абзац, призывающий выделять в тексте сценария «красные флажки». «Красным флажком» могла стать любая роковая для мелодраматического или детективного поворота реплика. К примеру: «Хочу – не могу!», «Да не тебя люблю, а соседку!» или «А

убийца-то – муж!». Позднее эту часть диалога актеры на съемках должны были выделить громким драматическим гласом. Зачем? – спросите вы, а я – после прочтения маркетинговых наставлений – поясню.

К примеру, вяжете вы трико, иль готовите борщ, иль гладите белье, а на экране происходит фоном нечто муторное. И тут, чтобы привлечь ваше внимание, актер или актриса истерично выкрикивает ударную фразу. Эффект достигнут: вы встрепенулись и некоторое время следите за происходящим на экране… Однако вскоре вновь вернетесь к свекольной зажарке.

Вернетесь-то вы вернетесь, но будете уже в теме.

Итак, дело продвигалось.

Золотая осень сменилась октябрьскими дождями. Наступил ноябрь, потом – декабрь. Где-то там, во вновь скованной льдами Москве, М. понес на канал уже третью по счету, финальную версию последней серии.

Я купила около супермаркета на углу маленькую, но волшебно-вкусно пахнущую смолой елочку. Вместе с дочкой мы заглянули на только что открывшийся рождественский базар. Дочка выпросила у меня традиционную брюссельскую вафлю, политую шоколадом. Я же сосредоточилась на елочных игрушках. Настроение было приподнятым: весь год я работала, не покладая, а точнее, не отрывая рук от клавиатуры, и вот – уж виден свет в конце туннеля, результат трудов!

Как хорошо, что он приходится на Рождество, пусть бесснежное здесь, в Европах (я-то, в отличие от фокус-группы, зиму люблю!), но все равно – сказочное.

Я расслабилась и решила накупить разноцветных шаров: дешевых красных и более изысканных цветов – темно-синих, бирюзовых, оранжевых. А еще – серебристой мишуры. И гуся – огромного, которого я поставила себе целью запечь, как и положено: с местными фермерскими яблоками, не обработанными химикатами.

Дела были закончены, остались одни удовольствия: удовольствие от готовки, радость от счастливого лица двухлетней дочки, впервые вместе со мной украшающей елку…

Гусь едва успел отправиться в духовку, как я услышала ключ, повернувшийся в замке. Муж переступил порог и замер.

– Ты рано, – я вышла в прихожую, поцеловала его ледяную – он передвигался по городу на скутере – щеку. – Гляди, какая красота!

Он обвел взглядом преображенную гостиную: не успокоившись на елке, мы украсили свежеприобретенными

шарами каминную полку, люстру, углы картин. Блистающий «дождик» обвивал любимую супругом африканскую скульптуру темного дерева и сдобных барочных ангелов, парящих над камином.

Муж кивнул и криво улыбнулся.

– Что случилось? – нахмурилась я.

– Меня сократили, – сказал он, глядя в сторону, на довольных наряженных ангелов. – Уже давно поговаривали о новой волне увольнений, и вот…

Муж, наконец, перевел глаза на меня.

И глаза эти были чертовски виноватыми.

Экономический коллапс – тот самый, что не позволил в начале года снять мой блокбастер, ударил по Европе еще сильнее, чем по России. Россиян спасала цена на нефть. В Европах же бушевал сильнейший со времен Великой Депрессии финансовый кризис. По банкам шли, одна за другой, волны увольнений. Рынок труда, как московское метро в час пик, был уже под завязку полон безработными банковскими служащими с высокой квалификацией.

И вот, перед Рождеством вздыбился последний, для нашей семьи – роковой, девятый вал.

Я молча обняла мужа.

– Ничего, – сказала я то, что женщины столетиями говорили своим мужьям с виноватыми глазами. – Как-нибудь. Прорвемся.

За ужином настроение наше чуть улучшилось – гусь вышел отменный, спору нет. Надо бы чаще его покупать, подумала было я – и сама же себя одернула: шиш тебе, а не гусь! Курица – вот теперь твоя птица. По крайней мере до тех пор, пока муж не найдет работу.

– Знаешь, – сказала я, обгладывая гусиную шейку, – все не так плохо. Сейчас примут эти четыре серии, и хоть что-то мне да заплатят? На первое время хватит, а потом я напишу еще четыре…

М. позвонил в десять вечера.

За своими недавними переживаниями я уже и не ждала звонка.

– Привет! – голос М. звучал глухо.

«Наверное, какие-то проблемы со связью», – подумала я.

– Извини, что так поздно…

– Ничего, – я нервно хихикнула. – У нас тут выдался веселый вечер. Потом расскажу. Как все прошло?

– Не особо… – он запнулся.

– Что, еще какие-то дополнения?

Сколько ж можно?!

М. громко выдохнул в трубку.

– Они не берут проект.

– В смысле? – я замерла, глядя на мужа, уютно устроившегося перед камином с книжкой. Похоже, за ужином я сумела если не поднять ему настроение, то, по крайней мере, перевести из состояния тихой истерики в состояние меланхолической задумчивости.

– Сказали, это слишком заумно для нашего зрителя. Что им скучно будет смотреть. Нужны герои попроще. И преступления не в сфере искусства, а такие… Бытовые.

– Подожди, – я сглотнула и медленно опустилась в кресло.

Муж поднял глаза от книжки да так и замер, на меня глядючи.

– Что значит – «попроще»? И какое «заумно»? Они же все знали уже на уровне презентации – о чем будет речь? Зачем было заставлять нас прописывать четыре серии? Да еще и столько раз переделывать?!

М. молчал.

Мне стало просто физически нехорошо. Тошнота поднялась к горлу.

Бессмысленность всего мероприятия, бесконечные часы, дни, недели, месяцы, проведенные перед экраном…

Испорченный отпуск, идиотские комментарии, к которым нужно было прислушиваться, чтобы вновь садиться за компьютер и переписывать, переписывать, переписывать.

– Это я виноват, – наконец сказал М. – Меня внедрили сверху, обязали главреда со мной общаться. Отказаться сразу она не могла – неудобно перед начальством. Поэтому решила поступить мудрее: притвориться, что слушается старших. А потом все равно сделать по-своему. Только теперь к ней не придраться: сказали разработать проект с М.? Разработала. А что не вышло – так это проблема М. и его сценариста.

– Ясно, – выдохнула я. – Пока.

И не дожидаясь ответа, повесила трубку.

– Что случилось? – обеспокоенно смотрел на меня муж.

– Проекта не будет, – сухо сказала я и вышла из гостиной в спасительную темноту коридора.

Тихо толкнула дверь дочкиной комнаты. Закинув руки кверху, та спала, тихонько похрапывая и выставив нежную пятку из-под одеяла. Я не выдержала, взяла ее на руки, крепко прижала к себе.

Она не проснулась.

Прошло шесть лет, а я до сих пор помню в деталях свои

ощущения: гнев, обиду на судьбу, опустошенность.

У меня ничего не получилось. Снова.

Сколько бы я ни старалась, как бы ни работала – результатом оказывался лишь вновь разбитый в напрасных усилиях лоб. Наверное, все это время я шла не туда. Менее упрямый и более умный человек уже давно б сошел с пути, нашел другую тропу.

Я вспоминала, как легко и бодро, что твоя Золушка, скакала когда-то по хрустальным ступенькам карьерной лестницы в Париже. Той лестницы, которая ведет не вниз, а только вверх и вверх!

Все это было, но закончилось.

И почему я решила, что теперь, сидя в Брюсселе, лучшее, что я могу сделать, – это писать сценарии? Откуда взялась во мне эта смешная самонадеянность?

«Сколько же нужно тому парню, сверху, объяснять тебе, что следует заняться чем-то другим? – спрашивала себя я и не находила ответа. – Тебе уже не восемнадцать лет, чтобы стоять вот так, перед разбитым корытом, не зная, что делать со своей жизнью…»

Я застыла в полутьме детской, прижимая к себе свою дочь, и несмотря на горький комок, застрявший в горле, чувствовала, как вместе с ее ровным, мирным дыханием, теплом и тяжестью маленького тела постепенно расслабляются мускулы и я сама начинаю дышать ровнее и больше не сжимаю до боли челюстей.

«Как-нибудь, – повторила я себе то, что только недавно говорила мужу. – Прорвемся. Не такая уж это трагедия в жизни, да и не трагедия вовсе. Черт с ним, с каналом, с его изысканными в макиавеллистических потугах и примитивными в маркетинге редакторами, уверенными, будто лучше всех знают, что нужно российскому зрителю. Не обижайся на судьбу. Это уж совсем бессмысленное занятие. Дыши. Дыши».

Здесь я позволю себе сделать небольшое лирическое отступление.

Лилиана Лунгина, блестящий переводчик, прекраснодушный и мудрый человек, в гениальном, с моей точки зрения, фильме-монологе «Подстрочник» говорит:

– Нужно надеяться и верить, что даже очень плохие ситуации могут неожиданно обернуться совсем другой стороной, хорошим. Я покажу, как в моей жизни многие беды потом оборачивались невероятным счастьем, богатством, удивительными поворотами… Верить, надеяться, и постепенно многое может оказаться с другим знаком.

С другим знаком.

Шли, уж простите за банальность, годы.

Моя девочка выросла из двухлетнего херувима в нахальнейшую девицу пяти лет. Теперь ее вряд ли можно было подхватить так легко на руки, прижав к себе в глубокой печали.

Но, к счастью, глубокие печали обходили меня стороной.

С М. мы старались с тех пор не касаться болезненной темы с неудавшимся проектом. Он ушел «на вольные хлеба», основав собственную компанию. Я же потихоньку влилась в профессиональную армию сценаристов, пописывая уже на почти регулярной основе то один, то другой сценарий. Некоторые, пройдя через мясницкие ножи редакторов, кое-как добрались до экранов, другие испустили дух еще на этапе разработки. Да и ладно: ведь деньги, пусть небольшие, я зарабатывала, а желание славы никогда не бродило во мне по весне березовым соком.

Как-то ранней осенью М., сделав кругаля, заехал из Парижа к нам в Брюссель.

Стоял сентябрь – не самый плохой в плане погоды месяц в нашем городке. Сидя на террасе уличного кафе, мы щурились под нежарким фламандским солнцем. Он пил бельгийское пиво – за тем, собственно, и приехал. Я – кофе. Пива не пью, только зря копчу воздух в пивной столице. С нашего столика открывался недурной вид на пешеходов и кусочек готической церкви в Саблоне.

– Кстати, – полез в свой модный саквояж М. – У меня для тебя сувенир.

Он положил на стол книжку средней толщины.

На обложке один мужчина брутального вида бежал за другим. У брутала номер один в руках был пистолет. Выражение лица позволяло заподозрить худшее. «Суперкиллер» – гласило название.

– Э… – я подняла на М. взгляд, к счастью, скрытый за темными очками.

М. усмехнулся, пригубив пиво:

– Почитаешь на досуге. Разрешаю тебе осилить первые десять страниц. Больше для наших целей и не требуется.

– А какая у нас цель? – осторожно поинтересовалась я.

– Эта книжонка напечатана вслед фильму, – постучал М. ногтем о глянцевую обложку. – Фильм пользовался популярностью, и сценаристы понадеялись, кхм, срубить еще чуток бабла…

Я продолжила вопросительно глядеть на М. – цель подарка

все так же от меня ускользала.

– Да помню я, помню, что ты не пишешь боевиков, – хохотнул М. – Но ты могла бы написать «Небесный Иерусалим».

Я вздрогнула.

Только не это.

Снова.

– А что? – поднял М. пивную кружку. – Сюжет у тебя уже есть. Герои тоже. Замысел был отличный. Напишешь книжку – застолбишь идею. А потом – чем черт не шутит?..

– Я не умею романы…

– Да ведь я тебя и не прошу накатать «Войну и мир»! – внимательно поглядел на меня М. – Почитай, как пишут эти перцы. **Так —** ты точно сможешь. Возьмешь за основу наработанный материал и – вперед.

– Я подумаю, – улыбнулась я, скосив глаза на двух мачо на обложке.

«Я подумаю», – так всегда говорит моя мать, когда не хочет отказывать сразу.

– Вот и ладушки, – чокнулся с моей чашкой кофе М., неправильно истолковав мой вежливый жест.

Книжку я взялась читать в тот же вечер.

Любопытство оказалось слишком сильным. Есть категории – не литературы даже, ведь это нельзя назвать литературой, а, скажем так, беллетристики – всегда обходившие меня стороной. Вот такие книжки – с мускулистыми мужчинами на обложке и отвратительным качеством печати внутри – никогда не то что мной не открывались, а просто даже не лежали рядом. Заглянуть под эту обложку было – как заглянуть через замочную скважину в чужие, такие отличные от моих, мозги.

Стыдновато, но занятно.

Десять страниц, сказал М.? Меня хватило на пять.

Выключив бра над кроватью, я задумалась, глядя в потолок, по которому скользили неясные тени.

Расчет М. стал мне ясен. Написать хуже, чем неизвестные мне перцы, казалось малореальным. От этой точки ниже уровня моря можно было двигаться только к звездам. Устранив связку, имеющуюся в мозгу каждого мало-мальски культурного человека – «литература равно Толстой и Достоевский», М. избавил меня от комплексов. Ничего еще толком не написав, я была уже лучше авторов лежащей на прикроватной тумбочке книжки.

Еще несколько дней я вела с собой раздражающие меня саму диалоги:

– Попробуй! – шептал один голос. – Шедевр ты вряд ли создашь, но идея навсегда останется твоей!

– Не ввязывайся в эту гнилую историю, – отвечал первому голосу второй. – Ты потратила уже прорву времени, и что в результате? Пшик!

– Вот именно, что пшик! А если ты, наконец, напишешь книжку, то, по крайней мере, из этого выйдет толк!

– Да ты хоть представляешь, сколько это надо писать?! – взвыл голос, который я назвала «голосом разума».

А и правда: сколько?

Я залезла в Интернет, и выяснила – писать надо очень много.

Информация существовала в загадочных авторских листах, но путем несложных расчетов я пришла к выводу, что наваять придется двести убористых страниц.

Прошла еще пара недель и у меня выдалась пауза в сценарных делах. Со скептической улыбкой я открыла на рабочем столе папку под заголовком «Небесный Иерусалим», к которой не притрагивалась уже несколько лет. Ощущения оказались малоприятными: все было тут – многочисленные варианты развития сюжета, таблицы с убийствами и святыми местами, сборные документы по персонажам, отдельно – по теме маньяков, расследованиям ФБР и средневековой архитектуре. Бесконечные переработанные черновики. Сложнейшие разветвления, чтобы не запутаться в собранном материале. Каждый из документов стоил мне в свое время многих часов труда. И теперь они лежали передо мной, мертвые, никому не нужные. Мое личное «кладбище домашних животных». Я почувствовала горький привкус желчи во рту – остаток той, старой обиды на судьбу.

И закрыла папку.

«Нет работы, пойди, погуляй!» – сказала себе я, и, вооружившись зонтиком, отправилась на местный рынок.

Открытый лишь один день в неделю, он наполнял гастрономическим великолепием, разнообразием запахов и оттенков маленькую площадь неподалеку от дома. Каждую среду мы ходили туда за наисвежайшей пахнущей озоном голландской селедкой, которую продавал с мини-вагончика дюжий, заросший светло-рыжей щетиной фламандец.

И далее – по кругу.

У марокканцев я брала фрукты и овощи. У поглядывавшего на своих клиенток кокетливым, иссиня-карим глазом французского фермера с орлиным шнобелем – сыры: бри и сен-фелисьен. У «итальяшек» – свежую пасту с трюфелями и кусок пармезана. И цветы – охапки тюльпанов нежнейших пастельных

цветов…

Где-то меж шумной многоязычной толпой – клиентами, принимавшими там же, под мелким дождем (на такой и внимания-то уже не обращаешь в этом чертовом климате), бокальчик дешевого белого винца со своей селедкой; меж вопящими детьми, требующими своей еженедельной дани – свежеиспеченной вафли, политой шоколадным соусом; и тайцами, торгующими резко пахнущими имбирем и кориандром блюдами на вынос, я увидела надпись: Жерусалем.

Иерусалим.

И вздрогнула.

Протолкавшись к лавке, неверящими глазами уставилась на выставленные фрукты.

– «Жерусалем» – груши, израильские, – объяснила мне дородная белобрысая продавщица. – Сладкие, сочные, берите!

– Я вас здесь раньше не видела, – настороженно улыбнулась я.

– О! Я тут только на этой неделе, подменяю подружку, она продает биодобавки. Лоранс, может, знаете?

– Не знаю, – покачала я головой.

Только на этой неделе. Со своими грушами. Жерусалем.

Совпадение? Или знак?

– Я попробую, – сказала я мужу за ужином. – У меня сейчас есть зазор, пока редактор вычитывает очередную версию сценария. Где-то неделька. Составлю план по главам…

– Давай, – кивнул муж. – Хорошая идея.

– Хорошая ли – большой вопрос. Но добро пропадает – это факт, – усмехнулась я. – Я ведь и забыла, сколько у меня там материала. Бог даст, хватит на их загадочные «авторские листы».

На следующее утро я вновь села перед компьютером, открыв новый документ и озаглавив его по-простому: «Роман».

В конце концов, никаких других романов у меня не было и не предвиделось. С содроганием я открыла свой последний тритмент. Он начинался с пробуждения Марии Каравай. Еще той Марии: юной выпускницы университета, без бывших мужей с криминальным прошлым и детей…

Я читала написанные три года назад строчки и улыбалась: как же я могла забросить свою Машу? И Андрея? И Раневскую? Особенно Раневскую! После долгой паузы это было подобно встрече с близкими друзьями. Моими «воображаемыми друзьями» – как у тех одиноких детей, что придумывают себе умных и красивых приятелей. Только я была взрослой, семейной женщиной, окруженной по-европейски четко выверенным бытом.

Но что это меняло?

Мне нравилось создавать город, схожий и несхожий с Москвой, которую я знала: мистический, таинственный, страшный и одновременно – пошлый, гламурный, поверхностный. Город, в котором никто на самом деле не живет, а все выживают. Яркие витрины бутиков, огни ресторанов и проносящиеся мимо автомобили класса люкс… Небоскребы, переливающиеся огни, тамтамы поп-музыки из дверей и окон машин. Ненастоящие люди, новые московские буржуа: с ненастоящими имплантированными зубами, волосами, грудями. И с такими же ненастоящими отношениями. И другие – приезжие: отчаянно им завидующие. Эти передвигаются под землей, проводя часы в царстве подземного Мордора, перевозящего десятки миллионов рабочих муравьев в день.

А параллельно этому миру гламура и кошмара живет совсем другой город: еще выглядывают из-за новостроек маковки старинных церквей, кусок стены Белой Крепости прячется в переходе метрополитена, и подмываются Москвой-рекой остатки опор древнего моста. Еще сохранились с прошлых веков названия, еще звучит музыка слов Варварка, Ильинка, Сретенка, перекрываемая гулом автомобильных пробок, хохотом подвыпившей публики многочисленных шикарных едален, шумом жующих челюстей.

Который из миров – настоящий?

Я гонялась за тем, волшебным, постепенно растворяющимся в городском смоге. Мой маньяк – за ним же….

Я увлеклась процессом. Даже себе было стыдно признаться – до какой степени.

Романописание оказалось одновременно схожим и очень далеким от сценаристики. От сценариста требовалась точность композиции, лаконичность изложения, каждая строчка диалога – выверена, отточена, чтобы не «грузить» динамику повествования. Минимум описаний. Никаких размышлений и внутренних монологов героев.

Иное дело – роман.

Я сознательно не составила плана по главам, мне нравилось перепрыгивать из Машиной головы в голову Андрея. Нравилось смотреть на мир то ее, то его глазами. Легкая креативная шизофрения, согласна.

Но что поделаешь? Так что с внутренними монологами проблемы не возникало. Но описания…

Вот где сценаристика поставила мне роковую подножку. Роману не обойтись без описаний, пусть даже не таких пространных, как у Пруста с Тургеневым. Но все же, все же…

Как Чехов выдавливал из себя раба, так я день за днем выдавливала из себя сценариста. Выдавливала по праздникам и выходным, запершись с ноутбуком в душной комнате, пока мои домашние радовались жизни. В каникулы, когда муж с дочерью катались на лыжах, а я делала вид, что подвернула ногу, и очень натурально скакала до съемной квартирки в горах, где опять же садилась перед голубым экраном. И даже в официально отданные на откуп сценаристике трудовые будни умудрялась, воровато оглянувшись на дверь – и от кого ты прячешься, дурочка? – писать о Маше, Андрее и моем личном ненаглядном маньяке.

Десять страниц, двадцать, пятьдесят, сто…

Я боялась их перечесть, из суеверия не делила текст ни на параграфы, ни на диалоги – одна сплошная простыня, чтобы не знать, сколько еще страшных «авторских листов» осталось впереди. Особенно меня радовали «лирические отступления» в которых я рассказывала истории своих жертв. Освобожденный от гнета движения сюжета, текст явно становился живее, простегивался, как байковое одеяло, нитью собственного опыта…

Сто пятьдесят.

Я уставилась на цифру внизу экрана справа.

Я уже почти довела героев до победного конца, и – не выдержала.

Стояло лето.

Я откинулась на спинку плетеного стула в тени южной акации. Совсем рядом, за янтарной стеной южных сосен, шумело море, трещали цикады, с тихим вздохом с темно-зеленого куста гибискуса падали белые и красные цветы. Логично было бы предположить, что красота окружающего пейзажа поможет смягчить неказистость моего текста. Ведь одно дело – перечитывать результаты своих трудов, сидя под нескончаемым дождем в Брюсселе, и совсем другое – тут, в деревне близ Ниццы. В первом случае депрессия почти гарантирована. Во втором – можно, на крайняк, красиво сброситься со скалы в пенистые воды Средиземноморья.

И я принялась за чтение.

Первые страницы были написаны уже столь давно, что я почти забыла их содержание и читала так, будто видела впервые. Постепенно страх, что получился «ужас-ужас-ужас», начал отступать. Ну, ужас, конечно – еще работать и работать. Но явно лучше глянцевого «Суперкиллера».

А вот достаточно ли это хорошо, чтобы издать?..

Меня терзали смутные сомнения.

Еще одна насущная проблема заключалась в том, что в доме,

забитом под завязку чертовой кучей родственников, никто – ни родня с мужниной стороны, ни сам супруг-француз, ни моя дочь, едва научившаяся слагать из букв слоги, – не могли оценить моего шедевра. Нужно было дать почитать роман кому-то непредвзятому, кто мало меня знает и не побоится обидеть…

И я обратилась с просьбой к одной из своих ближайших подруг. Отказать несчастная постеснялась: она приехала ко мне на недельку погостить, и как ей было обидеть хозяйку? А хозяйка, отдав распечатанные сто пятьдесят страниц, стала исподволь ястребиным оком следить, как подруга читает.

Целый день я косилась в ее сторону: что она делает? Смотрит медитативно на горизонт? Купается в бассейне? Помогает мне готовить ужин? Мне хотелось взять ее, как прогульщицу, за плечо и отвести в комнату. И чтоб не выходила, пока не осилит мое гениальное творение!

Но шли дни, и я видела, что дело продвигается медленно. Слишком медленно для книги детективного жанра.

«Унылая дрянь – вот что ты написала, – говорила я себе, кроша, на радость французским родичам, ингредиенты в холодный свекольник – мою обязательную кулинарную программу в летние каникулы. – Можешь радостно выкинуть все к чертям собачьим, и не вздумай, умоляю, допытываться у нее, как ей понравилось!»

– Ну, как тебе? – спросила я как можно небрежней, когда лежащая рядом в шезлонге подруга отложила мои уже изрядно помятые листы на траву рядом и стала наблюдать за орущей кучей малой детей, сражавшихся за резинового крокодила в бассейне.

– А? – испугалась она. – Отлично! Знаешь, я редко читаю детективы, и…

– Да-да, конечно…

Господи, зачем я только задала этот сакраментальный вопрос?

– Нет, ты не подумай, ты хорошо пишешь, просто я…

– Давай сменим тему? – умоляюще протянула я. – Хочешь, пойдем завтра гулять на холмы? Полюбуемся на море с высоты птичьего полета…

– Отлично, – с облегчением выдохнула подруга. – Только выйдем пораньше, еще до жары, да?

Больше мы этого вопроса ни разу не касались.

Прошло лето.

Наступила осень.

Листы моей рукописи были сложены в папку, папка –

заброшена высоко на полку. Серая тоскливая пыль оседала на ней месяц за месяцем. Моя литературная карьера, так и не успев начаться, впала в анабиоз.

Как мне тогда казалось – окончательный.

– Она – моя подруга! – кричала я расстроенному супругу. – Человек пристрастный, хорошо ко мне относящийся! Если уж она не смогла осилить множество моих букв, что уж тут говорить о гипотетических читателях?!

– А я уверен, ты написала отличный… – упрямился муж, доводя меня до белого каления.

– Хватит! – орала я. – Всему есть предел! Ты не способен оценить ничего из мною написанного! И слава богу! Можешь не расставаться с иллюзией, что твоя жена – гениальная романистка. Но я – я! – больше и слышать не хочу об «Иерусалиме»!

Хлопала дверь комнаты, я в ярости бросалась на постель – ну что за настырный идиот!

– Слушай, только не наезжай на меня сразу, – осторожно сказала мне уже следующим летом другая моя подруга.

Мы сидели на террасе летнего кафе в Питере.

Медленно, на легких полутонах, теплый прозрачный вечер переходил в молочную белую ночь.

Был один из тех редких, ценнейших для нашей дружбы дней, когда она, давно окопавшаяся в своем европейском углу, и я, застрявшая в моем брюссельском захолустье, пересеклись в городе нашего детства. И будто приехавшие из голодного края, накинулись на любимую грузинскую кухню. Перескакивая, как птицы с ветки на ветку, с одной темы беседы на другую, весело потягивали грузинское сухое домашнее. Домашнее, самое дешевое, будто и не пестовали, не воспитывали нас годами французские мужья, натаскивая на изысканные вина из тамошних, французских же, погребов. Мы болтали, а сами не отрывали любующихся глаз с изгиба Мойки: гармония нанизанных на гранит набережной дворцов, была как музыкальная фраза – гениальная, моцартовская.

– Мм-м? – рот мой был занят хачапури.

Мы по возможности совмещали очарование для глаз и радости живота.

– Твой муж послал мне твой роман, с пометкой «совершенно секретно».

– Чего? – я поперхнулась. – Да как он!..

– Вот об этом я тебя и попросила: не кипятись. В общем, я прочла. Еще неделю назад. Запоем.

– Ну, еще бы! – криво усмехнулась я. – Ты ж мне, как-никак,

«верный школьный подруг»!

– Еще скажи – «фронтовой»! – хихикнула она. – Но попробуй все-таки меня выслушать. «Платон мне друг, но истина дороже». Это все сырое, конечно, однако вполне на уровне.

– На уровне чего? – уставилась я на отражения особняков в речной водице. Мимо, мигая слишком яркими для этого вечера огнями, проплыл туристический кораблик.

– На уровне прочих детективов, которые я читаю, – поддела вилкой острый баклажан подруга. – А я их читаю много. Ты же едешь работать в Белокаменную? Вот и воспользуйся случаем: покажи, что наваяла, нужным людям.

– Вот такое, сырое? – посмотрела я на нее с испугом.

– Да, – отрезала она. – Потому что если ты начнешь его еще жарить-парить-переписывать, то не закончишь ни-ког-да.

И я была склонна с ней согласиться.

С августа месяца начинались съемки моего сериала в Москве. Крупная американская компания пригласила сценариста на съемочную площадку – контролировать процесс. Процесс у меня получалось контролировать, прямо скажем, не ахти. Ну так и телеиндустрия у нас весьма отличается от штатовской. Зато я с огромным удовольствием встретилась со всеми своими московскими знакомцами – ведь в столицу я наезжала еще реже, чем в Питер.

Не обошлось и без дружеских посиделок с М.

– Роман-то накатала? – спросил он, откладывая меню и показывая знаками официанту, что пора бы нас и обслужить. – Или сдулась?

– Почти сдулась, – призналась я. – Но перед этим кое-что все-таки накатала. Помнишь, ты обещал меня свести со знакомым литагентом?

– А… – он кивнул, небрежно вынул из внутреннего кармана пиджака мобильник.

– Машенька, – ласково обратился он к королеве российского детектива, – ты не могла бы мне дать телефончик…

Я замерла: на другом конце трубки была Королева!

«Куда ты лезешь?! – успела я подумать за те пару минут, пока М. с Королевой обменивались новостями. – Где ты и твои бездарные литературные потуги, а где – настоящий детектив?!»

– Вот, – протянул он мне написанный на бумажной салфетке номер мобильника. – Это ее агент и хороший друг Н. Скажешь, что от меня.

– Э… Спасибо, – только и могла ответить я.

Еще неделю я собиралась с духом.

И наконец набрала заветный номер.

Ответивший мужской голос был сдержан и сух. Да, его предупредили о моем звонке. Да, присылайте файл на электронную почту.

И он продиктовал адрес.

Я послала документ с кратким деловым письмом. В письме я просила прощения за «сырую» рукопись. Чтобы довести ее до ума, писала я, мне нужно понять осмысленность всего мероприятия.

И, выдохнув, вернулась на съемочную площадку: волшебное место всеобщего сумасшествия, где четырнадцатичасовой рабочий день не оставляет ни минуты на мрачные раздумья по поводу собственной бездарности.

Однако через некоторое время мне пришел ответ от Н. с прилагаемой к письму рецензией от издательства: по мнению рецензентов, в рукописи, несмотря на необходимые доработки, был потенциал.

В конце мейла порадовала приписка с вопросом: а сколько, собственно, романов в год может писать данный автор?

Мне пришлось признаться Н. – данный автор романы писать не собирается. Он вполне счастлив написанием сценариев. Будущая книжка – лишь возможность застолбить идею, которую я рассчитываю развить в совсем ином формате: телевизионном, а если повезет – и кинематографическом. Н. ответил весьма холодно: понимая мои цели, он все-таки рекомендует мне встретиться, пока я в Москве, с представителями издательства.

Против этого сложно было возразить, и вот – в назначенный час я стояла перед большим серым зданием на окраине Первопрестольной.

Такси уехало, оставив меня под проливным дождем.

Я вбежала внутрь, и тут же получила смс от Н.: он плохо себя чувствует, прийти на встречу никак не сможет. Ниже следовали фамилии двух человек из отдела «мужской остросюжетной прозы», к которым мне следовало обратиться.

Почему «мужской», спросите вы? А потому, что Королева уже многие годы печаталась именно в этом отделе, и Н. было проще заслать рукопись неизвестного автора именно туда.

Я обреченно вздохнула: деваться было некуда. Пройденный путь был слишком долог. Ожидающие меня специалисты по остросюжетной прозе этого не знали, но я была готова к любому развитию сюжета. Только бы поставить уже точку в этой истории.

Едва вырвавшись из-под света софитов в огромных ангарах киностудии, где сотни людей бегали, орали, пили водку и поглощали «кинокорм» (так называется в профессии походная

кухня, привозимая на съемку), я смотрела по сторонам с легкой опаской.

Здесь, в стенах издательства, царила торжественная тишина. Ходили взад-вперед люди с интеллигентными физиономиями.

А я все равно не могла избавиться от ощущения того же огромного муравейника. Просто то, что в «кино» вырывалось наружу, бурлило, плевалось кипятком и ругалось залихватским матом, здесь было спрятано от досужих взглядов. Однако меха раздувались, поршни ходили, станки ни секунды не простаивали. Потаенная работа превращения текстов – в книжки свершалась весьма сосредоточенными людьми с ясными лицами, похоже, вовсе не обезображенными алкоголем.

Двоих из них я встретила в обширном кабинете и привычно принюхалась. Пахло исключительно хорошим парфюмом. Вокруг, бескрайним морем на всех плоских поверхностях, лежали книжки. Обложки отсвечивали в свете галогеновых ламп так, что становилось больно глазам: мужчины в бронежилетах, мужчины с пистолетами, мужчины в костюмах. Рядом стояли, прижимаясь к ним бюстами немыслимых размеров, блондинки, блондинки, блондинки.

Сердце мое упало – я представила свою книжку, однажды изданную, и сразу же затерявшуюся в море-окияне «мужской и остросюжетной».

А я-то думала, что роман поможет обратить на мою историю внимание продюсеров!

Девичьи грезы!

Взгляд мой блуждал от стола к столу, от одного мачо к другому.

– Вы нас слышите, Дарья? – вернул меня к беседе начальник отдела.

Тут, очевидно, стоит рассказать о двух встретивших меня работниках издательского труда.

Ибо они были прекрасны в тандеме.

Один из них – высокий красавец, пепельные волосы лежат романтической волной. Почти Ленский, но с онегинским именем. Поэт. Второй, постарше, с военной выправкой, воплощал в этой слаженной паре прозу. Его я про себя сразу окрестила «Спецкором». Именно он говорил с выражением о том, как важно молодому автору найти свою стезю, как непросто выжить в бушующем мире книжного бизнеса, какую ответственность берет на себя издательство, издавая никому не известного…

– Я – сценарист, – прервала я Спецкора.

Повисла пауза, и я поторопилась пояснить:

– Когда продюсер принимает в работу сценарий, он берет на

себя несоизмеримо большую в материальном плане ответственность, так что…

Они переглянулись.

Что-то пошло не так. «Молодой автор» повел себя, кхм… Нетипично. Наработанная система беседы дала сбой. Отточенный текст пропал всуе.

– Чего вы хотите? – спросил меня, наконец, Ленский.

– Какой у вас рекламный бюджет? – ответила я вопросом на вопрос.

Вопросом, который мучил меня все последние полчаса – с тех пор, как я вошла в кабинет и потонула взглядом в остросюжетной мужской прозе.

Ленский кашлянул и назвал сумму.

Я наконец-то оторвала взгляд от мускулистых мачо на обложках и уставилась на завотделом. Не нужно было иметь моего опыта в рекламе, чтобы понять: сумма смехотворная. Похоронные деньги для моей будущей книжки.

– Я могу что-нибудь сделать, чтобы изменить эту сумму в сторону повышения?

Ленский смотрел на меня с явным любопытством: странноватый «начинающий автор» вздумал торговаться.

Но ответил:

– Вам нужно написать еще один роман. Тогда речь пойдет уже о совсем других суммах. Будет реклама в метро, в Интернете и в местах продаж – в книжных магазинах.

– Хорошо, – сказала я, вставая. – Я напишу вторую книжку.

Выходя из издательства, я ругала себя последними словами: кто тебя за язык-то тянул?! Но после увиденного в отделе «мужской остросюжетной» я не могла лишить свой роман рекламной поддержки. Это было мое дитя, и если «Небесному Иерусалиму» нужна путевка в жизнь – так что ж! Я сделаю для него все, что смогу.

Именно это я изложила, не без патетики, своему московскому приятелю В. – он, добрый самаритянин, притащил меня на балет в Большой театр. Отойти, так сказать, заскорузлой после киношных трудодней, глядя на прекрасное.

– Эротические сцены есть? – лениво процедил В. в ответ, и я уставилась на него, мигом растеряв всю патетику.

– Чего? – спросила я грубовато, еще не успев пообтесаться в театральном фойе средь чистой публики.

– Мужская проза. Значит, в какой-то момент должна быть эротическая сцена. И в романе один, и в романе два. Да позабористей! У тебя имеется?

Я покачала головой: он был, конечно, прав.

Многочисленные блондинки на глянцевых обложках «мужской остросюжетной» мне на это недвусмысленно намекали. Я закручинилась: это в сценаристике «эротическое» можно было отдать на откуп режиссеру с оператором, озорным ребятам с яркой половой жизнью.

Но роман…

Роман предполагал мою полную вовлеченность в процесс. «А ты думала, бедная крошка, что самое тяжелое – описание пейзажей?» – спросил меня, хихикнув, мерзкий внутренний голос.

Забегая вперед, признаюсь. Я сделала это.

Две эротические сцены, по одной на роман.

Для начала я заново проштудировала всю наличествующую литературу с эротическим уклоном: от «Темных аллей» и «Лолиты» до «Волхва» Фаулза. Затем пролистала творения коллег-детективщиц, вполне себе бодро ваяющих описания бешеной страсти.

Однако «эротическая мысль» упорно не рождалась.

Сдавшись, я начала рассылать трепетные письма бывшим мужчинам и нынешним друзьям, с просьбой подсказать тему и тональность.

«Ну что вам стоит? – жалостливо канючила я. – Какая-нибудь личная история? Что-нибудь вокруг грудей, колен и ягодиц? Вы же все – начитанные парни с высшим образованием и богатым опытом? Ау!»

Из присланных мне ответов можно было бы составить юмористический очерк, попадались даже предложения из серии «давай я тебе лучше покажу». Отклонив последние, я с мрачноватой решимостью придвинула к себе клавиатуру. И да, нет тех крепостей, которых не взяли бы большевики!

Но вернемся в фойе Большого.

– Ну-ну, не дрейфь! Эротика – это ж потом, – кивнул приятель, поняв по моему лицу, что меня необходимо подбодрить. – Когда будешь хотя бы приблизительно знать, что напишешь во втором романе.

Я отмахнулась: что писать во втором романе, я как раз таки знала. Поэтому так легко и согласилась. Ведь у меня уже была история, почти готовая – та самая, «слишком интеллектуальная для массового зрителя», отвергнутая телевизионным каналом. Да, героине было 35, имелись сцены с дедом и ребенком, а также интрига с бывшим мужем, но… Но если можно было превратить в свое время Машу в Анну, значит, и кульбит в обратном направлении тоже вполне реален!

И я засела за работу.

Никаких мук, как в случае с «Иерусалимом», я не испытывала, а шла к своей цели тараном: передо мной был экран компьютера и распечатанный сценарий. Я резала, дополняла, меняла местами, переписывала.

Обычная, банальная работа. Знакомая, «как губам – имя собственного ребенка».

Через пять месяцев, я послала в издательство готовую рукопись.

Вскоре пришла рецензия: «Рукопись читабельна, с неплохой картинкой. Текст в целом динамичный, увлекательность присутствует».

Я зависла над мейлом: э?!

«Увлекательность присутствует»? «В целом динамичный»? Это комплименты или завуалированный способ попрощаться с очередным графоманом?

«Поздравляю с прекрасной рецензией!» – начинался мейл Н. (ныне уже моего официального литагента), пришедший двумя часами позже.

Наверное, все-таки комплименты, сказала себе я.

Занятно, насколько иначе делаются дела в сценаристике – мне приходилось получать восторженные письма, полные прилагательных в превосходных степенях «гениально, Дарья, ге-ни-аль-но!», и заканчивающихся: «К сожалению, принять сценарий к производству на данный момент не представляется возможным».

А тут, гляди-ка: патрицианская сдержанность, но еще пара недель – и текст уже прочитан «руководством» (интересно, кто это?), а решение об издании – принято.

Об этом завредакцией написал мне ближе к апрелю. Мейл завершался так: «Как вы знаете, название книги поменяется. Мы предлагаем такое: «Предчувствие холода».

А?! «Как я знаю» – что?!

Но позвольте… Ничего я такого не знаю!

Ребята хотят поменять название? Мое прекрасное, звучное, волшебное название – «Небесный Иерусалим»?! На нечто абсолютно абстрактное и не имеющее никакого отношения ни к тексту, ни к интриге? Почему тогда не «Движение с юга» или «Разборки на севере»?!

Примерно эти незатейливые мысли я и попыталась донести до Ленского со Спецкором. В результате многочасовых обсуждений мы пришли к консенсусу: книга будет называться «Призрак Небесного Иерусалима».

– Дарья, вот видите, вы достигли компромисса с

издательством. Теперь-то довольны? – сказал мне мой многомудрый литагент – человек необыкновенного терпения и такта.

Я хмыкнула: довольна я была бы, если б книжка сохранила свое первоначальное название.

Но я и не подозревала, что ждет меня впереди: бои велись одновременно на нескольких фронтах. Обложка книги, редактура (следовало выкинуть все милые моему сердцу «мелодраматические» вставки), название авторской серии…

Мне и самой была смешна моя глупая принципиальность. Богатое воображение с легкостью позволяло представить лица Спецкора и Ленского, когда они видели в ящике очередное письмо от девицы из Брюсселя: бедные, бедные! Я понимала, что веду себя как истеричная барынька: будто и не закалялась годами сталь в общении с продюсерами и редакторами федеральных каналов.

Впрочем, как оказалось, между редакторами телеконтента и редакторами издательства существовала общность взгляда по одному пункту.

Из письма Спецкора: «Дорогая Дарья! Очень приятно, что вы стараетесь внести посильный вклад в разработку художественного оформления своих будущих книг (перевод: «Как же вы нас уже достали!»). Мы это приветствуем, как приветствуем любые свежие идеи, проникающие внутрь нашего тяжеловесного, утомленного сотнями проектов креатива. (Боже, благослови его такт!) Но название серии «Зона для умных» – опасная маркетинговая ошибка. Эдак мы с вами вообще без покупателя останемся. Слово «интеллектуальный» не должно встречаться в принципе. Оно отпугивает потенциального читателя».

Отпугивает? Ну и ладно!

К этому моменту я уже почти полностью утратила чувствительность. Да хоть «Сказки Златовласки» – мне все равно!

Быстро прошло и обсуждение «творческого псевдонима».

– Вы какое фамилиё хотите?

– Мне до лампочки, – вздохнула я. – Обзовите хоть Селедкиной, только давайте уже издадимся!

– Ну зачем же Селедкиной? – удивились в издательстве. – У вас по мужу красивая. Пусть будет.

Пусть!

И вот – контракт подписан и даже получен аванс, и я жду открытия занавеса.

А теперь, пользуясь волшебной силой воображения, переместимся в кабинет Большого Начальства издательства, назовем его БН. Итак, БН сидит за столом, перед ним – график

рекламных акций за полгода. И тут он видит странную сумму напротив неизвестной фамилии с претензией на французскость.

– Кто это? – хмурится БН. – Откуда бюджет на рекламу в метро?

– Новый, перспективный автор, – бодро, я надеюсь, отвечает Ленский. – Есть уже два романа.

– Два романа мало, – говорит БН. – Ишь, каждому, кто два романа написал, рекламные площади раздавать! Этак издательство разорится вовсе к чертовой матери! Пусть ваяет еще один. Вот тогда и поглядим.

Именно эту новость принес мне в клюве мой литагент.

Осторожно, явно опасаясь за мое душевное здоровье, он объяснил расклад: либо мы издаем «Иерусалим», как и хотели год назад – вне серии и без рекламной поддержки, либо…

Ну, вы поняли.

Меня охватило «предчувствие холода» одновременно с «предчувствием жара»: яду мне, яду! А точнее – бургундского!

– Буль-буль! – привычно донеслось с кухни.

Но даже этой радости я была теперь лишена – пятый месяц беременности прервал мой возможный алкоголизм на излете.

Бокал предназначался для мужа.

– Я советую вам все же написать третий роман, – с отеческой лаской сказал мне Н. – Ну что такое еще год?

И я не могла с ним не согласиться.

Что такое еще год в этой бесконечной истории?

И еще год. И еще.

Наверное, эту рукопись просто положат со мною в гроб.

– Я рожу, – призналась я. – Я рожу – и мне будет не до романов. Кроме того, как я могу быть уверена, что они выполнят обещание? Вон, Ленский тоже сулил мне небо в алмазах…

– Ленский – не Большое Начальство, – резонно заметил Н. – А Большое Начальство слов на ветер не бросает.

– Нет, – сказала я, поглаживая живот. – Нет, и нет, и нет! Баста! Финита ля комедия!

– Как скажете… – ответил Н. и, попрощавшись, повесил трубку.

– Жалко, – сказал муж, выжимая мне свежий сок. – Столько сил потра…

– Сейчас запущу в тебя соковыжималкой! – пригрозила я. – Алкоголя мне уже нельзя, так что на его благотворное влияние рассчитывать не приходится. На твоем месте я бы исключила эту тему из семейных бесед.

– Ладно, – вздохнул муж. – Пей.

И я пила.

Пила соки и ела, ела, ела. Округляясь одновременно повсюду.

Параллельно этому процессу я заканчивала работу над двумя сериальными проектами. Подразумевалось, что где-то за месяц до «дня Х» я выйду в честный декрет и начну гулять, слушать птиц, нюхать розы и улыбаться блаженной улыбкой, как и положено беременным.

А пока передо мной требовательно светился экран и я продолжала складывать буковки в слова.

И тут мне позвонил сам БН.

Надо сказать, меня заранее предупредили о высоком сеансе связи, и потому в назначенный час я уже сидела перед глазком камеры – кое-как накрашена и причесана, живот скромно спрятан под стол.

– Я обычно не звоню еще не издававшимся авторам, – взял с места в карьер БН. – Но я тут прочел ваш первый роман: сильная вещь, сильная. Мне понравилась. В вас есть потенциал. Будет жаль спустить его… Сами знаете куда. Так что решайте: напишете третий – будет вам реклама и полный промоушен. Это я вам лично говорю, чтобы не возникало никаких сомнений.

Я промямлила что-то неопределенное.

Беседа наша смахивала на сцену из галантного романа, где опытный царедворец охмуряет невинную пастушку, но «боги, боги мои», как не отреагировать на такой напор?

В конце концов, где я – бедная овечка, а где – совладелец крупнейшего издательства, книжный, понимаешь, магнат?!

Кроме того, беременные женщины так восприимчивы…

Магнат ничего мне не пообещал сверх того, что мне уже было обещано, но этим звонком дал «свежему автору» ощущение собственной исключительности, и я проглотила наживку.

«Уж сколько их упало в эту бездну» – об этом я старалась не задумываться.

Стало ясно, что если не попробую, не добью эту историю, не напишу третий уже по счету роман и сойду с дистанции, когда финишная лента – вот она, такая близкая, уж полощется на ветру, – то никогда себе этого не прощу.

И я ушла в декрет, родила, кормила новорожденного сына в той блаженной взвеси, почти в невесомости, которую могут дать только бесконечное счастье, помноженное на бесконечные же бессонные ночи.

Я не подходила к компьютеру, но много читала, и в полусне, замерев рукой на колыбели сына (доставшейся нам еще от бабки

моего мужа – ивовой, плетеной, на деревянных колесиках), продумывала третий роман.

Я заказала себе кучу книг на английском и французском – по истории Фландрии, истории ювелирного дела и по британским кладам. И еще через пару месяцев начала потихоньку писать, уже не вспоминая ни о каких сценариях, а с удовольствием отдаваясь процессу романописания – на сей раз не нервно-рваному, прерывистому, на пределе времени и сил, а ровному и мерному, как движение той самой колыбели.

Так прошло еще полгода.

Тем временем Москва не дремала – большое начальство на том чепуховом основании, что я принадлежу-таки к женскому полу, перевело меня из отдела «мужской остросюжетной» в отдел «женского детектива».

Мальчики из «мужского», уверена, вздохнули с облегчением.

Я же пригорюнилась, успев за эти долгие месяцы с ними сродниться.

Глава же отдела женского детектива внушала мне священный трепет: благодарные авторы посвящали ей романы и целые главы в мемуарах. На литературном детективном Олимпе заседали выведенные ею «в люди» опытные беллетристки с миллионными тиражами. И потому Р. (редактор с большой буквы, сами понимаете) выиграла со мной войну, даже ее не начав.

Что сказать? Настоящий профи.

Пока я сладострастно резала и выбрасывала из двух первых романов все вымученные мной эротические сцены (ведь в отделе «для девочек» эротика не была обязательным условием), Р. подготовила с художником обложку к «Призраку Небесного Иерусалима». И – о, чудо! Там не было ни мужчин в бронежилетах, ни блондинок. Она была именно такой, о какой мне мечталось.

– Вам нравится? – спросила Р.

– Она дивная, дивная, дивная…

– И вот еще, Дарья, по названию серии: мы сошлись на «Интеллектуальном детективном романе». Годится?

* * *

Что добавить мне эпилогом к вышеизложенному?

Что БН. не соврал, и рекламная кампания моих книг действительно заполонила столичный общественный транспорт? Что пара крупных продюсеров боролись за права на производство сериала по моему роману – и вот уже я снова пишу, и снова

сценарий, эдакое дежавю, но теперь с той героиней, с которой хочу, со сложной фамилией и характером? Что сериал выйдет на Первом канале? А пока по Москве уже бегают ребята с квестами по «Призраку Небесного Иерусалима», а я в это время сижу в Останкино и даю интервью, тщетно пытаясь сказать что-нибудь умное…

А еще у меня есть читатели – которые меня то хвалят, то ругают на чем свет стоит.

И я, конечно же, верю последним.

«Что за фамилию претенциозную придумали – Дезомбре? Фу!»

«А ничего так, живенько!»

«Ужас, ее, наверное, кто-то продвигает, как такое можно печатать?!»

«Обожаю такие сюжеты: убийства, мистика, загадки прошлого, тайны, о которых знают только избранные! Аж мурашки по коже…»

Ну, и напоследок:

«Алё, гараж! Кое-кто обещал друзьям эротические сцены? Ну и где они?!»

Концептуально!
Ольга Карпович, актриса, писатель, сценарист, член Союза кинематографистов

Родилась и выросла в Москве, окончила ВГИК, работала в кино и театре. С детских лет ее любимым занятием было наблюдать за людьми, подмечать особенности их характеров и пытаться оживить их на бумаге. Радость человеческого общения, разговоры по душам, случайно подмеченные сценки из жизни, знаковые встречи – все это лучшие вдохновители для творчества, высшая жизненная ценность, дарованная нам судьбой.

– Как бы это выразить поточнее? Ну, чтобы вы меня поняли? Я хочу, чтобы картинка ожила, вы понимаете? – Глаза нашего нового знакомого, представившегося Артуром, вспыхнули жадным огнем.

Он решительно отодвинул кофейную чашку – кофе выплеснулся на скатерть, по белому полотну расползлось коричневое пятно.

– Это новый метод совершенно, я его сам придумал… Зрителю ничего не надо объяснять, он в итоге должен сам все понять. Это концептуально.

Официант, проходивший мимо нашего столика, услышав звучное слово, покосился на нашу компанию с интересом.

– Мне нужны неизвестные авторы, не раскрученные, не избалованные славой и деньгами… – продолжал Артур. – Тогда мы сможем сработаться и воплотить, так сказать, в жизнь мою идею. А она того стоит, можете мне поверить! Я все рассчитал до мелочей, я по образованию физик. Так что все споры относительно моей концепции отклоняются заранее, вы меня поняли?

На этих словах мы с Вероникой, прослушавшие с угрюмой покорностью монолог нашего работодателя, совершенно поникли. Мимолетный, но весьма красноречивый намек на «авторов, не избалованных славой и деньгами», говорил нам, профессиональным доработчикам и литературным рабам, лишь о том, что гонорар будет выплачен нескоро и составлять он будет, по всей видимости, небольшой процент от того, что мы себе

намечтали, спеша на встречу с этим «новопроходцем от кинодраматургии».

Я, как всегда, не выдержала первой и спросила прямо в его глубоко посаженные немигающие глаза:

– Артур, мы с соавтором все поняли. Сколько вы планируете нам заплатить?

Артур, наш заказчик, весь как-то скукожился, стал еще уже в плечах, и лицо его совершенно утонуло в объемистой кепке, которую он, следуя киношной моде, натянул на свою плешивую голову. Он хитро прищурился и изрек:

– Эм-м… это уж сколько заслужите, как будете работать…

– Значит, так, – отрезала начинающая терять терпение Вероника. – Артур, вы обратились к профессиональным людям; какие бы они ни были «неизвестные и непризнанные», они тем не менее хотят получать достойную, соответствующую своей деятельности оплату. Это не обсуждается. Мы тоже мыслим концептуально и споры относительно нашей концепции отклоняем заранее.

– Да, Артур, – приосанилась я, буквально кожей ощутив, как «головняковый» заказчик уплывает от нас, как стерлядь в бурлящей реке, срывается с крючка, и есть большая вероятность того, что уйдем мы отсюда несолоно хлебавши. А это значит, что плакали мои планы относительно оплаты кредита, что само по себе было просто ужасно…

– Артур, дорогой вы наш, – продолжила я гораздо более мягким и вкрадчивым голосом, – мы работаем в кино довольно-таки давно. Работаем в паре. Поэтому гонорары делим пополам. Вы понимаете? Не можем же мы голодать, ваяя ваш, несомненно, гениальный сценарий. Нам же еще семьи кормить надо, – трагическим голосом закончила я.

– Поэтому я из тысячи претендентов и выбрал вас, талантливые вы мои… – произнес Артур торжественным голосом, – за то, что вы такие непосредственные – не то что эти мастодонты от литературы! С ними ни о чем никогда нельзя договориться…

Артур презрительно скривился, как будто за каждым столиком этой дешевой кафешки сидело по литературному мастодонту, не желавшему иметь с Артуром никаких дел.

– Ваш проект, – продолжала заискивать я, одним глазом косясь на покрасневшую от негодования Веронику, – ваш проект, безусловно, нас очень заинтересовал. Вы абсолютно правы: это новое слово на нашем сериальном поприще… этого еще никто не снимал – подумать только, 12 серий с главным героем-слепым… это что-то!!! Но и вы поймите нас, Артур, мы работаем прекрасно,

материал выдаем без задержек. К сожалению, мы не можем похвастаться теми работами, которые были сняты по нашим сценариям…

– Да, и не можем сказать – по условиям контрактов – чьи фамилии там стоят вместо наших, – вставила свое слово Вероника.

– Но поверьте: это хорошие работы, тем более что развернутый синопсис к экранизации этой пьесы, вашего детища, мы уже вам выслали, и он, как вы говорите, вам понравился, – продолжала умасливать заказчика я.

– И заметьте: мы сделали эту работу абсолютно бесплатно, – не осталась в стороне Вероника, так как финансовая часть вопроса волновала ее не меньше, чем меня.

Этот диалог трех купцов на арабском базаре, самая натуральная торговля, продолжался еще примерно час.

Надо сказать, мы с Вероникой порядком притомились: она, как натура более жизнестойкая, еще боролась за свое право на гонорар, я же не хотела уже ничего.

С деньгами у меня отношения всю жизнь не складывались.

Я никогда не могла удержать их, и сейчас, внутренне махнув и на предполагаемые три месяца работы, и на деньги, на которые так рассчитывала, хотела только одного.

Домой. К маме.

И давно, наверно, просящейся на улицу овчарке.

Те перипетии судьбы, которые занесли нас – профессиональную актрису, то бишь меня, и профессионального литератора Веронику, между прочим, окончившую Литинститут с красным дипломом, – этим промозглым вечером на встречу с мутным начинающим режиссером Артуром, который сам не знал, чего хотел, стоит описать отдельно.

Описать, как я, к примеру, решила вновь заняться своими умозаключениями на бумаге, и каким непостижимым образом одно из крупнейших издательств купило мой роман, и как потом я познакомились с Вероникой. И как эта достославная встреча нам обоим существенно улучшила жизнь.

К тому времени я забросила идею театра и не хотела попадаться в эту ловушку больше ни за что и никогда, поэтому, по сути, была безработной. Но глаза мои горели волчьим огнем, ибо море кредитов бушевало за моей спиной, а в кино меня снимали не так часто, как бы того хотелось. Поэтому-то я и решила стать сценарным рабом, отправляя свои рецензии, аннотации, синопсисы повсюду, куда только можно. Купленный

издательством роман служил мне достойным резюме.

Однако задирать нос я ни в коем случае не могла, ибо роман был куплен, но не издан. Забегая вперед, скажу, что в первозданном виде он так и не увидел свет.

Но не о том речь.

Итак, в эти смутные дни я познакомилась с Вероникой на одном из сайтов, где заседают и вечно грызутся режиссеры, сценаристы и прочие непризнанные гении пера. Мы с ней встретились в реале, съели две коробки пиццы и остались вполне довольны друг другом. Договорились, что в сценарной поденщине мы теперь подельники, и поклялись поддерживать огонь в братских (точнее, сестринских) сердцах друга друга вечно.

Вероника мне понравилась – умная, резкая, глубоко образованная девушка – это меня особенно пленило, ибо я была и остаюсь самоучкой, имея всего лишь официальное актерское образование. А в киношной среде ремеслу сценариста можно выучиться лишь исподволь, тихой сапой, наблюдая за людьми и почитывая опусы первокурсников со сценарных и режиссерских факультетов.

Вероника была решительно настроена на сотрудничество и на благородный и честный отъем бабла у жаждущих написать шедевр, но не знающих как это сделать графоманов.

Наша встреча с Артуром была предрешена.

Он, как и многие из его племени, заседал ночами на тематических «сценарных сайтах», где и был пойман в наши сети.

И этим вечером мы обе явились на встречу, чтобы заполучить аванс и в прекрасном настроении отправиться домой, так как время было позднее, все магазины, куда можно было бы зайти и спустить деньжата, на наше счастье, уже были закрыты.

Однако в своих чаяньях мы жестоко ошиблись, говоря современным русским языком – обломались, как две последние наивные салаги литературного фронта.

Артур оказался простым пескарем, а вовсе не жирной вкусной стерлядью, чье мясо так ценится гурманами. Именно пескарем – пронырливым, ушлым и необыкновенно прижимистым.

Вымотанные бессмысленной беседой донельзя, мы с Вероникой все же следовали нашему негласному правилу – не упускать ни одного будущего гения режиссуры без аванса. Взяв пескаря за жабры, мы таки выудили из него жалких тридцать тысяч аванса, про себя одновременно подумав, что ни строчки не напишем свыше этой суммы и что выуженные деньжата являются гонораром за развернутый на двадцати страницах синопсис, не более. Синопсис сценария являл собой, на наш взгляд, маниакальный бред, который мы вынуждены были расписать

посерийно, расчленив прекрасную пьесу американского драматурга на части.

Долго еще разнообразные эпитеты слетали с наших губ, долго мы давились гомерическим хохотом, вспоминая, как мы писали эту муть, буквально скрючиваясь от смеха на каждой фразе…

Дело в том, что молодой гений Артур, не имеющий ни режиссерского, ни сценарного образования, решил присвоить себе авторство давно нашумевшей и ставшей классикой пьесы Леонардо Герша «Эти свободные бабочки». На полном серьезе Артур утверждал, что эту драматическую историю придумал он и ему лично она кажется гениальной.

Мы с Вероникой тогда, в нашу самую первую встречу, чуть не упали со стульев, узнав, что конкретно нам придется переделывать, но наша общая с ней бедность сделала свое коварное дело: покраснев, мы обе промолчали, скромно потупив взоры, стараясь не глядеть друг на друга.

Итак, любезный друг Артур вознамерился распатронить замечательную пьесу аж на двенадцать серий телевизионного «мыла». До этого я и в страшном сне не могла себе представить главного героя – слепого, который постоянно маячит в кадре и с которым, по замыслу Артура, ничего – ровным счетом ничего! – не происходит.

Мало того, хеппи-энд также не был заложен в будущий сценарий нашим работодателем. То есть главный герой, промаявшись вместе со зрителем двенадцать серий, так и остается ни с чем – чуда с ним не происходит и он все так же слеп.

Именно в тот момент мы с Вероникой поняли, что деньги пахнут, и пахнут они иногда наглой бездарностью…

Тем не менее ничего нельзя было поделать с упрямо прущим к своей цели Артуром. На той встрече, когда нам таки удалось выудить у него аванс, Артур пламенно уверял нас, что нашу с ним концепцию приняли нужные люди с Первого канала и, соответственно, сериал будет запущен, как только выделят финансирование.

Вот тут-то у нас начались ночные кошмары.

К Веронике являлся сам Леонардо Герш и скорбно молчал, стоя у изголовья ее кровати, я же видела во сне одну и ту же картинку, прокручивая ее на все лады (этот эпизод был по настоянию самого Артура заложен в сценарий, песенку же я вытащила из глубин подсознания): главный герой, похожий на кота Базилио, идет нетвердой походкой по узкому проходу

дребезжащего вагона электрички и томно наигрывает на скрипочке мелодию из старого мультфильма:

– *Наш Бобби с рожденья пай-мальчиком был… Имел Бобби хобби – он деньги копил…*

На этом моменте я вскрикивала, просыпалась и шла на кухню: успокаивать нервы, курить и смотреть в окно.

Вдохновленные туманными посулами Артура и заверениями, что Первый канал вот-вот выделит ему деньги за первые четыре серии его детища, мы приступили к работе.

Каждое утро я приезжала к Веронике, она к тому времени успевала уже отвести сына в детский сад, и вся ее однокомнатная квартира была в нашем распоряжении.

Начинали мы с просмотра почты. За ночь Артур успевал разродиться ворохом «гениальных идей» по улучшению своего творения, приданию ему еще большей глубины и возвышенности.

– Ну, что он там еще выдумал? – удрученно вопрошала я.

– Сейчас, – Вероника лихо барабанила по клавиатуре. – Ага. Вот: «Пусть Настя работает стриптизершей, но выделяется из череды коллег».

– Настя – это у нас кто? – томно прикрывала глаза я. – Это любовница отца?

– Нет, любовница – Надя. А Настя – это будущая любовь нашего главного героя. Смотри, что он дальше о ней пишет: «Она выделяется из череды коллег. Она умная и не глупая», – Вероника наставительно подняла палец. – «Умная и не глупая», понимаешь? Может, намекнем ему, что это синонимы?

– Бесполезно, – вздыхала я. – Он не знает, что такое синонимы. Еще обидится!

Через пару часов дело начинало двигаться живее.

– Итак, ваяем сцену объяснения с отцом! – объявляла Вероника. – Значит, я пишу: «Входит отец Влада, он несет в руках картину с обнаженной женщиной».

– Погоди, откуда взялась картина? – восклицала я.

– Это Артур вписал в наш последний вариант, – поясняла Вероника. – Отец, говорит, должен подарить сыну картину, которую написал сам. А на картине пусть будет голая баба. Он это особенно подчеркнул, понимаешь? Ну что еще может подарить отец сыну, которого не видел двадцать лет? Только картину с голой бабой!

– Ну ты и язва! И мы по-прежнему не забываем, что сын – слепой! – подхватывала я. – Да, это тонкий момент. Папаша-то шутник, похоже!

– Ладно, давай работать, – отсмеявшись, изрекала

Вероника. – Значит, так, далее: «Здравствуй, сынок! Прости, что не писал тебе».

– А то бы ты непременно прочел, – весело замечала я.

Некоторое время работа двигалась легко и непринужденно, затем мы снова наталкивались на очередное измышление Артура.

– Входит Надя, – диктовала самой себе Вероника. – Тут вот Артур нам пишет, что Надя не любит своего любовника – отца Влада, а просто использует.

– Использует? – возмущалась я. – Как она может его использовать, он ведь у нас продавец в овощной палатке?

– Ну не знаю… может, она капусту бесплатно жрет у него в подсобке, – бодро изрекала Вероника. – Кушать ей очень хочется. Мне, кстати, тоже, так что давай не отвлекаться, будем надеяться, что наш плагиатор при следующей встрече нам заплатит.

В конце концов мы добирались-таки до финальной сцены очередной серии.

«Герои забегают в самолет», – печатала Вероника.

– Откуда взялся самолет? – стонала я. – Случайно стоял в кустах?

– Артур пишет, что в этом нет ничего удивительного, – пожимала плечами Вероника. – Что «Яки» списывали тысячами, и только ленивый, мол, не обзавелся собственным самолетом. Кстати, вот тут он пишет, что у него и самого есть собственный самолет.

– Что-о? – возмущенно вскрикивала я. – У него есть самолет? Собственный? Чего же тогда он нам мозги парит и денег не платит? Да и встречи назначает в каких-то тошниловках? У меня от десерта, которым он нас кормил в последний раз, до сих пор изжога.

– Экономный, наверное, – предполагала Вероника. – Итак, «Влад садится за штурвал и поднимает самолет в воздух». Постой-постой! Но как, как он управляет самолетом?! У него же, я извиняюсь, проблемы со зрением! Небольшие такие проблемы – он абсолютно слепой!

– Может, мы чего-то не поняли? Может, он не совсем слепой, а…

– Наполовину? – едко замечала Вероника.

– Угу. Одноглазый!

– Одноухий, блин! – подводила итог Вероника. – Боже, какой маразм!

В это время обычно начинал названивать Артур: клялся, что звонит с «Мосфильма», что уже беседовал сегодня с предполагаемым продюсером картины, что деньги будут вот-

вот…

– Артур, – устало бросала я. – Вы не могли бы немного повнимательнее вносить свои правки в уже написанные нами сцены? В вашем вчерашнем варианте герой говорит девушке: «Я своими глазами видел, как ты целовалась с другим». Понимаете, он ведь у вас м-м… незрячий. Зритель решит, что вы над ним издеваетесь.

– Ну, я подумал, что это прозвучит просто как фигура речи… – мямлил Артур.

– Артур, – выхватывала трубку Вероника. – Вы мне объясните: у нас там героиня крутит роман одновременно с двумя мужчинами, притом обоих зовут Костями. Это зачем? Какой-то новый стилистический прием?

– Именно так, – важно заявлял Артур. – Это должно символизировать, что героиня все время тянется к одинаковому типажу мужчин. Все, в кого она влюбляется, либо полные идиоты, либо Кости.

– А-аа, – тянула Вероника. – Прямо моя жизнь!

Так или иначе, хохоча, ругаясь, плюясь, матерясь и посылая истошные жалобы жестокой судьбе, мы с грехом пополам накропали первые две серии, кое-как обстряпав все неувязки в предлагаемом Артуром сюжете.

Наступил «день Х» – день, когда мы должны были сдать Артуру нашу работу и получить наконец деньги за труд.

На этот раз Артур назначил нам встречу почему-то на Чистопрудном бульваре. В воздухе ощутимо пахло осенью, между деревьями серело влажное небо, начинал накрапывать дождь. Сквозь мокрую пелену голубые и желтые здания в лепнине выглядели размыто, как на полотнах импрессионистов.

Зеркальная поверхность пруда подернулась рябью…

– Чего это нашему мальчику захотелось свежего воздуха? – настороженно спросила Вероника, пока мы шли к назначенному месту встречи.

– Может, забегаловки надоели? Объелся за последние полтора месяца пережаренной картошкой фри? – предположила я. – Или на романтику потянуло. «Золотая осень в Москве», холст, масло.

– Лично я предпочитаю хлеб и масло, – отрезала Вероника. – Ох, не нравится мне это все…

Артур поднялся нам навстречу со скамейки. Вид он имел встрепанный и измученный. Лицо осунулось, покрасневшие глаза пылали голодным огнем, кепка вымокла под дождем, козырек ее печально обвис.

– Добрый день, – начал мямлить он, поравнявшись с нами. –

Прежде всего я хотел бы вас поблагодарить за сотрудничество. Мне было очень приятно работать с вами, сразу чувствуются люди, не чуждые искусству, имеющие свой собственный взгляд на современный кинематограф…

– Начинается, – тихо хмыкнула Вероника.

– Артур, нам тоже понравилось работать с вами, – любезно улыбнулась я. – И будет еще приятней, если мы снимем наш финансовый вопрос.

– В этом как раз и загвоздка, – не глядя мне в глаза, забормотал Артур. – Дело в том, что эти люди… Митрофанов, он же читал мою заявку, он сказал, что это гениально, новое слово в сценарном мастерстве! Обещал, что сведет меня с нужными людьми на «Мосфильме»…

– Погодите, – прервала его Вероника. – Так у вас нет на руках никакого подписанного договора? Вы же говорили, что проект принят к разработке, что бюджет практически выделен…

– Я говорил, но… Мне не хотелось, чтобы вы нервничали, отвлекались на организационные вопросы. Хотел, чтобы вы занимались только творчеством…

– Не продолжайте! – остановила его Вероника. – Все ясно!

Едва сдерживая ярость, она отвернулась в сторону и нервно закурила.

– Так, значит, вам так и не удалось найти желающих купить ваш проект? – уточнила я. – А как же те деньги, что вы заплатили нам в самом начале?

– Это были мои деньги, мои личные, – взрыднул Артур. – Я накопил, еще дома, в Оренбурге. Собрал приличную сумму. Думал, приеду в Москву, вложу часть своих денег, а потом все окупится стократно! Кто же знал, что здесь все так дорого. У нас люди за восемь тысяч месяц на заводе пашут, а вы только за аванс тридцать тысяч запросили. А еще жить где-то надо, есть… Я этот доширак видеть уже не могу.

– Постойте, так вы совсем без денег остались? – сочувственно спросила я.

Неожиданно для себя мне стало жаль его.

Конечно, нас он, говоря по-современному, кинул, но ведь и сам попал в переплет.

– У меня пятьдесят рублей еще осталось, – гордо заявил Артур.

– А самолет? – обернулась к нему Вероника. – «Як-18», которые списывали тысячами и вы один себе приобрели?

– Честно говоря, – замялся Артур. – Нет у меня никакого самолета. Это один мой знакомый в Оренбурге, бизнесмен, самолет купил. А я рассказал про него, как про свой… ну просто –

чтоб было понятней, чтоб не приплетать лишних персонажей. Мне показалось, это будет…

– Концептуально! – мрачно закончила Вероника. – Ты где ночевал-то сегодня, драматург ты наш недоделанный?

– На вокзале, – признался Артур. – У меня больше нет денег, чтобы платить за комнату…

– Ехали бы вы домой, честное слово, – предложила я. – Попробуйте продать свою идею местному оренбургскому телевидению. Может быть, там найдется инвестор. А потом уже приедете с готовым шедевром покорять Москву.

– Дело в том… – совсем смешался Артур. – Что у меня и на билет денег нет. Не ехать же мне «зайцем».

Мы переглянулись с Вероникой и обреченно вздохнули.

Через два дня мы провожали Артура на вокзале.

Билет до его родного города мы купили ему сами, на собственные деньги. Да еще и собрали в дорогу пакет сухарей и палку колбасы. В конце концов, бабья жалость все же взяла верх над справедливым негодованием. Не бросать же было этого вдохновенного мечтателя одного в Москве, беспомощного и нищего…

Поезд уже фырчал на перроне, в вагоны грузились озабоченные пассажиры. Равнодушная проводница в синем кителе торопливо просматривала билеты.

– Я даже не могу передать, как благодарен вам, – прижал руку к клетчатому пиджачишке Артур.

Отмывшись в Вероникиной ванне и поев досыта, он стал чуть меньше похож на чокнутого бродягу.

– Обещаю, как только будет возможность, вышлю вам все, что должен, почтовым переводом.

– Угу. За колбасу посчитать не забудьте, – скептически заметила Вероника.

– Не сомневайтесь. Я свои долги всегда возвращаю, – дернул тощей шеей Артур. – И я уверен: нас еще ждет плодотворное сотрудничество. У меня много идей!..

– Знаете, Артур, вы попробуйте написать о ваших приключениях в Москве, – посоветовала я. – По-моему, может получиться довольно…

– Концептуально! – снова вставила Вероника.

Объявили отправление поезда.

Артур вскочил в вагон и долго еще махал нам из тамбура кепкой.

Наконец паровоз взревел, поезд содрогнулся и пополз прочь. И вот уже он грохотал где-то вдали, а на опустевшие рельсы медленно опускалась взметенная пыль…

– «Я вам все вышлю почтовым переводом», – протянула Вероника. – А адрес твой он взял?

– Нет, – покачала я головой. – Ну что, подельница, похоже, опять мы с тобой пролетели? Эх, чувствую, посадят меня в долговую яму с моими кредитами.

– Не переживай, я буду носить тебе передачи, – поддержала меня Вероника. – Ну что, поехали, мы же сегодня еще с одним гениальным сценаристом встречаемся. Что там у него за идея?

– Там что-то из старинной жизни, – наморщив лоб, вспомнила я. – Какой-то родовой замок, долг, честь… А, помнишь, это у него в заявке была фраза: «Он стоял на скале, отягощенный достоинством, тянувшим его в могилу!»

– Точно, – кивнула Вероника. – Ну, достоинством, положим, нас не удивишь. Надеюсь, он отягощен еще и кошельком.

Смеясь, мы двинулись к метро, пытаясь укрыться от дождя под одним на двоих зонтом.

Поиски такси
Сергей Литвинов, прозаик

Сергей Литвинов известен как мужская половина литературно-криминального тандема, именуемого «Анна и Сергей Литвиновы». В соавторстве с сестрой написал более 40 книг. Однако он исполняет не одни только элементы парного катания: поддержки, тодесы, подкрутки, выбросы и пр. В сольном репертуаре Сергея имеется немало интересных фигур, в том числе каскады прыжков с последующим уверенным приземлением и длительным красивым скольжением.

* * *

Я немного совершил в жизни поступков, которыми впрямь по-настоящему горжусь-горжусь. Общим числом, наверное, пять. А может, семь. В том числе тот, о котором вам расскажу. Но для начала, дорогие товарищи, давайте, как это принято в литературе (и как необходимо для понимания произошедшего), коротко обрисуем те обстоятельства времени, места и образа действия, что сопутствовали давнему, но столь важному для моей жизни решению. Итак, читатель, прошу за мной, в год одна тысяча девятьсот восемьдесят третий. Почему именно туда? Для меня восемьдесят третий стал годом судьбоносным и ярким.

В том году, весной, я женился – в первый раз и, как оказалось, единственный.

А следующей зимой у меня родился сын – как впоследствии выяснилось, тоже единственный.

И в восемьдесят третьем я круто поменял свою жизнь, сменив не только место работы, но и профессию. Был инженером-электриком и младшим научным сотрудником – стал журналистом.

Но не эти три эпизода моей биографии – женитьба, смена сферы деятельности, рождение наследника – являются объектом моей гордости. Если вдуматься, гордиться тут особенно нечем. Подумаешь, женился, родил ребенка или даже переменил профессию. Кто из нас этого не делал! Нет, предмет моей гордости совсем иной. И событие, после которого моя жизнь ДЕЙСТВИТЕЛЬНО переменилась к лучшему, из другой оперы. Но для начала несколько слов, чтобы обрисовать мое (а также

державы нашей) существование в то довольно далекое время.

И сразу загадаю вам загадку: вот скажите, для чего в восьмидесятые человек, в высшей степени интеллигентный, редактор отдела в центральном журнале, носил с собой в дипломате пустой пакет из-под молока? Тогда уже появилось в продаже молоко «тетра-пак» – в привычных нам параллелепипедах. Так вот, такой использованный пакет, в сложенном виде, мой старший товарищ таскал тогда с собой в дипломате каждодневно. Люди, хорошо помнящие советские времена, думаю, без труда решат эту загадку. А тем, кто моложе сорока, боюсь, придется поломать голову.

А для того чтобы вы прониклись тамошними порядками, давайте и впрямь перенесемся в год восемьдесят третий, где автор этих строк, молодой человек с румянцем во всю щеку, входит в редакцию газеты «Лесная промышленность», находившейся в пяти минутах неспешной ходьбы от Красной площади, на улице 25 Октября (теперь Никольской). Рассказывать историю, почему я прибился тогда именно к этому берегу советской журналистики, долго и неинтересно, поэтому ограничимся констатацией: с восемнадцати своих лет я сотрудничал с этим изданием. Прогремел очерком «Тропа Никиты Александрова» о леснике, что в годы Великой Отечественной повторил подвиг Сусанина. Не гнушался поденщиной о московских выставках и премьерах, писал юмористические рассказы – и вот наконец летом восемьдесят третьего я вошел в этот подъезд, как полноправный, **штатный** сотрудник. Или, как записано у меня в трудовой книжке – и это звание меня наполняет тихой гордостью, – корреспондент. Разумеется, газета «Лесная промышленность» звучала в те годы не так громко, как «Правда». И даже не как «Комсомолка». Но это была тем не менее настоящая, большая, **центральная** газета. И я, как полноправный журналист, получил тогда красные «корочки» (удостоверение) с золотым тиснением ПРЕССА – чем, разумеется, весьма гордился.

Редакция занимала тогда целый этаж в старинном здании неподалеку от ресторана «Славянский базар». Ходили легенды, что она квартировала в помещении бывшей одноименной гостиницы. Именно здесь останавливалась по приезде в Москву чеховская «дама с собачкой», тут навещал ее московский любовник Гуров. Теперь в «нумерах» дым стоял коромыслом – и в самом буквальном смысле тоже. О запретах на курение тогда никто не слышал, и журналисты дымили везде – непосредственно на своем рабочем месте. Исключение составляли начальственные кабинеты, а также обители с преобладанием женского пола:

машинописное бюро, отдел писем и бюро стенографисток. А вообще в газете трудилось тогда немыслимое для нынешних времен количество народу – больше ста человек. И это для того, чтобы выпустить три номера в неделю, каждый объемом четыре «больших» полосы – то есть двенадцать полос еженедельно. Нынче такую площадь забивают три-четыре журналиста. Ну, максимум десять.

Конечно, многие газетные профессии с тех пор, в связи с развитием техники, а также со сменой общественно-политической формации, сами собой ликвидировались. Например, не стало машинисток, перепечатывавших наши опусы на электрических пишмашинках «Ятрань», – а ведь сидели четыре дамы в кабинете, обитом специальным, поглощающим звук покрытием. Канули в Лету стенографистки, что записывали особыми крючочками корреспонденции, что диктовали им по телефону собкоры. Собственные корреспонденты, кстати, имелись во всех основных лесных регионах страны, от Петрозаводска до Сахалина, было их человек пятнадцать. Исчезла с тех пор еще одна журналистская специальность: учетчицы писем – а ведь существовала их целая каста, настоящее украшение любой советской газеты или журнала: как правило, выпускницы школ, абитуриентки или студентки первых курсов журфака. На плечах столь юных особ, низшей редакционной когорты (зарплата – девяносто рублей в месяц) лежала утомительная обязанность регистрировать каждое письмо, приходящее в издание, – а их являлось множество, несколько мешков ежедневно. В дальнейшем эта корреспонденция расписывалась по отделам, и на каждую цидулю, начиная от жалоб на ошибку в кроссворде и заканчивая изобретением новейшей сучкорубной машины, следовало дать в срок аргументированный и исчерпывающий ответ (а не можешь дать – перешли письмо по инстанциям). Имелась и еще одна замечательная специальность – ретушер: милая, в высшей степени интеллигентная дама тушью и белилами вручную улучшала фотографии. Нынче ее вытеснил безжалостный фотошоп. Да, технических работников в издании имелось немало – но и творческих тогда шаталось (шаталось – порой в самом буквальном смысле) по коридорам редакции изрядно. Материалы для газеты поставляли семь отделов, около сорока золотых, серебряных и стальных перьев – не считая собкоров.

И вот глядите: тогдашнее самое молодое перо газеты Сергей Литвинов, свежеиспеченный корреспондент отдела целлюлозно-бумажной промышленности, однажды утром входит в помещение редакции и с трепетом возлагает на стол руководителя отдела Вадима Дмитриевича С. свою первую в жизни критическую

корреспонденцию из подмосковного города Ступина, с тамошнего картонного комбината. Вчера вечером, дома, когда уснула моя юная (но уже беременная) жена, я выводил, в порыве вдохновения, строки, бичующие руководство комбината за то, что гниет под открытым небом исходное сырье – макулатура, за то, что по территории комбината, никем не охраняемой, бродят все кому не лень, а десятки работников предприятия доставляются в медвытрезвитель. Вадим Дмитриевич, в ту пору пятидесятилетний мужчина в самом соку (казавшийся мне стариком), с окладистой бородой а-ля Лев Толстой и намечающейся лысиной, немедленно проглядел мою рукопись на двенадцати листах крупным почерком, а потом произнес слова, наполнившие меня тихой радостью: «Годится», – вывел в углу свою визу: «Машбюро! На «собаке», срочно!» – и огладив свою бороду, проговорил: «Беги за бутылкой». И достал из кармана четыре рубля, заметив мимоходом: «Остальное добавишь сам».

Ах, Вадим Дмитриевич, Вадим Дмитриевич. Сердце мое наполняется тихой радостью, когда я вспоминаю его. Он воспитывал меня и школил, безоглядно делился темами, идеями, задумками, вычеркивал из моих материалов благоглупости и вписывал лапидарные формулировки. Иногда его заносило – например, в упоминавшемся материале о леснике, повторившем подвиг Ивана Сусанина, он украсил мой текст заключительной выспренной фразой: «В Сусаниных у земли русской недостатка нет!» – что случившийся другой мой старший товарищ, Анатолий Яковлевич О., ехидненько прокомментировал: «И в основном они работают в Политбюро ЦК КПСС». – Цену тогдашнему строю и нашему обществу сотрудники газеты знали.

Разумеется, и до того момента, по своей долгой внештатной работе в «Леснухе», я знал, что в стенах газеты порой выпивают. Но раньше, даже если такое случалось, от меня таились. А теперь – мне предлагалось стать если не зачинщиком, то деятельным участником пьянки. Причем с самого утра – часы только вяло подползали к отметке, когда алкоголь начинал продаваться в магазинах Советского Союза легально – к одиннадцати. Но тогда я расценил командирование меня за горячительным правильно – как инициацию, своего рода посвящение. Отказаться было решительно невозможно, предательски, порочно. И я взял Вадимовы четыре «рэ», добавил свои рупь тридцать и (водка стоила тогда пять рублей и тридцать копеек) спустя четверть часа, забросив предварительно в машбюро свой материал, явился назад в отдел с бутылкой «Столичной».

В стенном шкафу нашего общего рабочего кабинета на четверых размещался своего рода бар. Там имелся

полуторалитровый эмалированный бак, ведерный кипятильник (в баке, с помощью кипятильника, в светлые периоды варился кофе) и четыре (по числу сотрудников) граненых стакана. Туда же обычно складировали нехитрую закуску: как правило, бутерброды с вареной колбасой и сыром, покупаемые в «Бутербродной» (расположенной чуть дальше по направлению к ГУМу). Вновь принесенная бутылка помещалась в шкаф, туда поочередно подходили сотрудники, принимавшие участие в мероприятии, и, как это называлось, «остограммливались». Соблюдалось неукоснительное правило: никаких сосудов на виду. Все тайком, незаметно. На поверхности имелся только запах. Но что такое запах – вещь эфемерная. Его к делу не подошьешь – тем более в атмосфере отдела, где все четверо сотрудников курили папиросы и сигареты разной степени омерзительности, от «Беломора» (Вадим) до пижонской «Явы» (я).

Конечно, в свои двадцать три я был по части алкогольных возлияний далеко не девственным. Все-таки высшее учебное заведение имел за плечами. Вкус водки, портвейна, гадкого пива и даже коньяка я познал. Однако семья моя была категорически непьющей: в праздники, в большой компании родители, конечно, позволяли себе пару стопок – но не больше и не чаще. Да и в научно-исследовательском институте (куда я попал после вуза) принимать спиртные напитки в рабочее время, на рабочем месте было категорически не принято. Бухнуть в течение дня являлось прерогативой рабочего класса, от слесарей-сантехников (неутомимых героев карикатур в журнале «Крокодил») до тех же работников леса. Журналисты, как оказалось, также негласно завоевали для себя данную привилегию. Потом я узнал, что «Лесная промышленность» (как и другие советские отраслевые издания, как то: «Советская торговля», «Воздушный транспорт» или «Гудок») была в алкогольном смысле особенной. В ней трудились либо люди, пока не дотянувшиеся (типа меня) до настоящих центральных газет и журналов, а-ля «Известия» или «Труд», либо вышибленные оттуда за различные прегрешения, как правило, связанные с невоздержанием. К тому же специфика газеты, конечно, на ее сотрудниках сказывалась. Попробуй-ка возьми интервью где-нибудь на делянке, при температуре минус тридцать пять! Не захочешь, а стакан пропустишь.

Теперь я понимаю, задним числом, что судьба меня (и старшие товарищи) по большому счету, в смысле пьянства, все-таки хранила. Я работал в отделе бумаги, а целлюлозно-бумажное производство – это вам не сучкорубы и не лесопосадки – технически сложное, наукоемкое. На бумажных фабриках и целлюлозных комбинатах керосинили далеко не столь

вызывающе, как в лесу – да и среди их руководителей не особо было принято корреспондентов московских упаивать. Вдобавок мой начальник Вадим Дмитриевич (и другое газетное руководство) щадил меня, не засылал в те регионы, что славились своим совсем уж безбрежным гостеприимством: в республиках Закавказья, Средней Азии или, допустим, в хлебосольной Чечено-Ингушской АССР я ни разу не побывал. Меня, как молодого, неиспорченного командировали обычно в тихую, интеллигентную Прибалтику, на фабрики братской Украины или в среднюю полосу. Поэтому за четыре с лишним года в коридорах «Лесной промышленности» я все-таки не спился.

Но вернемся в тот самый первый мой день в отделе бумаги, пока в машбюро печаталась моя критическая корреспонденция. В отдел постепенно подтянулись остальные сотрудники. Естественно, каждому было сказано (Вадимом): подойти к буфету. Каждый выпивал, потом спрашивал: «По какому поводу?» Вадим Дмитриевич пояснял: «Новый сотрудник проставляется». Или: «Дебют Литвинова отмечаем». Угощали и дружественных сотрудников иных отделов. Разумеется, бутылка на четверых стала лишь разгонной площадкой. В близлежащий магазин (ласково именуемый «Три ступеньки») снаряжались новые экспедиции. Попутно текла работа, чему выпивка, казалось, не мешала. Вадим сходил на летучку и планерку. Вычитал перепечатанный на машинке мой материал, кое-что подправил, подписал и сдал в секретариат. Подогретый спиртным, в сизых клубах сигаретного дыма, день летел незаметно. Наконец наступил момент, когда дела закончились, почти все как-то незаметно разбежались, и я готов был, вслед за остальными, устремиться домой, в съемную комнату в коммунальной квартире, к молодой жене. Только собрался отпроситься у Вадима, но… Понял, что отпрашиваться не у кого. Склонив могучую голову и возложив бороду на грудь, Вадим Дмитриевич спали-с.

Честно говоря, я перепугался. Подростковые максимы, типа «Сам погибай, но товарища выручай», пронеслись у меня в голове. Что делать, было решительно непонятно. Поразмыслив, я решил обратиться за советом к старшему товарищу (и приятелю Вадима), уже упомянутому Анатолию Яковлевичу, что трудился в отделе лесного хозяйства. Сделав таинственное лицо, я вызвал А.Я. в коридор. Даже не дав мне раскрыть рта, он спросил: «Что, засыпание наблюдается?»

– Да! Как вы узнали? И что мне теперь делать?
– А ты что, уйти хотел?
– Ну да, и рабочий день кончается.

– Так ты дверь прикрой и иди.

Из нашего краткого диалога я догадался, что задремывание моего руководителя в своем кресле далеко не первое. И, как впоследствии оказалось, не последнее.

Ах, Вадим Дмитриевич, Вадим Дмитриевич! Судьба подарила ему несомненный талант писателя, способности творческого руководителя и могучее здоровье. Мальчиком он пережил первую блокадную зиму – что дало ему право усмехаться: «Блокаду пережили, голод пережили – и изобилие переживем». Он был предан газете и вечно придумывал новые темы или, как выразились бы сейчас, акции. А чтобы не сойти с ума от социалистического соревнования семи целлюлозных гигантов или битвы машинистов бумагоделательных машин за снижение массы газетной бумаги, Вадим вел в газете две рубрики. Одна называлась «Искатель» и посвящалась самым разным коллекциям и коллекционерам, от спичечных этикеток до значков. Другая была его особенной любовью. Вадим задумал написать краткие биографии ВСЕХ мало-мальски известных знакомых, друзей и недругов Пушкина, от Бенкендорфа до Языкова. Он добывал редкие книги, переписывался с провинциальными музеями и картинными галереями. По мере готовности публиковал материалы на последней полосе «Леснухи», под рубрикой «На пушкинской орбите» – меня слегка смущало в данном контексте модерновое слово «орбита», но я, щадя авторское самолюбие, об этом никогда Вадиму Дмитриевичу не говорил. Легко можно было догадаться, что профессиональные пушкинисты, составлявшие в те годы замкнутый и суровый клан, работу моего редактора не одобряли, считали целиком компилятивной. В советские времена он никогда бы не смог напечатать свою книгу – но настала свобода книгоиздания, и он выпустил заветный двухтомник. Подарил и мне, с надписью на форзаце своим ясным и красивым почерком: «Когда дедушки не станет, вспоминай наш отдел и нашу дружбу».

Что же теперь остается мне, когда Вадима давно не стало?

Я вспоминаю. И считаю, что ни говори, что советская власть безжалостно к нему отнеслась – начиная от ленинградской блокады и кончая портвейном «Кавказ», которым она его травила. Остается лишь гадать, что и сколько Вадим смог бы сделать, когда бы ни удушающая идеология, которой он (как и все мы) вынужден был служить…

…Поднаторев на ниве журналистики, в восемьдесят седьмом году я перешел из «Лесной» в журнал «Смена». Эта была уже совсем другая лига. Можно сказать, высшая. Но одна напасть, органически присущая, как оказалось, советской публицистике,

присутствовала и там. Ведь как ни вспомнишь, родом из тех времен и мест, умного, славного, доброго, талантливого, яркого человека – так окажется, что он или запойный, или пьяница, или алкоголик. Например, сначала в «Смене» мной руководил Володя А. – молодой человек лет тридцати пяти, высокий, немного нелепый, нескладный. Он и сам писал яркие, умные очерки. И редактировал – дай Бог. И интересные сюжеты, яркие темы выкапывал. И никого никогда в своей жизни, наверное, не обидел. Не подсиживал, не подличал, не врал. Золото, а не человек. Но при этом – пил. Вроде бы понемногу, но каждый день. Никто и никогда не видел его в умат пьяным, но все время он был слегка подшофе.

Кстати, это именно у него в портфеле «дипломат» всегда имелась сложенная в блин своего рода выкройка параллелепипеда – пустой пакет из-под молока. Зачем? К концу восьмидесятых в Стране Советов обнаружились нехватки всего и вся. В том числе – кружек в пивных барах. Тогда принято было в Москве разливать пиво посредством автоматов – опускаешь двадцать копеек, и тебе наливается стакан вонючей жижи. Так вот, кружек в местах разлива оказался дефицит. Чтобы не клянчить заветный сосуд и не стоять ни у кого над душой в ожидании, пока освободится, постоянные клиенты выходили из положения по-разному. Кто-то постоянно таскал с собой пустую литровую банку. А Володя – эстет, рационализатор! – припас складной картонный пакет.

Не знаю, что послужило причиной и связано ли это было с пьянством, но в конце концов Володю от руководства нашим отделом рабочей молодежи отставили. На должность редактора вновь пришел замечательный Валерий Леонидович Г. Почему «вновь»? Некогда он уже трудился в этом журнале. Но до определенного момента. (Об этом, когда мы подружились, он рассказывал сам.) Случилось это лет за семь до его «второго пришествия» на должность. Тогда в «Смену» явился очередной проверяющий из ЦК ВЛКСМ – издание числилось по ведомству комсомола и «молодежное» ЦК было для него формально высшим начальством. Итак, главный редактор повел высокого куратора по кабинетам. Со словами: «А вот здесь сидит редактор отдела, замечательный журналист, поэт Валера ***», – он распахнул дверь, и тут глазам изумленного гостя предстал замечательный журналист и поэт, дремлющий прямо на столе, уткнувшись в недоеденный бутерброд. В результате Валеру из журнала изгнали. Поскитавшись несколько лет в менее ответственных изданиях (в том числе в «Лесной промышленности»), он свою вину, так сказать, искупил и был возвращен в «Смену».

Валера на долгие годы стал моим старшим товарищем, наставником и учителем. Болезненно полный, но не рыхлый, а плотный, меньше всего он походил на поэта – каким его представляют в массах: эфемерное, вдохновенное, кудрявое существо. Однако стихи Валера писал хорошие – раз в год «Смена» публиковала подборку его лирики. Писал он и на злобу дня, на внутриредакционные темы. Помнится, в одни из моих именин посвятил четверостишие:

Тридцать три исполнилось Сереге.
Ближние и дальние в тревоге:
То ли с печки спрыгнет этот росс,
То ли вознесется, как Христос!

Писал и на заказ – если, допустим, заместитель главного редактора хотел блеснуть пиитическим талантом на дне рождения своего зубного врача. Но, помимо поэтического дара, журналистом и редактором Валера был изрядным. Сам очерков в ту пору уже практически не писал – ему хватало врезов к нашим материалам, правок, подписей под фотографиями. Но он придумывал темы, находил новых авторов, бесконечно возился с чужими материалами, правя и улучшая текст. Помню, однажды, по прочтении моего очередного очерка, он молвил задумчиво и грустно: «Что ж, тебя я уже всему научил, теперь можно и умирать». Конечно, я запротестовал: «Научить-то научил, а умирать зачем?» – однако Валера тогда как в воду смотрел: года через три его, бедняги, не стало.

Умный, добрый и чуткий, и в то же время пробивной и дельный, Валера был всем хорош, когда бы ни извечная болезнь многих советских поэтов (и журналистов), начиная с Твардовского. Раза два в год, обычно весной и осенью, он неожиданно брал отпуск «по семейным обстоятельствам». Запирался в квартире. Многочисленные друзья (к которым вскорости присоединился и я) по очереди приезжали и бегали ему за водкой. Валера сидел в одних трусах и читал стихи, свои и чужие. Через неделю целых десять дней он приходил в себя: принимал душ, тщательно брился, повязывал галстук или шейный платок и, благоухающий одеколоном, благостный и освеженный, возвращался на службу.

В «Смене» тогда работало много талантливых журналистов. Они, как и в «Лесной», делились, как правило, на две категории: одна (меньшая) – карьерист и себе на уме. Другая – талант, бессребреник, но, как правило, пьющий. Отделом творческой молодежи руководил, к примеру, Андрюша К.: красавец, умник,

выпускник ГИТИСа и автор пьес, личный друг многих режиссеров и артистов, от Марка Захарова до Ярмольника и Догилевой. Он в свои тридцать лет разъезжал тогда на личном автомобиле «Москвич-2141», и это в конце восьмидесятых выглядело так, как если бы сейчас он владел вертолетом.

Спустя годы мы сойдемся с Андрюшей поближе, и я узнаю, что он, оказывается, подвержен тому же недугу, что и Валера. Страдал он им реже, но в гораздо более тяжелой форме – как говорил мой знакомый врач, «с выходом». Эскапады его были вызывающими. Как сейчас помню Андрея возле его подъезда в генеральском доме – без тапочек, но в розовых носках.

Сейчас, по прошествии как минимум четверти века, я задаю сам себе вопрос: почему же мы все тогда, журналисты, так вдумчиво пили? И причин нахожу несколько. Одна из них: работа наша была тогда, что ни говори, не бей лежачего. Времени свободного оставалось вдоволь. Судите сами: в «Лесной промышленности» норма выработки для корреспондента вроде меня составляла пять статей – нет, не в неделю, как порой приходится выдавать современным газетчикам, а в КВАРТАЛ, то есть в три месяца. Конечно, считалось (да так оно, как правило, и было), что мы тщательно работаем, проверяем и перепроверяем все цифры и факты, но чересчур загруженными назвать нас все равно было трудно.

В «Смене» я тоже от натуги не переламывался. От меня требовалось выдать один очерк в месяц. Да, для этого необходимо было съездить в командировку на неделю, затем добрать информацию в Москве или по телефону – но это, видит бог, было несложно.

Вторая причина того, что в замечательном Советском Союзе в семидесятые-восьмидесятые годы многие люди, прямо скажем, спивались, заключалась в том, что занимать свое свободное время было нечем. Для примера: как рассказал мне поэт (и бильярдист) Игорь Шкляревский, в столице в те годы имелось лишь четыре бильярдных стола. Не клуба, а именно – стола. Действовал один боулинг, в Измайловском парке. Еще один был для иностранцев, при гостинице «Космос». В кино случалось три-четыре интересных премьеры в год, и ровно столько сериалов показывало центральное телевидение. Театралы по десять раз обсасывали премьеры на Таганке – а кроме нее да театра Ленинского комсомола интересного на сцене не случалось.

Тяжкой работой, пахотой мало кто себя занимал: ради чего? Все равно не разбогатеешь, а даже если вдруг разбогатеешь – куда деньги девать? Чтобы себя занимать, люди ударялись кто во что горазд. Пышно расцвели разнообразные хобби. Техническая и

политэкономическая интеллигенция массово ходила в походы: в горы, на байдарках или пешком. В одну экспедицию шли на майские праздники; второй, главной, – посвящали отпуск. В октябре, на отгулы, отправлялись в третий поход, а в промежутках, зимой, надо было чинить оборудование и снасти, доставать тушенку и копченую колбасу, монтировать любительские фильмы и писать отчеты о пройденных верстах.

Другие – те, кому посчастливилось заиметь шесть соток в дальнем пригороде, – погружались в сельское хозяйство и обустройство дачного дома, для которого ничего не продавалось, а все следовало, как изящно выражались, «достать» – то есть либо у государства украсть, либо перекупить ворованное. Встречались и совсем экзотические хобби. Например, когда я короткое время служил в НИИ, в отделе рядом со мной сидела пожилая дама, старая дева, посвятившая всю свою жизнь Георгу Отсу (к тому времени уже умершему). Она собирала все его пластинки, интервью, переписывалась с такими же, как она, оголтелыми.

Многие открывали в себе артистические таланты и посещали многочисленные народные театры и театральные студии. Иные, я в том числе, ходили в студии литературные, которые в столице имелись при каждом мало-мальски значимом Доме культуры, не говоря о тех, что функционировали при Союзе писателей или журналах «Юность» и «Крокодил». (Другое дело, что, уйдя в профессионалы, я, например, эти студии немедленно бросил.) Словом, недозагруженные (как правило) на основной работе, советские люди активно искали себя в хобби. А иные «заболевали (как строго писалось в газетах) вирусом вещизма и приобретательства», то есть доставали (а все на свете требовалось, напомню, именно достать) для украшения жилища мебельные гарнитуры, хрустальные люстры, ковры или хотя бы даже книги.

У журналистов хобби, как правило, не было. Вадим с его Пушкиным – редкое исключение из правил. Может, поэтому они (мы) столь часто заполняли свой немереный досуг водярой и портвейном.

А может, ларчик открывался проще. И причиной профессионального алкоголизма было то неловкое обстоятельство, что в пьяном виде легче было продаваться. Я хорошо помню, как в каждую статью в буквальном смысле требовалось обязательно вписывать подходящую случаю цитату из К.У. Черненко и как после его кончины спешно меняли его на Ю.В. Андропова. А потом – какое ликование было, когда Горбачев, едва пришел к власти, это требование отменил!

Как бы там ни было, но к концу восьмидесятых, освоившись в

журналистике и прикрываясь перед собой, домашними и начальством замечательным щитом: «А что – я? Я, как все», – я стал керосинить, можно сказать, ревниво и вдумчиво. Постепенно начались тревожные звоночки. К примеру, однажды я собрался посидеть, поработать над очерком – который и впрямь требовалось сдавать, – а вместо этого попал на квартиру к своему начальнику Валере, как раз начавшему очередной отпуск по семейным обстоятельствам, и разделил с ним его одиночество. В другой раз мы с товарищами из редакции вдруг сорвались на ВДНХ (куда, по слухам, завезли немецкое пиво) – пива не нашли и вместо этого в чьем-то коммунальном жилище до четырех утра давились водкой (а бедная моя супруга сходила в неведении с ума). Однажды меня даже вызывал в свой кабинет и по-отечески отчитал за выпивки главный редактор «Смены», которому я дал тогда честное благородное слово больше не пить в помещении редакции. На что мои друзья-собутыльники, которым я о политбеседе поведал, сказали, что будут меня теперь высовывать из окна в туалете, чтобы я мог пить *вне* стен редакции – ха-ха-ха.

Советская империя близилась к закату. Гудели ветра перестройки. Из магазинов к той поре исчезло все. Водку стали давать по талонам – но нас это не останавливало.

Потом случился путч. Горбачев сказал в Форосе: «Мы летим в другую страну». И страна и впрямь менялась – это чувствовалось всей кожей.

И вот, вскоре после путча, осенью девяносто первого года я оказался на поминках по моему другу журналисту Сереге Р. Он умер молодым, но, нет, совсем не от водки. В восемьдесят шестом, когда рванул Чернобыль, Сережа Р. пошел в ЦК и попросился добровольцем в ликвидаторы. Делал под Припятью многотиражную газету. Хватанул свою дозу и пять лет спустя сгорел от почечной недостаточности. Умер он молодым, всего на пару лет старше меня.

Настроение на поминках было паршивейшим, его не брало никакой водкой. Почему-то вспоминалось, как за полгода *до* мы вместе с Сергеем явились через заднее крыльцо к директору ликеро-водочного магазина, и он попросил десять бутылок водки «на поминки». Директриса резонно попросила предъявить справку о смерти. «Понимаете, – мягко сказал Серега, – товарищ еще не умер». Все расхохотались, обаяние его было велико, директриса выписала хоть не десять, но пять бутыльментов. Мы радостно напились. Оказалось, с поминками Сергей как накаркал.

На тризне, да еще по другу, как не выпить. Нагрузившись, я зашел домой к своим родителям – они жили неподалеку. К чему-то прицепившись, поругался с ними. Вырвался, поехал домой, к

семье. Решил воспользоваться такси. В ту пору заказывать авто было бесполезно, и я пошел ловить на улицу. Простоял едва ли не час. Машины не останавливались, а те, что тормозили, везти меня отказывались. Окоченев, я плюнул и потащился домой на метро. Приехал злой, протрезвевший, похмельный, противный сам себе. И ночью того же дня… Нет, не скажу, что мне был голос, или видение, или кто-то свыше меня надоумил. Нет, просто я вдруг отчетливо и ясно понял: мне надо бросить пить.

Не скажу, что это было первым моим подобным решением. Несколько раз я уже давал себе зарок. Но надолго меня не хватало. То друг из загранки привез настоящего виски. То поминки по деду случились и не выпить было никак нельзя. То в командировке в Таджикистан оказалось невозможно нарушить законы восточного гостеприимства. Но в тот раз, после поминок по Сергею, мне почему-то показалось: все теперь обстоит очень серьезно, и нарушить завет мне никак нельзя.

Нет, я не кодировался и мне не вшивали спираль. Просто дал самому себе слово.

Трудно ли мне было? Поначалу нелегко. Тяжко объяснить окружающим, что к чему. И в застольях сидишь дурак дураком. И времени свободного появилось – вагон, которое не знаешь чем занять.

Неловкое чувство продолжалось довольно долго – наверное, с год. Потом и я, и окружающие к моему новому, трезвому состоянию привыкли. А свободное время тоже нашлось чем занять. Попервоначалу я взялся учить «Евгения Онегина» наизусть, Музиля читать. А потом принялись, вместе с родной моей сестрой Анной, которая как раз на журфаке стала в рекламе специализироваться, совместно делать бизнес. Времена переменились, страна стала иной. За бизнес взялись все. Мы схватились, по заказу одного из первых в стране рекламных агентств, разрабатывать свой способ оценки эффективности рекламы. Способ не приняли, но работать вместе оказалось интересно.

С тех пор прошло без малого двадцать пять лет. И я действительно с того дня, в сентябре девяносто первого, больше не пью. Не то что ни капли – лет через двадцать после зарока я стал позволять себе бокал-другой сухого вина – на отдыхе или по пятницам. Но крепкого спиртного в рот больше не брал и не беру.

Помимо прочего, мне совершенно перестало нравиться состояние опьянения. Глупое и довольно противное чувство, когда ощущаешь себя гораздо большим дураком, чем ты есть на самом деле.

Бывало ли у меня искушение? Да, и не раз. Особенно в

первый год. Но я делал над собой усилие, искус отгонял и за каждый случай преодоления мысленно ставил себе плюс один балл. Через полгода соблазн стал посещать гораздо реже, после года воздержания исчез вообще. Наверное, мне повезло, что я ушел в завязку в свои тридцать, а не в сорок и не позже. Психологическая привязанность к спиртному не успела перерасти в физиологическую.

И оказалось, что есть на свете очень много вещей, которыми заниматься приятно, весело и интересно – причем на свежую голову. Я стал писать – больше и интересней. Читать – больше. Больше смотреть кино, бывать в театрах и на выставках. А поездки по стране и за границу! Их тоже оказалось приятнее воспринимать на свежую голову. И даже общаться с друзьями – интереснее и веселее выходило по трезвяку. Я открыл для себя заново радости спорта. Стал ходить на лыжах и кататься на велике. А недавно йогу начал осваивать.

Я не берусь судить, *насколько* счастливее стала моя жизнь после сентября девяносто первого, но то, что она таки стала много счастливее – определенно. Хорошо ли, плохо ли, но я сумел сделать в жизни многое из того, чего ни за что не совершил бы, продолжая квасить. Да что там говорить! Уже хотя бы за то мне надо благодарить мое тогдашнее решение, что моя жизнь после него просто *была*. Имела место.

Ведь, к глубочайшему моему сожалению, всех тех, кого я упомянул в этой заметке, уже нет с нами.

Вадим Дмитриевич был единственным, кто прожил длинную жизнь, скончался, будучи за семьдесят, и увидел главный труд своей жизни опубликованным. Но я не могу отделаться от мысли, что его могучий организм позволил бы ему прожить и до сегодня, на радость семье и его друзьям, когда бы не…

Тихий пьяница Володя из «Смены» погиб зимой девяносто четвертого. Ужасная смерть – его нашли в квартире, задушенного какой-то проволокой. Его собутыльник валялся с пробитой головой на лестничной площадке – на него все и списали. Володе около сорока тогда было.

Валера скончался – оторвался тромб, – едва ему перевалило за пятьдесят пять. Мы, друзья, подарили тогда ему на юбилей красивый кожаный портфель. Он его берег, так и не успел им попользоваться.

Андрюша К. в девяносто четвертом, давно уволившись из «Смены», зачем-то вдруг пожаловал в редакцию. В пьяном виде то ли выпал, то ли выпрыгнул в лестничный пролет с шестого этажа. Судьба его хранила – он весь переломался, но выжил. Долго лечился и восстанавливался. Завязал со спиртным. Пользуясь

старыми связями, работал на дому. Несколько раз срывался, лежал под капельницей в Склифе. Наконец однажды развязал по-крупному и умер на собственной кухне, в окружении бутылок. Ему тоже немногим за полтинник перевалило.

Мне порой – не часто, но все-таки – становится обидно, что апофеоз моей алкогольной молодости пришелся на самые гадкие напитки: водку «андроповку», портвейн «три топора» и «жигулевское» пиво. И я так и не совершил, вместе со страной, массы гастрономических открытий: не познал вкус текилы… кальвадоса… бурбона… шнапса… Но эта идея быстро проходит, и, сидя на роскошном балконе в собственном доме в ближнем Подмосковье, я начинаю думать, что я все-таки гораздо счастливее, чем все те, что эти специалитеты отведали.

Даже если эти товарищи пока еще живы и здоровы.

Отец
Дмитрий Емец, писатель-фантаст

С детства запойно, много и довольно беспорядочно читал, спортивными сумками таская из библиотеки книги. Книгу в 300–400 страниц прочитывал за день. На третьем курсе филфака МГУ, радуясь появлению в его жизни компьютера, Дмитрий начал писать взрослые рассказы и веселые детские сказки. Постепенно детские сказки скрестились со взрослыми рассказами и превратились в сериалы юмористического фэнтези. Дмитрий – отец семерых детей и считает, что заниматься любимым делом в окружении большой дружной семьи – это и есть счастье.

Предисловие

Этот рассказ биографический. Читатель сразу ощутит это, хотя события и подаются от третьего лица. Я начал писать его в тот день, когда у меня родился первый ребенок и жена еще не вернулась из роддома. Я тогда не находил себе места, каждый день ездил в роддом, куда не пускали, поскольку отделение считалось инфекционным, и через закрашенное стекло с процарапанной дырочкой смотрел на ребенка.

Даже на обоях написал: «Родился сын Егор». Потом Егора назвали Ваней, но на обоях он много лет потом значился как Егор. А обои, как известно, самый важный в жизни человека документ.

Сейчас детей семь, но отдельный рассказ был написан только о первом, потому что ощущения были самыми острыми. Хотя, конечно, с рождением каждого ребенка связана была какая-то особая неповторимая и часто волнующая история.

* * *

В пять часов утра молодой кандидат филологических наук, преподаватель университета Погодин проснулся от далекого голоса жены, окликавшего его по имени: «Вася, Вася!» Он спал на диване в кабинете – так условно называлась одна из двух комнат их квартиры, где были шкафы с книгами и стоял компьютер.

Погодин открыл глаза и, не вставая, прямо с дивана выглянул в дверь, которая была совсем близко.

– Чего тебе? – крикнул он.

По шуму воды он слышал, что жена в ванной. На улице было совершенно темно, и он старался сообразить, который час.

– Я тебя не слышу! Иди сюда, у меня, кажется, началось! – снова позвала жена, на короткое время выключая воду.

Сразу поняв, что именно началось и испугавшись этого, Погодин встал и, споткнувшись о развешенное в комнате на проволочной вешалке белье, пошел к жене. В одной короткой ночной рубашке Даша стояла в открытой душевой кабине. На правой ноге у нее было что-то влажное, и еще немного склизкой жидкости с розоватыми прожилками протекло вниз, на белую пластмассу кабины.

– Ты не знаешь, что это? Проснулась, и вот… Может, уже? – спросила жена жалобно и отрывисто.

Она была беременна первым ребенком на тридцать девятой неделе, и роды ей назначили только через десять дней, в конце сентября. Жена читала толстые правильные книги о материнстве и со свойственной ей последовательностью и доверием ко всему написанному на бумаге ждала дальних предвестников родов: ложных схваток, потом схваток настоящих, но редких, набухания молочных желез и других. К тому, что роды начнутся вдруг, безо всякой подготовки и совершенно не по описанным правилам, она готова не была и теперь растерялась, не понимая, что течет у нее по ногам.

Погодин тоже не ожидал, что это будет так скоро, и думал о ребенке, как о чем-то далеком, довольно абстрактном. Ему не верилось, что ребенок все эти месяцы находился рядом: у жены в животе, и казалось, что он должен появиться откуда-то извне. Откуда именно, он не задумывался, главное, что это произойдет потом. Даже когда ребенок толкался, часто с большим неудовольствием и даже раздражением и жена ойкала, Погодину и тогда трудно было представить, что его сын находится так близко – всего под слоем кожи. И лишь порой, когда под ладонью, если долго держать ее на женином животе, обрисовывалось твердое и упрямое *нечто*: голова, спина или плечо, – Погодин понимал, что ребенок все же там и в этом упрямом толкании уже проявляется его, ребенка, *собственная*, независимая от них с женой воля.

– Может, что-то плохо? Я боюсь! Как ты думаешь, что?.. Ведь не должно еще – рано! А? – сказала жена, испуганно протягивая к нему руку.

Погодин взял ее за ладонь и ободряюще слегка пожал. Ему

хотелось обнять жену, но он не мог, опасаясь ее заразить. У него была неизвестно откуда свалившаяся простуда, именно поэтому он спал в кабинете на неудобном диване, а не в комнате.

– Схватки уже начались? – спросил Погодин.

– Не спрашивай. Откуда я знаю? – Жена наклонила вперед шею и жалобно посмотрела на себя так, будто никогда не видела себя раньше: тоненькие ноги и перекошенный, обтянутый рубашкой выпуклый живот были словно не ее, а какими-то чужими.

– Как не знаешь? А кто должен знать? – поразился Погодин.

– Может, и начались, у меня болит вот тут! – Даша неопределенно показала рукой на весь живот и стала рассказывать, как сегодня проснулась от ноющей боли и у нее стало что-то подтекать.

Боль не была сильной, и жена вначале не хотела просыпаться, потом звала его, но он не слышал. Даша говорила несвязно, глотая слова, и многого Погодин не понимал, только молча жалел ее, как вдруг под конец жена сказала решительно и деловито:

– Принеси книжку, ты знаешь какую! Принеси же!

Эти внезапные, всегда неожиданные переходы от мягкости и беспомощности к упрямству, властности и даже к деспотизму были вполне в духе Даши, и Погодин к ним привык. Первое время он с ними боролся, переживал их, пытался найти какую-то закономерность, но, так и не обнаружив ее, раз и навсегда отгородился простой, надежной и успокаивающей мыслью: «Она же женщина… У них вечно эти капризы и фокусы. Значит, так надо, и не буду больше об этом думать, портить себе нервы».

Сквозь затуманенное невысыпанием сознание Погодин понимал все словно через пелену. Волнения и беспокойства не было, и он действовал автоматически, воспринимая лишь верхушки происходящих событий. Розоватое пятно на дне душевой кабины ему не нравилось, не нравилось и то, что жена командует им, но он понимал, что сейчас не время для споров. Он пошел в комнату, взял книгу по материнству, написанную двумя учеными немцами, перед именем каждого из которых на обложке стояло чванное «профессор, доктор медицины», пролистал ее и, раздражаясь тому, как бестолково она составлена, довольно скоро нашел нужную таблицу.

«Ранние предвестники родов: появление крови, выделение слизи с прожилками крови. Может произойти за несколько дней до появления других предвестников или не произойти до начала схваток», – прочитал он и пошел в ванную повторять это жене.

Он думал, что Даша нетерпеливо ждет его, но она о нем

почти забыла, как и забыла о том, что ей нужна была книга. Она включила на полный напор душ и энергично, с решительным лицом и закушенной губой смывала розоватые следы с ноги и днища. Это напомнило Погодину, что так же она вытирает стол после еды и моет полы – трет их с такой неожиданной силой, словно глубоко их ненавидит. Даша всегда была крайне, почти до утомительного чистоплотна. Два раза в день она купалась, раз в день – мыла голову, часто меняла полотенца и постельное белье – и потому квартира вечно была завешана сырыми выстиранными вещами, а в кабинете даже ночью стоял запах сырости.

По тому, как она водила душем и терла мылом и мочалкой ногу, словно стремясь стереть с нее заодно и кожу, Погодин решил, что жена не контролирует себя. Опасаясь, что она повредит мытьем ребенку, он не задумываясь схватился за душ.

– Сейчас нельзя, выключи!

– Отпусти… нет… буду! Лучше знаю… отстань! – пыхтела жена.

Теперь они оба держались за душ и с силой тянули его каждый к себе, брызгая струей. Жена перетягивала яростнее, с закушенной губой, Погодин же осторожно, но решительно, следя одновременно, чтобы жена не потеряла равновесие и не упала в скользкой кабине. Он был намного сильнее и чувствовал, что берет верх, но, спохватившись, что борется, почти дерется с нервничающей беременной женщиной, уступил, смутился и отпустил душ.

Погодин ожидал, что сейчас снова начнутся упреки и слезы, но жена притихла и успокоилась почти мгновенно, не в первый раз удивив его резким переходом от одного состояния к другому.

– Это я, между прочим, рожаю! – сказала она уже совершенно мирно.

Убедившись, что розовые капли снова натекают и остановить их нельзя, Даша наконец сдалась. Она выключила воду, и в ванной повисла внезапная тишина. Нарушая эту тишину, Погодин стал рассказывать о том, что прочитал в книге, но Даше уже было неинтересно: безошибочный женский инстинкт успел подсказать ей, что происходит, и книга о материнстве вновь стала не нужна. «В самом деле, откуда этим двум немцам, никогда самим не рожавшим и даже не способным этого сделать, знать, как это бывает у женщины? С чужих слов? Но что такое чужие слова?» – думал Погодин.

Пока он размышлял над мудростью природы, жена, все еще оставаясь в душевой кабине, ухитрилась за шнур притянуть к себе телефон и позвонила своей тетке, худой и нервной женщине, чьему практическому уму она всегда доверяла. Несмотря на

ранний час, тетка сняла после второго гудка, все поняла с полуслова, и уже мгновение спустя в трубке звучал ее энергичный и напористый голос.

Погодин ходил по коридору и прислушивался к разговору. Вчера жена и ее тетка ездили в консультацию и с большим усилием добились направления в хорошо оборудованный Институт акушерства и гинекологии, но, не предполагая, что роды наступят так скоро, не взяли какой-то нужной подписи главного врача, без которой направление было недействительно, и теперь решали, как им быть.

После короткого обсуждения было решено, что они подождут еще час, до семи, чтобы понять, действительно ли начались роды или время еще есть. Тетка велела не нервничать и обещала немедленно приехать, но жена и так уже успокоилась и лишь прислушивалась к себе. Подложив полотенце, она перебралась в кровать и уютно устроилась.

– Остановилось! Знаешь, кажется, совсем остановилось! – несколько раз радостно говорила она, а потом вдруг надувала губы и неуютно ворочалась, поглядывая вниз, сквозь одеяло, и по этому ее движению Погодин понимал, что воды продолжают отходить.

Так прошло еще минут двадцать: жена то дремала, то смотрела на часы, засекая время схваток, то просила Погодина вытащить из бельевого ящика полотенце.

– Не такое! – говорила она нетерпеливо. – Это слишком большое. Дай красное!.. Как нет, когда я помню, что оно там?.. Ой, снова началось! Как ты думаешь, все будет хорошо, а? – добавляла она жалобно и снова продолжала недовольным голосом: – Ну да, вишневое!.. Разве непонятно, что когда я говорила красное, то имела в виду его.

Погодин вышел из комнаты и вновь бесцельно отправился бродить. По мере того как он все больше просыпался, страх и беспокойство пробуждались вместе с ним. Ему казалось, что он волнуется куда больше жены, которая, считая минуты между схватками и меняя полотенца, не имела даже времени волноваться.

Кандидат бесцельно заглянул на кухню с неубранной с вечера посудой и стоявшим на столе, завернутым в газету горшком герани. Потом вернулся в кабинет и уставился на диван со сползшей на пол простыней, диван, на котором он так неуютно спал сегодня. «Не лечь ли снова? Нет, не надо. Что я, с ума сошел, не сейчас!» – подумал он, испытывая к дивану почти брезгливый ужас.

Пытаясь успокоиться, Погодин подошел к шкафу, вытащил

какую-то книгу, кажется, поэзию Кантемира, прочитал, не понимая содержания, три или четыре строки и, не достигнув цели, снова сунул книгу в шкаф.

«Все книги, даже самые лучшие, – фальшивка, суррогат чужой жизни, и вот доказательство! – неожиданно подумал он. – Мы читаем их, только когда у нас нет своих сильных чувств. Когда же они появляются – книги забыты. Читаешь, к примеру, об ужасной резне или эпидемии чумы, и ничего – почти равнодушен, а стоит самому порезать палец или заболеть гриппом… Или книги о любви, что стоят описанные там великие роковые страсти перед нашим маленьким, чуть теплым, но своим чувством?»

Погодин хотел уже включить компьютер, чтобы набросать в двух чертах заинтересовавший его этический казус, когда жена снова позвала его:

– Вася, ты где? Ты почему ушел? Мне одной страшно!

Погодин почувствовал стыд, что бросил ее, и поспешил к ней. Хотя Даше было, как она говорила, страшно одной, это не мешало ей спокойно отсчитывать белые гомеопатические шарики, перекладывая их из квадратной картонной коробочки в жестяную, ежедневную.

– Три… четыре… Ну и где она?.. Пять, шесть, семь… Ты ее принес?

– Кого «её»?

– Как! Мою синюю записную книжку, я же тебе кричала! – повторила жена.

– Разве? Я не разобрал! – искренне удивился Погодин.

Поняв, что он все прослушал, жена решила выразить неудовольствие и сморщила свое гладкое розовое лицо, как только одна она это умела. Ее лицевые мышцы были подвижными, как у актрисы пантомимы. В одно мгновение лицо ее прорезал десяток разных складок: две пересекающиеся на лбу, две – под глазами, три – под изгибом носа и одна на подбородке. Эти складки сразу сделали миловидное лицо жены некрасивым, и Погодину это стало неприятно. Он смотрел на жену и сам, не замечая, морщился, точно пробовал что-то кислое.

– Не делай так, я же тебя просил! Зачем ты портишь себя? – сказал он и скорее вышел за записной книжкой.

Услышав, как во двор быстро въехала и затормозила машина, он с записной книжкой в руках подбежал к окну и выглянул в него. Подъехавшей машины уже не было видно – ее надежно закрывала огромная, разлапистая, не пожелтевшая еще липа. Но и не видя машины, Погодин был уверен, что приехали к ним, и хлопнувшая железная дверь подъезда подтвердила, что он угадал. Вскоре по лестнице послышались торопливые шаги, а потом

звонок, давно барахливший, неохотно хрюкнул два или три раза.

Если звонок сделал вид, что позвонил, то Погодин сделал вид, что заспешил к дверям. Мельком поздоровавшись, в квартиру быстро вошла вначале маленькая юркая женщина с короткой стрижкой, а за ней – высокая полная женщина с добродушным, но словно бы навсегда обиженным лицом. Первая – была тетей Даши, вторая – ее матерью, за которой тетя заехала по пути.

Обе гостьи, одетые, видно, в большой спешке, быстро проскочили мимо Погодина и исчезли в комнате жены. Оттуда сразу послышались напористые голоса – началась их вечная семейная битва. Все трое – жена, тетка и теща – по отдельности были женщинами неплохими и вполне безобидными, но стоило им собраться вместе, как словно соединялись простые химические реактивы, безопасные по отдельности, но вместе образующие порох или динамит. Достаточно было искры или сказанного неосторожно слова, как следовала цепь оглушительных взрывов.

Вот и теперь, не слушая друг друга, все три женщины говорили об одном и том же: что нужно не рисковать и как можно скорее ехать в роддом. Хотя все говорили одно, каждой почему-то казалось, что ее не понимают и с ней спорят, и голоса звучали все громче.

Погодину не хотелось идти в комнату, где бы его сразу стали заставлять принять чью-нибудь сторону, что было бы невозможно, потому что сторона была одна. Он прислонился спиной к стене и стал забавляться тем, что то прикладывал к ушам ладони, то отнимал их. Это приводило к тому, что слова говорящих расплывались и теряли смысл, а оставались одни голоса.

«Ти-ти-ти! Ту-ти-та! Та! Та!» – говорила жена. «Бу-бу-бу-бу!» – возражала ее мать. «Тра-та-та-та-та!» – перекрывала всех энергичная тетка. Наконец «ти-ти-ти» и «бу-бу» выдохлись и смолкли, и осталось лишь «тра-та-та-та».

– Наши победили! – негромко сказал Погодин и отнял ладони уже совсем.

Внезапно ему стало стыдно, что в такую ответственную минуту он ведет себя как мальчишка, и он вошел в комнату.

Жена лежала на кровати и быстро перелистывала телефонный справочник. Ее мать, видно, не представляя, чем ей занять руки, вертела в руках синюю пустую чашку без ручки, в которой Погодин утром приносил Даше чай. Тетка искоса, по-птичьи, взглянула на Погодина и продолжала быстро говорить в трубку:

– Как нельзя, почему? У нас к вам направление из консультации и обменная карта!.. Почему в последний момент?

Срок только через неделю! Сами понимаете, никто ничего точно знать не может… Да-да, я понимаю, что у вас определенные правила, но нельзя ли сейчас подъехать, а потом уже попасть на прием?.. Не практикуется? Значит, вы считаете шансов попасть к вам нет? Нет, в свой она не хочет… Вы не знаете, а кто должен знать, в чьей это компетенции, вашего главного врача?.. Нет, я на вас не кричу, я так советуюсь!.. Девушка, милая, ну подскажите же вы нам, войдите в положение…

Тетка, разговаривавшая по телефону, напоминала Погодину маленькую юркую ласку или лисицу, которая бежит вдоль сплошного деревянного забора и ищет малейшую щель, чтобы попасть в курятник. Но этот забор, очевидно, был совсем уж непролазным, потому что, когда тетка повесила трубку, с ее лица сразу сползло выражение приветливого внимания, которым она дистанционно старалась загипнотизировать свою собеседницу.

– Вот гады-гады-гады! – скороговоркой, без злости сказала тетка, и «гады-гады-гады» слились у нее в одно длинное слово. – Они тебя в Институт акушерства не возьмут: мы у них не успели карту завести. Что ж ты одного дня дотерпеть не смогла?

– А без карты нельзя? Или сейчас ее завести? – растерянно спросила Даша, явно не понимавшая, зачем нужна карта, когда у нее есть живот и ребенок, стремящийся его покинуть.

– Не будь дурой! У них так заведено! Карта, обследования, анализы – и только их специалистами! Раньше надо было думать! – одернула ее тетка.

Она сама работала в министерстве – в бюрократическом учреждении – и знала, как велика сила бумаги.

– Не надо было метаться! – басом сказала теща. – Говорила я, выбери себе один роддом и ходи вокруг него, пока не приспичит.

Мать была намного спокойнее своей сестры и, видимо, была недовольна, что ее сдернули с постели рано утром и не дали доспать. Если тетка сама никогда не рожала и, как всякая нерожавшая женщина, представляла себе процесс появления на свет ребенка как цепь ужасов и неминуемых осложнений, то мать рожала дважды и оба раза в самые последние часы, когда уже начинались сильные схватки, добиралась до роддома на электричке, а потом на трамвае, потому что ей глупым казалось вызывать из-за такой мелочи «Скорую». Роды у нее проходили легко, и она не помнила даже, во сколько родилась Даша, ее вторая дочь. «Кажется, где-то утром», – говорила она.

Хотя теща сама и не волновалась, но, чтобы ее не упрекнули в равнодушии, никого не успокаивала и давала тетке полную свободу воображать самое худшее, тренируя фантазию и эмоции. Тетка была уверена, что роды непременно будут скоротечными и

тяжелыми, и Дашу нужно вести в роддом немедленно, чтобы ребенок не появился в дороге.

Сама жена, успокоенная кипевшей вокруг нее суетой, выглядела вполне довольной. Ей, видно, нравилось, что тетка и мать покрикивают на нее и тем как бы снимают с нее ответственность за все, что происходит. Она лежала поверх одеяла с подложенными под спину подушками и неуклюже, так как мешал живот, натягивала на ноги белые шерстяные носки.

В этой маленькой спальне, полной женщин, Погодин чувствовал себя совершенно ненужным. Все отлично происходило без его участия и как бы вне его воли. Инстинкт заставлял его бестолково топтаться на месте, не терять жену из поля зрения и защищать ее от хищников. Но хищников не было, и поэтому Погодин ходил по комнате, нервируя тещу, которой приходилось все время отодвигать ноги, и раздражая своими мельтешением тетку. Тетка была в их квартире только второй или третий раз, но телефон был уже ею совершенно приручен, и его длинный шнур, весь вдруг целиком поместившийся в комнате, послушно свивался в кольцо возле теткиных ног, точно кобра, завороженная факиром.

Погодин пытался посоветовать отвезти Дашу в их районный роддом, находившийся совсем рядом, всего в трех улицах, но на него замахали руками и мать, и тетка; даже жена, своего мнения не имевшая, поддалась общему порыву и махнула на мужа рукой с зажатым белым носком.

По этой причине Погодин обрадовался, когда тетка попросила его выйти во двор и посмотреть, закрыла ли она в спешке машину и не мешает ли теткин автомобиль проезду других машин. Понимая, что это поручение не важное, а скорее устраняющее его из квартиры, чтобы он не мешал, Погодин все же согласился играть по этим правилам и сделал вид, что задание это вполне ответственное и истинно мужское.

Осторожно прикрыв за собой дверь, он вышел на лестницу, спустился и, оказавшись на улице, глубоко вдохнул влажный воздух, в котором еще плавал утренний туман.

Утро было серое, свежее, на асфальте шуршала листва. Погодин обошел вокруг теткиной машины. Как он и предполагал, она была надежно припаркована, все двери закрыты, а на приборном щитке, видном в боковое стекло, мигала красная лампочка сигнализации. Погодин усмехнулся и пошел бродить по двору, совсем еще по-утреннему пустому. Все было тихо, лишь в отдалении, за углом дома, слышался равномерный шорох метлы дворника.

Мимо Погодина прошел немолодой, с ржавой щетиной,

мужчина, за которым плелся старый доберман. И хозяин, и собака выглядели буднично: мужчина позевывал и курил, а собака равнодушно нюхала камни и посматривала по сторонам, и по тому, как она это делала, видно было, что ей все равно – гулять или сидеть дома.

«Гуляет, будто ничего не происходит! У него обыкновенный, заурядный день, такой, как был вчера или позавчера; придет с собакой домой, оденется, позавтракает – и на работу. А реши я ему ни с того ни с сего сказать, что у меня жена рожает, ему было бы неинтересно. Может, выдавил бы улыбку, что-то буркнул, и все», – размышлял Погодин, провожая мужчину взглядом и ощущая глубокую несправедливость того, что ребенок его так же неинтересен другим людям, как ему самому малоинтересны были прежде чужие дети и многие события чужой жизни.

«Но разве можно его обвинять в черствости? А если бы все было наоборот? Допустим, месяц назад, когда у меня тоже был заурядный день, этот человек подошел бы ко мне и сказал, что у него жена рожает… – продолжал представлять Погодин, но, подумав, что у такого пожилого мужчины дети, скорее всего, уже взрослые, поправился и изменил условие. – Нет, не жена рожает, а, скажем, он говорит мне, что у него умер брат. Как бы я поступил? Ну, конечно, сделал бы грустное лицо, постарался бы выразить участие, но искренно, положа руку на сердце, было бы это для меня важно?»

Пока в сознании Погодина медленно, цепляясь одна за одну, чередовались эти мысли, доберман остановился, точно вспомнив о чем-то важном, подбежал и на несколько результативных мгновений поднял заднюю ногу у колеса теткиной машины.

Закончив, собака выразительно взглянула на Погодина и отправилась догонять хозяина. От увиденного кандидат на несколько секунд опешил, а потом засмеялся, и его охватило странное чувство общности с этим глупым псом.

Когда он вернулся в квартиру, там уже полным ходом шли сборы. Тетка и теща целеустремленно рылись в шкафу, а жена с собранным заранее пакетом, уже совсем одетая, стояла у дверей. Лицо у нее было огорченное, но смирившееся: видно было, что покидать квартиру, привычное и хорошо известное ей место, и ехать в место другое, непонятное и непривычное, ей совсем не хочется, но она понимает, что это неизбежно.

– Все, слава небу, устроилось. Аркадий Моисеевич позвонил своей знакомой акушерке, в восемь у нее начало смены… Аркадий Моисеевич говорит: у Даши слабая аура, надо помочь ей положительными эмоциями, думать о светлом и радостном… – быстро заговорила тетка, показываясь из комнаты.

Семья жены, хотя и обладала отменным здоровьем, любила лечиться. Болезни у них были мудреные и непонятные, чередующиеся с умопомрачительной быстротой. Каждый месяц они обнаруживали у себя что-то новое. Аркадий Моисеевич был знакомый или, как тетя любила говорить, личный врач их семьи, связанный с целой цепочкой других светил и работавший с ними «в связке». Медицинская специальность у него была самая туманная – что-то связанное с эндокринологией, но это не мешало ему консультировать от всех болезней и выписывать гомеопатию.

Аркадий Моисеевич, которого Погодин видел лишь однажды, был толстый, бородатый, очень уравновешенный, с волосатыми, очень широкими запястьями и короткими пальцами. Ел он шумно, щелкая челюстями, и так же громко смеялся. Погодину страшно было смотреть на его красный, постоянно двигавшийся и вечно что-то говоривший рот. Весь ужин Погодин пытался как-то поддеть Аркадия Моисеевича, поставить его на место, доказать ему, что тот шарлатан, но Аркадий Моисеевич имел уникальное качество. Он слушал только себя и говорить мог только сам, и потому был непробиваем.

– Васенька, мы уезжаем! Ты поедешь с нами? – спросила жена, касаясь сзади его рукава.

– Да, поеду… – кивнул Погодин, чувствуя, что оставаться сейчас дома невозможно для него.

– В чем ты поедешь, в этих спортивных штанах и дачном свитере? Учти, обратно тебе придется добираться на метро, тетя не сможет тебя подвезти! И не спорь, не спорь со мной, со мной нельзя сейчас спорить… – быстро сказала жена, капризно поджимая губы.

– Ладно, я переоденусь, только успокойся… – снимая на ходу свитер, Погодин пошел в комнату.

– Быстрее, пожалуйста! Неужели раньше нельзя было: беременная женщина собралась, а тебя ждем… – крикнула ему вслед тетка.

Открыв шкаф, кандидат рассеянно остановил взгляд на сложенных в стопку свитерах и выглаженных, плотно притиснутых друг к другу теснотой пространства рубашках, брюках и пиджаках. Складывала и гладила его вещи жена, и Погодин старался без нужды не заглядывать сюда, чтобы не нарушать царящего в шкафу строгого иерархического порядка. Необходимость выбирать одежду самому угнетала его и казалась неважной, тяготящей мелочью, и поэтому надевал он всегда то, что первым попадалось под руку.

Заметив свои старые любимые джинсы, вытершимся сгибом

глядевшие с одной из полок, Погодин обрадованно потянулся к ним. Хотя дверь в комнату была прикрыта, а жена оставалась в коридоре, она, шестым чувством уловив, что он собирается сделать что-то запретное, крикнула: «Нет, не эти, возьми серые брюки! Они на вешалке справа!» Погодин в который раз удивился своеобразной интуиции Даши, проявлявшейся всегда неожиданно и в основном по хозяйственным вопросам. Даже плескаясь в душе, она догадывалась, какой из многочисленных запретов он пытается нарушить: полезть ли в сахар мокрой ложкой, поставить на полировку стакан без подставки или пройти в уличной обуви в комнату.

Погодина все эти правила тяготили, не удерживались в памяти, казались неважными и условными. Порой в нем пробуждалось к жене тяжелое, нехорошее чувство, и ему казалось, что он живет с женщиной недалекой и мелочной, и боялся, что дети, если пойдут в нее, тоже будут такими же хозяйственными и мелочными. В такие минуты он ощущал себя загнанным в угол и злился, а жена, словно почувствовав в нем перемену, притихала, становилась предупредительной и ласковой, и Погодин вскоре смягчался и забывал о своем раздражении.

Когда он вновь вышел в коридор, жена окинула его быстрым проверяющим взглядом, скользнувшим от воротничка рубашки до самых носков. Они закрыли квартиру и вышли. На лестнице Погодин хотел придерживать жену за руку или даже снести ее, но Даша спускалась сама, не касаясь перил и в конце пролета по привычке шагала сразу через две ступеньки.

– Перестань, ты что, не понимаешь? Как ты себя чувствуешь? – обеспокоенно спросил Погодин.

Даша, шедшая до того по лестнице с нормальным лицом, на мгновение задумалась, на всякий случай придав лицу страдальческое выражение, а потом чуть пожала плечами и сказала:

– Все хорошо… Только где-то вот тут болит… – и вновь последовал неопределенный жест, который можно было отнести не только к животу, но и к груди и даже к ногам.

Они сели в машину: мать с женой сзади, а Погодин с теткой впереди. Водительскому мастерству тетки кандидат не очень доверял и велел жене пристегнуться.

– Сзади пристегнуться нельзя! – сказала тетка не без удовольствия.

– Как нельзя, там же есть ремень!

– Ремень-то есть, но сломался фиксатор! – объяснила тетка, заводя машину и съезжая с бордюра.

«Фольксваген» сильно тряхнуло, и Погодин укоризненно

уставился на тетку.

– А что я могу, тут бровка! – оправдываясь, сказала та и, нажав на газ, резко тронула машину с места.

Как выяснилось, для тетки дорога состояла из сплошных ухабов, если же ухабов не было, она ухитрялась обойтись выбоинами или канализационными люками, массивные крышки которых глухо лязгали, когда на них наезжало колесо. Жена и теща притихли сзади, а сам Погодин изо всех сил старался доверять тетке. «Она ведь давно уже ездит и пока ни во что не врезалась; значит, по теории вероятности, у нас хороший шанс уцелеть», – успокаивал он себя.

Кандидат, сам машину не водивший и знавший Москву лишь в центральной ее части, не понимал даже, где они едут. Лишь дважды он ощутил радость узнавания: в первый раз, когда мимо пронеслось здание МИДа на Смоленской, а потом, когда они проезжали длинный плоский дом с полукруглыми окнами, выходивший на Садовое. В этом доме жил официальный оппонент профессор Дербасов, к которому Погодину пришлось ездить раза два перед защитой.

– У тебя когда лекция? – потеплевшим голосом спросила жена, которой интуиция подсказала, что он думает об университете.

– Завтра.

– Ты же говорил: сегодня.

– Ты спутала. Сегодня два семинара для вечерников, – объяснил Погодин.

– А, понятно… Что-то я тебе хотела сказать… – лицо жены приняло значительное выражение. – Не надевай, пожалуйста, под пиджак свитер и не расстегивай верхнюю пуговицу, когда ты в галстуке… И, пожалуйста, постарайся поскорее вылечиться, пей те лекарства, что стоят в плетеной корзинке…

Наконец машина свернула на узенькую улочку, потом еще куда-то, и Погодин по облегчению на лице тетки догадался, что они приехали и даже, кажется, остались живы. На минуту они притормозили у закрытых ворот, где к ним вразвалку, по-мальчишески постукивая по ладони резиновой дубинкой, вышел рябой парень-охранник. Тетка крикнула ему, что они везут роженицу; парень засуетился, подбежал к воротам и стал поспешно их открывать, с силой дергая створки. Погодин давно заметил, что многие мужчины, столкнувшиеся с родами или беременными, волнуются больше, чем сами роженицы, руководимые мудрой природой.

Когда ворота наконец открылись, тетка проехала вдоль желтого бетонного забора и остановилась у приемного отделения.

Здесь они с погодинской тещей вновь стали быстро и нервно переговариваться, а жена сидела хмурая и напряженная и обеими руками прижимала к животу желтый пакет с вещами.

Потом, забыв о Погодине, три женщины стали подниматься по ступенькам. Он тронулся было за ними, но теща испуганно крикнула:

– Ты что? Куда? Ты же кашляешь! Если они увидят, что ты простужен, – положат Дашку в инфекционное!

Погодин почувствовал обиду и свою полную отцовскую ненужность: зачем он вообще ехал сюда, если жена сейчас исчезнет за неприступными для него дверями роддома? На душе была какая-то скомканность и ощущение незавершенности. На верхней ступеньке жена обернулась к нему, наморщив лоб и словно вспоминая о чем-то.

– Проверь, выключила ли я стиральную машину… Там на столе творог, убери его, а то он испортится… Торт доешь! И купи марлевые повязки… И, пожалуйста, прошу тебя, разложи во всех комнатах давленый чеснок, надо убить твоих микробов! – крикнула она дрожащим голосом.

Погодин слушал ее рассеянно, сразу обо всем забывая. Для него очевидно было, что за хозяйственными распоряжениями, как за чем-то привычным для себя, Даша прячется теперь от страха перед роддомом и тем, что происходит внутри нее и таится в ее выпуклом животе.

Самого момента, когда за женой закрылись двери приемного отделения, Погодин не помнил. Посреди двора роддома была большая овальная клумба с несколькими чахлыми деревьями, и кандидат стал ходить вокруг этой клумбы, читая про себя или шепча губами те несколько простых молитв, которые знал: «Отче наш», «Богородица Дево» и Символ веры, начинавшийся: «Верую во Единого Бога Отца, Вседержителя…»

«Обойду вокруг клумбы сорок, нет, сорок много – двадцать раз, и тогда все будет хорошо. Или во всяком случае, какая-то ясность», – подумал он потом.

После пятого или шестого круга Погодин сбился со счета и потом уже ходил просто так, только чтобы не стоять на месте.

Роддом, старый, четырехэтажный, коричневато-желтый, с тяжелыми рамами и выкрашенными белой краской стеклами на первых и вторых этажах, казался кандидату безобразным. Хотелось забрать жену отсюда и увезти ее в какое-то другое, легкое и светлое место, но только где искать это место, он не знал и страдал от собственной никчемности.

Когда он начинал очередной круг, из приемного отделения показались теща и тетка. У тетки в руках был тот самый желтый

пакет, с которым Даша ехала в роддом, а теща несла в охапке брюки дочери, свитер и ее красные кроссовки.

– Где Даша? Что с ней? – Погодин бросился к ним.

– О-о-о! – сказала тетка, ища, как видно, повод, чтобы понагнетать беспокойство, но не находя его с ходу.

– Все в порядке: ее осмотрел врач. Выдали халат и тапки. Сейчас она в дородовой! – теща была женщина простая, что называется, «без чувствительных линий» и говорила всегда предельно ясно. Погодин зримо представил, как у жены все отбирают, дают ей казенные тапки с рубашкой и отводят в палату.

– А вещи?

– Вернули. С собой ничего не разрешили взять, даже зубную пасту.

– Почему?

– Ну не знаю. В дородовой должно быть стерильно, там одна кровать посреди комнаты. Держи, ты это донесешь? – тетка сунула ему пакет, а теща положила сверху одежду, довольная, что можно больше не держать ее в руках.

Некоторое время они стояли у машины, как чужие, не зная, о чем говорить. Прежде их объединяла только Даша, теперь же, когда жены не было с ними, мостик между берегами грозил совсем исчезнуть.

– А как я узнаю, что э т о уже произошло? Мне об э т о м позвонят? – спросил Погодин.

Он почему-то боялся произнести полностью: «когда ребенок родится», и употреблял туманное, необязывающее э т о.

– Как же, позвонят! Телеграмму пришлют на бланке с цветочками! – насмешливо фыркнула теща.

На мгновенье она широко раскрыла рот, и кандидат увидел коронки на ее нижних зубах.

– Как же мне узнать? – растерялся он.

– Позвонишь в регистратуру – тебе скажут.

– А с вещами что делать?

– Вещи после принесешь, в послеродовую. Тогда уже можно будет. Чего же тут непонятного? – с терпеливым раздражением в голосе сказала тетка.

Они снова замолчали. Погодин лихорадочно соображал, что еще важное нужно узнать, прежде чем они расстанутся.

– Сколько времени *это* обычно происходит? Я понимаю, точно знать нельзя, но хотя бы приблизительно? – спросил он.

Теща развела руками.

– Ну ты и вопросы задаешь! У меня Катька через пять часов родилась, а Дашка сразу, как я в роддом приехала.

Погодин снова кивнул, мало что уяснив для себя. Ему захотелось поскорее попрощаться с тещей и теткой и остаться одному; видно, им хотелось того же, потому что тетка вдруг посмотрела на часы как очень спешащий человек и, театрально ужаснувшись, воскликнула:

– Ребята, простите, но мне на работу! Вас до метро подвезти?

– Я сам, – отказался Погодин.

– Ты точно уверен? Ну как хочешь… Только осторожно, не потеряй, пожалуйста, ничего, – тетка начала было садиться в машину, в которой уже сидела теща, как вдруг, вспомнив о чем-то, быстро вырвала из блокнота страницу и написала номера телефонов.

– Это мой рабочий и домашний. А вот этот, самый нижний – телефон регистратуры. Но можешь и не звонить. Акушерка, когда всё произойдет, должна связаться с Аркадием Моисеевичем и дать *е м у* полный отчет!

Слово *е м у* она произнесла очень важно и веско, точно все в мире должны были обязательно звонить Аркадию Моисеевичу и давать ему полный отчет.

Тетка с тещей уехали, а Погодин, чтобы не идти далеко к воротам, перемахнул через забор, к которому кто-то, мысливший, очевидно, так же, как и он, прислонил две толстые доски.

На автобусной остановке он положил свитер и кроссовки жены на скамейку и заглянул в желтый пакет, размышляя, нельзя ли втолкнуть в него еще что-нибудь, но пакет и без того был полон. Кроме гигиенических принадлежностей и всяких женских мелочей, на дне лежала захваченная как талисман маленькая погремушка. Он вспомнил, как жена собирала эти вещи по переводной западной книге и как она хохотала, когда в списке встретились: «купальная шапочка и шлепанцы для мужа, если вы вместе решите принять душ». Разумеется, на совместный душ они и не рассчитывали, но то, что Даша не смогла взять с собой зубной пасты, казалось диким.

К пряжке часов были пристегнуты две маленькие золотые сережки, которые прежде Погодин не видел, чтобы Даша когда-нибудь снимала. Именно эти сережки показались ему самыми жалкими, и он ощутил острое сострадание к жене, оставленной в роддоме без всего своего – лишь в застиранной, много раз разными женщинами надеваемой рубашке и тапочках. Было в этом что-то больнично-тюремное и уравнивающее.

Рядом притормозил желтый автобус и, приоткрыв дверь, продолжил медленно катиться. Погодин вначале удивился этому, но вдруг понял, что на остановке он один и этим движением машины водитель как бы спрашивает, будет ли он садиться или

можно уезжать.

Кандидат подхватил в охапку женины вещи и заскочил в автобус…

Квартира, в которую он вернулся, казалась щемяще пустой. Пустота нахлынула, навалилась со всех сторон, точно прежде, затаившись, поджидала именно этого часа. Пустыми были и коридор, и комнаты, и незаправленная кровать, на которой валялась ночная рубашка жены, и кухня с грязными тарелками, и ванная с капавшей из крана водой. Погодин поймал себя на том, что еще немного, и он вновь будет метаться. Он посмотрел на часы и недоверчиво поднес их к уху, проверяя, идут ли они. Хотя сегодняшний день казался ему бесконечным, было всего только половина одиннадцатого.

Решив, что будет готовиться к завтрашней лекции, кандидат пошел в кабинет и, сев за стол, подвинул к себе стопку книг с заложенными ранее фрагментами текстов. Курс древнерусской литературы читался его бывшим научным руководителем профессором Ксешинским, однако сейчас Ксешинский был болен и просил Погодина заменить его. Прежде Погодину, всего год назад закончившему аспирантуру, редко приходилось выступать перед большой аудиторией – обычно ему поручались лишь семинары и спецкурсы, и эта лекция была хорошей возможностью испытать свои силы. Втайне он надеялся бросить вызов профессору Ксешинскому и прочитать лекцию сильнее, чтобы студенты, сравнивая их, говорили между собой, что этот, молодой, лучше.

Однако, готовясь к лекции, Погодин протянул время, и теперь лекция была на носу, а он еще даже не начал обобщать собранный материал. В качестве последнего средства оставалось подать тему, используя как план уже изложенное в учебнике и лишь несколько дополнить это новой информацией. Такой подход заведомо лишал лекцию изюминки и делал ее заурядной, но вполне проходной. Этим грешили многие преподаватели, и он, Погодин, втайне осуждавший их за это, теперь начинал понимать, что заставляло его коллег так поступать.

Кандидат включил компьютер и, просматривая источники, стал быстро набирать текст лекции, но вскоре почувствовал, что ему не работается. Мысли путались и возвращались к одному и тому же. Не в силах сосредоточиться, он встал и вышел на застекленный балкон.

Из окна совсем близко виден был корявый, черный и влажный ствол дуба, часть листьев которого оставалась зеленой, другая же побурела, намокла и безрадостно свешивалась с ветвей.

«Как странно, почему одни зеленые, а другие уже засохли? –

рассеянно подумал Погодин. – Нет, так невозможно, я даже не знаю, что с ней сейчас происходит… Может, поехать и стоять там под окном?.. Хотя что я там увижу? Нет, лучше позвонить!»

Торопливо порывшись в карманах брошенных на стул брюк, кандидат достал теткину бумажку и набрал номер роддома.

– Регистратура, – после второго гудка ответил ему женский голос.

– Скажите, Погодина Дарья… что с ней? В каком она состоянии? – он запутался, не зная, как сформулировать вопрос.

– В предродовой… – после трехсекундной паузы ответили ему, и Погодин понял, что регистраторша молчала, потому что искала пальцем строчку в разлинованной книге. Он даже представил себе ее палец – сухой и немного кривой, с крепким и твердым ногтем.

– Где-где? Простите, я не расслышал… – спросил Погодин, жадно надеявшийся услышать какие-то понятные и успокоительные слова.

– Еще не родила. В предродовой… – терпеливо повторил голос, и в трубке запищало.

Понимая, что медсестра не могла сообщить ему ничего, кроме того, о чем имелась запись в книге, и успокаивая себя этим, Погодин сел за компьютер. Он собирался вновь готовиться к лекции, но вместо этого зачем-то стал набирать на экране вопросительные знаки. Вначале он набирал их тесно, сплошным рядом, а затем стал после каждого вопросительного знака делать интервал. Лишь когда знаки стали перескакивать на вторую строчку, он остановился, опомнившись, и вытер их.

Едва ему удалось немного отвлечься и вработаться, как позвонила тетка жены. Звонила она, очевидно, с работы: в трубке на втором плане различались еще чьи-то голоса.

– Слушай, что я узнала. Аркадий Моисеевич связался с акушеркой. Не волнуйся, состояние Даши нормальное. Целый день она спала, схватки пока не учащались. Я беспокоилась, что будут какие-то патологии, но акушерка сказала, что все в порядке. Аркадий Моисеевич поддерживает ее ауру и перекачивает ей часть своей энергии.

В голосе тетки вновь появились восторженные пришепетывания, постанывания, и прямо посреди коридора из воздуха стал воздвигаться нерукотворный памятник врачу-герою. Памятник этот все увеличивался, разрастался, подпирал головой потолок и ему тесно уже становилось в коридоре, как вдруг он разом обрушился. Голос тетки, утерявший всю свою сладость, сказал сухо: «Не клади, пожалуйста, ничего на мой стол! Вон туда, в ту стопку!»

Погодин вначале удивился, не понимая, о чем это она и какой именно стол считает своим, но догадался, что слова эти были обращены к кому-то другому, вторгшемуся без предупреждения в ее повествование. Впрочем, уже через секунду тетка спохватилась и добавила в голос немного теплоты:

– Вот я раззява, заговорилась и совсем забыла, что вообще-то работаю… Как только что-то прояснится, я позвоню! Договорились?

– Вечером я буду в университете.

– Я помню. И давай, выше нос: скоро станешь папашей!

Тетка попрощалась и замолкла, выжидая гудков, чтобы отключиться самой. Погодин давно обнаружил, что в конце телефонных разговоров с ней всегда возникает состязание в вежливости, заключающееся в том, кто повесит трубку последним. И тетка, как опытный министерский работник, чаще всего побеждала.

Вот и сейчас, ощутив с противоположной стороны провода каменное министерское терпение, ограниченное лишь окончанием рабочего дня, Погодин сдался и повесил трубку первым.

До пяти вечера, когда ему надо было ехать в университет, он звонил в регистратуру еще трижды и всякий раз ему отвечали, что Даша еще в предродовой.

«Как же долго… Это даже хорошо, что мне нужно теперь уходить. В дороге я буду меньше волноваться, на семинарах еще меньше, а когда вернусь из университета, уже что-то будет известно», – говорил себе Погодин.

Он вспомнил и позавидовал, что у одного его бывшего однокурсника дочь родилась, когда однокурсник был за границей. Молодой отец узнал об этом только через два дня и от умиления всплакнул в трубку, а когда через три месяца вернулся, то безо всяких волнений получил дочь уже вполне готовую, хорошенькую и пухлую, в байковом одеяльце и даже чуть ли не с розовым бантиком. Этот розовый бантик на одеяле был совершенным плодом погодинской фантазии, и хотя он догадывался, что на деле все иначе, пока не собирался разрушать иллюзию, а всячески поддерживал ее.

Ощущая от простуды небольшую слабость, он не пошел от дома к метро пешком, а стал дожидаться автобуса. На остановке с ним рядом стояла молодая женщина с коляской, в которой полусидел-полулежал маленький ребенок какого-то, с точки зрения Погодина, очень небольшого возраста. На лице у чуда природы расцветал красными розами диатез, кое-где, точно молодыми листьями, подчеркнутый пятнами зеленки. Ребенок

нимало не смущался своим нелепым видом, как не смущался бы вообще ничему происходящему с ним. Погодин подумал, что если бы мимо вдруг пролетел на розовых крыльях автобус или начался бы конец света, ребенок точно так же спокойно, без малейшего удивления, наблюдал бы все это, как таращился теперь на него. Погодин стал смотреть на малыша и, тренируясь, представлять, что это его сын, но его матери это не понравилось, и она закрыла ребенка спиной.

Выходя из метро на станции «Университет», он по привычке бросил взгляд на светящиеся электронные часы перед первым вагоном и увидел, что времени сейчас восемнадцать тридцать две. Позже он часто вспоминал, что посмотрел в этот миг на часы и приписывал это той внутренней связи, которая будто была у него с женой, тогда же он лишь подумал, что семинар у вечерников уже начался и он, как обычно, слегка опоздал.

Шагая вдоль чугунной ограды той дорогой, которой он ходил все годы своего студенчества и аспирантуры, Погодин думал о том, как будет воспитывать сына.

«Надо его сразу начинать учить: вначале говорить, потом как можно раньше читать! Он должен расти талантливым и приспособленным. К мужчинам мир особенно жесток – слабых и глупых он давит и сметает. Сюсюкаться я с ним не буду! Пусть только попробует вырасти нытиком, сразу определю в военное училище, да, именно в военное!.. Решено! Надо и Даше это сказать, пусть не рассчитывает, что он отсидится у нее под юбкой… И к черту всех тещ и теток, чему они его научат?» – сбивчиво думал Погодин и получал удовольствие от ясности собственной позиции.

Он так увлекся, что не заметил, как ноги сами принесли его на нужный этаж, и опомнился только, когда двери лифта разъехались на девятом этаже первого гуманитарного корпуса.

Когда Погодин вошел в аудиторию, его группа давно была на месте и вяло переговаривалась между собой. На всех лицах Погодин увидел то же обычное и равнодушное выражение, которое сегодня так пугало его во всех людях. Ему казалось, что все они плавают в спокойном затхлом киселе, мешавшем им широко улыбаться, порывисто двигаться и ярко выражать свои чувства.

Возможно, поэтому Погодин читал сегодня вяло, затевал ненужные споры, стал зачем-то разбирать грамматические формы «Задонщины», которые и сам, как выяснил, плохо помнил и заставлял студентов вычерчивать генеалогическое древо князей из «Слова о полку Игореве». Студенты представлялись ему скучными и ограниченными, и даже у хорошенькой девочки,

которая сидела у окна и которой он всегда незаметно любовался, сегодня нос казался слишком длинным, а лицо – узким и желтоватым. Семинар затянулся до бесконечности, и Погодин больше самих студентов обрадовался, когда наконец услышал звонок.

После первого семинара сразу начинался второй, у другого курса, и здесь Погодин воспользовался случаем и прочитал подготовленную на завтра лекцию, решив проверить, прозвучит ли она. Почти сразу он пожалел о своей затее, но решил довести ее до конца. Собственный голос казался ему слабым, мысли незначительными и банальными, а когда он хотел сказать что-то новое – слишком сбивчивыми.

Студенты слушали его невнимательно, смотрели осоловело, устав за день, и лишь одна девушка, высокая, нескладная, с костистым и некрасивым лицом, быстро писала в тетради конспект. Кандидату стало жаль ее и он хотел сказать, что она то же сможет прочитать и в учебнике, но он вспомнил, что кто-то говорил об этой девушке, что она точно так же напряженно пишет на всех лекциях, но ничего не может запомнить и на экзаменах плачет.

Лишь под конец, когда до звонка оставалось уже минут десять, Погодин немного разговорился и высказал одну-две свежие мысли, никем не замеченные, потому что все уже устали и даже девушка с конспектами отложила ручку.

Домой Погодин возвращался в самом отвратительном настроении. Он казался себе человеком незначительным, трусливым, нерешительным и поверхностным, слишком легко идущим на компромиссы и боящимся тяжелой кропотливой работы. Погодин вспоминал, как сложно ему всегда было заставлять себя ездить в архивы и сидеть в библиотеках и книгохранах, а без этого настоящий ученый-филолог невозможен. Вспомнил он и много других тяжелых и неприятных случаев, как нельзя лучше доказывавших и подчеркивающих все его слабости и недостатки.

«Мне уже двадцать четыре, а я не совершил ничего яркого, талантливого! В эти годы и Пушкин, и Лермонтов были уже известны и имена их гремели на всю Россию. Раньше мне казалось, мой потолок еще далеко, теперь же кажется, я уже достиг его. Смогу ли я быть хорошим отцом, а если и смогу, вдруг мой сын будет таким же тусклым, как и я сам, или даже еще тусклее? Вот бы он был ярче – в десятки, в сотни раз ярче!» – размышлял Погодин, большими, точно циркульными, шагами приближаясь к дому.

При этом о сыне он думал, как о чем-то еще несвершившемся,

был уверен, что жена еще не родила, схватки оказались ложными и, возможно, ее даже на несколько дней отпустят домой. Эта уверенность была такой сильной, что когда он вернулся, то не стал звонить в роддом, а решил прежде поужинать и выпить лекарства, чтобы наконец прекратился досаждавший ему кашель.

Когда же внезапно зазвонил телефон, Погодин вздрогнул и, засуетившись, подбежал к нему, потеряв по дороге тапок.

Это снова была тетка жены, громкая и взбудораженная:

– Я тебе третий раз звоню, где ты ходишь? Поздравляю, у тебя мальчик, три пятьсот шестьдесят. В восемнадцать тридцать. Голова тридцать шесть… Ты пишешь?

Тетка говорила что-то и дальше, кажется, что Даша плохо тужилась, ей делали какие-то ускоряющие уколы, немного поднялась температура и ее перевели в инфекционное отделение, но Погодин едва слышал, хотя и старался. После он смутно помнил, что тетка сказала и что он сам ответил ей, помнил лишь, что в трубке раздались гудки и он, не осмыслив даже, что на этот раз победил в соревновании, кто даст отбой последним, стоял и слушал их.

Всё было позади, но острая радость, которую он ожидал от этого известия, почему-то пока не приходила. «Наверное, счастье – это предвкушение чего-то. Когда момент наступает, счастья уже нет, но есть удовлетворение…» – размышлял он.

Наутро Погодин позвонил в роддом и выяснил, что может уже принести передачу и послать записку.

– А увидеть? – спросил он.

– Она в инфекционном.

– И что?

– Туда не пускают. И вообще у вас хотя бы флюорография есть? – ответили ему в регистратуре.

– Нет.

– Ну тогда чего же вы хотите? Да оставьте вы свою жену в покое! Пусть отдохнет, отоспится!

Выругав про себя больничные правила, отнявшие у него на несколько дней жену и сына, Погодин долго печатал на компьютере письмо, стараясь, чтобы оно была бодрым.

После университетской лекции он торопливо, то и дело срываясь на бег, подходил к роддому. Он оказался в просторном ходе в минуту, когда женщина, сидевшая в регистратуре, говорила кому-то в трубку: «Девочка, два пятьсот… Да, все нормально!»

Кандидат передал желтый пакет и вложенное в него письмо вышедшей из отделения полной медсестре в белом халате. Во всем облике этой пожилой, неспешной женщины было что-то

надежное и спокойное; так в представлении Погодина и должны были выглядеть медсестры в роддомах, няньки и поварихи. Когда медсестра собралась уже уходить, он попросил ее передать жене ручку и бумагу, чтобы она смогла написать ответ.

Медсестра обернулась. На круглых щеках у глаз обозначились морщинки.

– Записку? – сказала она озадаченно. – Зачем?

– Ну как же? Должен же я знать, что ей нужно! – возмутился Погодин.

– Да прямо у нее спроси! – посоветовала медсестра.

– К ней не пускают.

– А-а, так тебе не сказали! Обойди здание налево и еще раз налево, и там будет их окно. Сто вторая палата.

– А этаж какой?

– Первый. Я же ясно говорю: сто вторая, – пожилая женщина покачала головой и укоризненно удалилась, удрученная его непонятливостью.

Погодин, удивленный, что такой простой способ не пришел в голову ему самому, бросился на улицу и по газону обежал корпус. Он мчался и смеялся над роддомовскими порядками, где с виду все как будто нельзя, а на самом деле все можно. Теперь уже и роддом не казался ему таким мрачным и уродливым, как с самого начала. Погодин заметил, что во многих местах коричневатые кирпичи исцарапаны где острым камнем, где маркером, а где и просто ручкой. Надписей было многие сотни, и они теснили, покрывали и вытесняли друг друга – «Антон 12.01.1990», «Машка Кузина. 25.07.1998», «Сын Петька! 08 окт 1993». Выше других, едва ли не на уровне третьего этажа, куда и дотянуться-то было невозможно, черной краской было крупно и коряво выведено: «КИРЮХА 3-11-89».

«Десять лет почти прошло, а никто выше не залез!» – усмехнулся Погодин, невольно озирая газон и стену и прикидывая, на что мог взгромоздиться неугомонный Кирюхин родитель.

Завернув за угол и пройдя по вытоптанному газону, он сразу нашел нужное окно. Заботливая рука коллективного, из многих людей сложившегося родителя, и здесь постаралась и под каждой рамой где краской, а где и гвоздем вывела номер палаты.

Наступив ногой на выступавший под окном декоративный бортик, а руками ухватившись за крашеную решетку, Погодин подтянулся и заглянул в стекло выше, чем оно было закрашено. На ближайшей к окну кровати он увидел жену. Она была в вылинявшей от множества дезинфекций больничной рубашке, открывавшей острые ключицы и еще больше подчеркивающей ее

худобу. Вьющиеся длинные волосы жены, предмет ее гордости, были туго стянуты светлой косынкой. Жена смотрела куда-то в сторону и Погодина не замечала.

Кандидат хотел уже постучать в стекло, как вдруг дверь палаты открылась и появилась женщина в зеленом халате с какими-то свертками. Думая, что не будет же она его сгонять, Погодин снова хотел перевести взгляд на жену, как вдруг понял, что свертки – это новорожденные дети. Внесшая их сестра подошла вначале к женщине, лежавшей у двери, а потом к его жене и протянула ей второй сверток.

Жена неуклюже и очень осторожно взяла его и поднесла к груди, держа так, будто это было что-то стеклянное и очень хрупкое. Погодин понял, что этот сверток и есть его сын, и все в нем замерло от любопытства и нетерпения. С того места, где он стоял, он мог рассмотреть лишь большое красное ухо и часть щеки. Подождав, пока медсестра уйдет, он постучал согнутым пальцем в стекло. Жена подняла голову и, заметив его в стекле, посмотрела укоризненно и погрозила пальцем.

Оторвав правую руку от решетки и нетерпеливо замахав, Погодин потребовал, чтобы она поднесла сына ближе к окну. Спустив с кровати босые ступни, жена подошла и на вытянутых руках показала ему ребенка. У сына были короткие и словно мокрые светлые волосики, сквозь которые просвечивала голова, сморщенное багровое лицо, закрытые глаза и синевато-малиновые тонкие губы. Этими губами малыш постоянно делал странные движения, то расширяя их, то сужая и просовывая между ними кончик языка. Изредка он открывал узкогубый рот и икал. Ребенок показался Погодину некрасивым, почти страшным, но он все не мог оторвать от него взгляд, надеясь увидеть на его лице хотя бы крупицу осмысленного выражения. В то же время по лицу жены Погодин видел, что сын ей нравится, и это открытие было ему удивительно.

Находиться на вытянутых руках жены в вертикальном положении было ребенку неудобно или из окна в глаза бил слишком яркий свет, потому что сын вдруг широко открыл рот, побагровел и издал негромкий, противный, но продолжительный мяукающий звук, ошеломивший его отца. Жена засуетилась и, забыв о Погодине, стала неумело прикладывать ребенка к груди. Она повернулась и ничего не стало видно, кроме ее спины.

Погодин спустился с окна, испытывая скорее разочарование, чем радость. Ему сложно было поверить, что этот багровый, орущий кусок человеческой плоти и есть его сын, которого жена вынашивала в своем чреве долгие месяцы. В то же время, несмотря на разочарование, Погодина постепенно заполняло

новое, сильное чувство ответственности и долга, и он почувствовал, что, если потребуется, он станет защищать этот мяукающий багровый сверток даже ценой своей жизни.

Возвратившись домой и предвкушая, что он сейчас сделает, Погодин тщательно вымыл руки, взял отвертку и плоскогубцы, разложил на газете болты и неумело, но очень тщательно стал собирать детскую кроватку, прежде стоявшую за шкафом для экономии места. Именно в этот момент он ощутил себя отцом.

Беглая невеста
Татьяна Алюшина, инженер, прозаик

По словам автора, стала писателем совершенно неожиданным и странным образом – придавила как-то жизнь в очередной раз, все и сразу навалилось, так, что не продохнуть. И вместо того, чтобы пожалеть себя, Татьяна вдруг почувствовала страстное желание выговориться бумаге – села и написала первую книгу. Автор уверена, что счастье всегда рядом, нужно только суметь впустить его в свою жизнь.

* * *

Всякое бывает.

Все мы живые люди и умудряемся такие лихие выкрутасы выделывать в своей жизни, иногда прямо на пустом месте, и таких порой самим себе проблем наворотить, что потом только разгребай да крякай, поругивая дела свои по-тихому, чтобы никто не услышал. А уж судьбина наша – так и вообще баба предательская, иногда такое вытворит, только руками разведешь от недоумения.

И что? А ничего: куда деваться – снова закатывай рукава да разруливай, теперь уж поругивая ее!

Сложных ситуаций, когда мне приходилось принимать непростые судьбоносные решения, менявшие и переворачивающие всю мою жизнь, частенько кардинально ее переворачивающих, хватало с лихвой.

Иногда – так и с излишним перебором. Всякое бывало…

Честно говоря, с большим удовольствием обошлась бы я житьем тихой-мирной сапой, простой, не закрученной в лихой сюжет судьбой, чем переживать передряги всякие. Но уж как сложилось, так сложилось, и какая судьба выпала, ту и будем донашивать.

Главное – не сдаваться и крутить неприятностям фигу, всем чертям назло.

Впрочем, не я одна такая – моему поколению вообще досталось натерпеться: и конец социалистического строя, и перестройка эта – дурная да непутевая, и полный беспредел девяностых с абсолютной анархией, разграблением страны, вседозволенностью и отстрелом тех, кто оказался круче и наглей.

Но мне хочется рассказать вам совсем не об этом, не о жизненных перипетиях, через которые довелось пройти, и не об ужасах времени глобальных перемен, а одну историю из моей юности.

Историю о том, как мне пришлось в первый раз принимать по-настоящему взрослое решение, действительно поменявшее мою жизнь.

Имена и фамилии некоторых героев и участников моего повествования я изменю, чтобы никого не обидеть и не задеть, а если кто-то все-таки и обидится, узнав себя в некоторых персонажах, то заранее прошу у него прощения… или и бог с ним, с обиженным, пусть таковым и остается.

А началась эта история летом, после окончания мной восьмого класса.

Лето – штука классная сама по себе, это известно всем.

А лето, курортный город союзного значения, море, фрукты, кафе-бары, вечная музыка на набережной, танцы, походы в горы и в лес, дикие пляжи – это полное счастье чистейшей пробы! Поверьте мне!

Особенно когда тебе пятнадцать-шестнадцать лет, ты абсолютно свободна от любой учебы, сверх всякой меры деловита; уверена в себе, в своей привлекательности и своем безоговорочном знании жизни, имеешь определенный авторитет среди сверстников и где-то рядом всегда ошивается парочка влюбленных в тебя мальчиков – в общем, полный шоколад!

Однако наша летняя жизнь не состояла из сплошного отдыха и развлечений и не протекала абсолютно беззаботно и праздно, как у счастливых отдыхающих в нашем городе-курорте. Как и у большинства моих сверстников, у меня были обязанности по дому и хозяйские дела: например, убирать квартиру, покупать продукты, выполнять разную иную рутинную мелочовку.

Но делали мы все это быстро-быстро! Прямо цирковые номера устраивали по скорости уборки и выполнению домашних дел.

Очень быстро – у вас так не получится!

Ведь самое главное: после выполнения всех этих поручений, данных ушедшими на работу родителями, ты становился свободным, как ветер, и можно было идти на море и приступать непосредственно к отдыху и развлечениям.

Житье в курортном городе в те теперь уж далекие, почти эпические советские времена было не таким уж безоблачно прекрасным, как казалось большинству населения страны.

Ну, во-первых, толпы людей отдыхают, загорают на море,

резвятся на отпускной свободе, а местные жители-то работают и море видят исключительно в окна своих контор. А во-вторых, как-то с самого рождения обнаруживается, что у тебя имеется огромное количество родни – как близкой, так и далекой, а порой и практически незнакомой, и еще большее количество друзей этой самой родни, и все эти люди с удовольствием приезжают летом вас навестить «с проживанием»…

Но любимую близкую родню мы всегда ждали с радостью и нетерпением, как праздника.

Такой любимой и родной была приехавшая к нам Любаня, моя ровесница и двоюродная сестрица. Вот с ней вдвоем мы и отрывались на летнем отдыхе на всю свою подростковую катушку.

День у нас протекал приблизительно таким образом: просыпались, завтракали, получали от моей мамы поручения по хозяйству, со стремительностью пули выполняли все задания и садились передохнуть.

О! Это – отдельная тема!

Под неспешные обсуждения планов на день мы лупили с особым эстетским удовольствием по здоровенной миске свежайшей, вкуснейшей клубники, посыпанной сахаром и давшей сок, или черешни, или малины, или всего сразу: количество съеденных ягод-фруктов измерялось мисками – мелко не плавали!

А потом шли на море, прихватив с собой еще фруктов и огромных крымских розовых помидоров «бычье сердце», которые вкуснее всего было есть просто так – откусывая и присыпая крупной сольцой сверху.

Ум-м-м!

На пляже, само собой разумеется, мы проводили время не вдвоем, а с компанией – плавали до посинения, ныряли до головокружения, играли в карты, болтали обо всем на свете и, понятное дело, выпендривались, рисовались перед мальчишками, а они перед нами.

Возвращались домой, смывали с себя морскую соль, обедали, уставшие от активного отдыха, валялись на балконе на диване, выполняли очередные поручения мамы.

А к вечеру, причепурившись, двигали в город – гулять.

Дефилировать по набережной туда-сюда, демонстрируя себя, красавиц таких, и разглядывая отдыхающую публику.

Имелось у нас и еще одно важное развлечение – танцы.

Это особая тема! Значит, так: танцплощадок в нашем городе было две – «Дружба», считавшаяся условно молодежной, и «Курзал» – для более солидной публики. Танцы начинались поздно, часов с восьми-девяти, а нам разрешено было гулять

только до десяти. Но, поверьте, мы многое успевали за это время!

По дороге на танцульки заходили в бар, где в основном зависала местная молодежь, выпивали по знаменитому коктейлю «Аленка», состоявшему из лимонного сока, сиропа и минеральной воды, зато подавался он по-взрослому: в красивых бокалах и с трубочками. Это был ритуал всех местных подростков: зайти в бар, поздороваться со знакомыми, с некой такой ленцой в голосе уставших героев, уже все понявших и узнавших «про жизнь», перекинуться словами и сплетнями и двигаться дальше по парку – к танцплощадкам.

Полчаса, минут сорок – на танцы, и вот мы с Любаней уже бегом, прямо-таки стремительной рысью мчались через всю набережную на автобус, чтобы успеть домой до комендантского часа и не получить нагоняй с возможным наказанием в виде запрещения чего-либо, например, того же моря или танцев.

И всю дорогу мы с сестрицей хохотали, вспоминая проведенный день, и что веселого за этот день произошло, потому что были молоды и задорны, а лето располагало к бесшабашности.

И вот в этом состоянии непреходящего праздника лета-солнца-моря я и встретила ЕГО!

И был он необыкновенным…

Разумеется.

Никаким иным он быть не мог, как вы понимаете.

Вернее сказать – мы с сестрицей Любаней его встретили.

Молодой человек был старше нас на пару с небольшим лет, звали его Вадим. Он приехал из города Риги в Крым один, без друзей и родни – погулять, позагорать и оторваться перед армией, в которую его призывали уже через месяц-полтора.

Он был по-мужски очень симпатичным и привлекательным, немного загадочным, носил длинные светлые волосы, чуть ниже шеи, говорил с мягким прибалтийским акцентом, как-то по-особому шикарно курил сигареты, одевался в настоящие импортные джинсы-клеш и футболки с иностранными картинками и надписями.

Он казался нам совершенно «не нашим», каким-то совсем заграничным.

Конечно, мы с сестрицей обе в него тут же влюбились и всячески с ним заигрывали, стараясь изо всех сил преподнести себя в самом шикарном свете: умничали ужасно, несли что-то там о литературе, которая была ему глубоко до лампочки, что-то там о современной музыке…

И подкрашивали глазки, и как-то одевались-наряжались, и

прямо-таки – ух!

Мы прекрасно проводили время втроем: ездили на экскурсии по разным достопримечательностям, коих в моем городе и окрестностях – не счесть, проводили время на пляже и заседали в кафе – в общем, культурно так, в рамках простой дружбы.

По молодости лет мы с Любаней не очень понимали – что конкретно бы хлопцу прибалтийскому от нас хотелось, с учетом его скорого отбытия в ряды Советской армии и объявленной программы «отрыва на курорте перед вступлениями в ее ряды». Не то чтобы мы совсем уж идиотками малолетними были, но до сексуальных фантазий и раскрепощенности пока еще не дозрели.

Впрочем, надо отдать должное: Вадим вел себя по-джентльменски – пошлостей, намеков и прямых предложений себе не позволял.

Как-то мы пошли на пляж во время сильного шторма. Я девушка местная и про эти морские коварства все очень хорошо знаю, Любаня тоже барышня осторожная – в воду не полезла, да я бы ее и не пустила. А вот гость заграничный, бесшабашный решил порезвиться в волнах пятибалльного штормика, которого в их балтийской луже отродясь не бывает.

Вдруг видим: из волны Вадим кое-как с трудом выбрался, а идти не может, хромает…

Мы, две бесстрашные советские девушки, бросились на выручку товарищу. Выяснилось, что у него имелась какая-то давняя травма колена, и, когда он перегружает ногу или повернет неудачно, оно тут же выскакивает и болит.

Ну что? Потащили мы его вдвоем, как санитарки военные, на своих плечах в травмпункт – весело было!

Он тяжеленький оказался, еле доволокли – вспотели, ноги дрожат, тихо поругивались про себя, но тащили. В травмпункте ему колено обработали, сделали обезболивающую блокаду и посоветовали не нагружать хотя бы пару дней.

И вот тут я получила серьезные преференции по сравнению с любимой сестрицей.

Извини, Любаня!

Она уезжала домой, срок ее отдыха на море заканчивался, а я оставалась с раненым бойцом. Помахав на прощание по-честному, от всей души, Любочке ручкой, я обрушила на прибалтийского красавца всю мощь своего обаяния…

Ходить Вадим начал через два дня, как и прописали врачи, правда, чуть прихрамывая, но это лишь добавляло ему мужского шарма. Мы гуляли, плавали в море, сидели в кафе, и он угощал меня запретным шампанским и терпким крымским вином – по

чуть-чуть! Никаких злоупотреблений! И учил меня целоваться под благоухающим олеандром и рододендроном, под аккомпанемент одуревших от жары цикад, и я совершенно и окончательно влюбилась…

И как-то само собой получилось так, что он назвал меня своей девушкой, и мы договорились, что я буду писать ему письма и дождусь его из армии.

Все невинно и о-о-о-чень романтично!

Вадим уехал.

А у меня начался новый учебный год.

Ну, школа, держись! Я и так-то была деловая колбаса, а сейчас, при наличии почти заграничного жениха, так и вообще стала «на кривой козе не объедешь!».

Крутизна!

Объясню.

Вообще-то в школе я резвилась. Не я была для школы, а скорее школа для меня. Училась хорошо, правда, не на золотую медаль, не напрягалась я до такой уж степени – не видела в этом особого смысла, но на твердый пятибалльный аттестат преспокойненько себе шла, знания давались мне легко и не мешали отрываться от всей души.

Я была комсоргом класса, принимала самое активное участие во всех общественных мероприятиях.

Учителем математики была у нас классный руководитель параллельного класса – совершенно потрясающая, необыкновенная женщина Маргарита Алексеевна Мещерская. Преподаватель от Бога, строгая, порой сурово требовательная – могла так словами отхлестать, что ученик ходил потом пару дней красным как рак – но она была настолько свой человек, что мы ее обожали. Она была и великая придумщица, талантливый организатор. Под ее руководством у нас сложился такой творческий коллектив из учеников обоих классов – мы дружили очень тесно, как одна семья – человек двенадцать, и мы ставили театральные костюмированные постановки, инсценировки песен, спектакли и капустники. На таком высоком уровне ставили, что наши выступления посещало разнообразное городское начальство.

Как-то так получилось, что я в этом возрасте была такой совсем не по-советски раскованной, задиристой, ни черта не боялась.

Например, мы с моей близкой подругой из параллельного класса и соседкой по дому Леной, изображая чрезмерную общественную озабоченность школьными проблемами, просто

тащились от игры в социалистический энтузиазм, хотя и на самом деле много чего делали на благо родного учебного заведения.

Ну, эдакие затычки в любую бочку: то рояль в актовом зале расстроился, а у нас «капустник» на носу, то надо бы инвентарь спортивный обновить, то не мешало бы учителям принимать участие в политинформациях и прочее.

И со всеми этими проблемами – надо, не надо – к директору!

С деловым видом и комсомольскими повадками крутых общественниц.

Директор выходила из своего кабинета, замечала нас с Ленкой в другом конце коридора, шустро-шустро разворачивалась и стремительно исчезала, а иногда – просто пряталась назад в кабинет.

Мы квалифицировали такое поведение как побег.

Я могла подбить коллектив на что угодно, на любую авантюру, особенно если заявляла, что как комсорг всю ответственность беру на себя. И брала между прочим, и отстаивала потом перед педсоветом и черт знает кем из начальства грозного своих одноклассников, и они знали, что если понадобится – я за них горой встану где угодно.

А отстаивать приходилось частенько, и делала я это с огоньком. Однажды, например, «выступила» на уроке труда. Была у нас такая учительница, не стану ее называть, неплохая, в общем-то, нормальная женщина, учила нас готовить, шить на машинке, вязать и другим хозяйственно полезным для девочек навыкам. Но имелась у нее одна неприятная привычка – когда ей что-то сильно не нравилось в поведении учениц – только учениц, ибо уроки труда у нас проводились отдельно от мальчиков, – она обзывала нас дебилами.

Вот так, с чувством, на нерве: «Дебилы вы эдакие!»

И как-то раз, после очередного оскорбления встала я, комсорг класса, и спокойно обратилась к учительнице:

– Дебилизм, как известно всем, это физический недостаток, болезнь мозга, а наша коммунистическая партия запрещает критиковать физические недостатки человека, – и нежненько так поинтересовалась, со всей своей душевностью: – А вы что, не согласны с политикой нашей партии?

Бедная тетка покраснела, закашлялась и, махнув рукой, выскочила из класса.

Ну а вы что хотели? Я – дочь убежденного коммуниста, имеющего сертификат лектора-международника, состоящего в общесоюзном обществе «Знание», политического работника со стажем, который и дома почитывал нам лекции, доводя дочерей

до белого каления. Я эту демагогию могла часами разводить, если понадобится!

Был и еще один, запомнившийся многим, случай.

Непонятно, каким чудом прорвался на киноэкраны нашей страны сильно капиталистический японский фильм «Легенда о динозаврах». Ребята! Это был первый настоящий «ужастик» после пресловутого отечественного «Вия», снятого черт знает когда, да и на страхи-ужасы особо и не тянувшего.

А тут! «Их» фильм! Да еще не просто «их», не какой-нибудь там соцлагерь дружественный, а японский! Там же капитализм сплошной!

Да еще и ужастик! Это же явление!

Все было устроено по-хитрому – вроде и разрешили фильму капиталистическую партийные начальники, но – в затрапезных кинотеатрах, но – единственный сеанс в двенадцать часов дня, и всего на неделю. То есть купить билет простому гражданину на выходные в этот небольшой кинотеатрик было вообще нереально – все места распродали еще до выхода фильма горкомовским и всяким иным начальникам!

Народ в классе обсуждал данный факт, негодовал и вдруг я предложила, перебив балаган возмущенных выступлений:

– А пошли прямо сейчас!

Любимые одноклассничи обалдели: «В каком смысле – сейчас?»

– Да в таком: прямо сейчас, – объясняю я. – Как раз на двенадцать успеем. Ответственность беру на себя.

Ну, мы и пошли всем классом.

Кроме одной девочки, нашей отличницы и гордости всех учителей. Она спокойно так объяснила, что прогуливать уроки не собирается – хоть скопом со всеми, хоть в одиночку, считает это неправильным.

Никто отговаривать ее не стал, а я прониклась к ней еще большим уважением, чем прежде – это же смелость надо иметь, пойти против всех! Смелость отстаивать свою позицию!

Фильма иностранческая нам понравилась! Визжали, пищали девчонки, мальчиков за руки хватали со страху, глазки закрывали, когда там динозавры всех жрали, за раз половину тела откусывали…

Но, понятное дело, за все надо платить, а уж за такую возмутительную самоволку – и подавно.

Переполох в школе поднялся!

Ну, еще бы – целый класс сбежал с уроков. Ждали нас при входе в школу всем преподавательским составом во главе с директором и присоединившимися к учительской «комиссии по

встрече» представителями комитета комсомола. Я с ходу оптимистично пообещала, что «щас все объясню» и под конвоем возмущенных комитетчиков была препровождена в учительскую, где и происходило заседание «трибунала».

Учителя и бравые комсомолята расселись за длинным столом, поставив меня перед собой, выступили с гневными обвинительными речами и дали слово мне.

– Я намеренно повела весь класс на этот фильм! – заявила я.

– Как?! – возмущенно выдохнул потрясенный трибунал.

– Да, именно намеренно, – уверила я и пояснила с твердостью пламенного партийца в голосе: – На очередном пленуме партии Леонид Ильич сказал, что мы должны знать методы воздействия наших идеологических врагов на умы и сердца нашей молодежи. Мы должны понимать и разбираться в их псевдокультурных ценностях, которые они всячески пытаются навязать нам через свои фильмы, книги и современную музыку. И особо подчеркнул: не просто знать, а и развенчивать их обманную привлекательность.

Педсовет дружно крякнул и приуныл. Про партию судьи явно не ожидали. Против такого «лома», как высказывание вождя с официальной трибуны, попереть было весьма проблематично. А говорил ли он об этом на том пленуме или нет – поди знай! Изучать все, что вещали в те годы наши канонизированные партийные старцы на всяческих официальных мероприятиях, дураков не было. Ну, еще выкладки съездов тезисно, спущенные из горисполкома – куда ни шло, а уж пленумы – извините! Им и счета не велось! Даже такой подкол был при приеме в комсомол, когда с непроницаемым выражением лица кто-нибудь из приемной комиссии спрашивал:

– Какой последним по счету прошел пленум нашей партии?

И всенепременно требовалось четко и уверенно отвечать:

– Очередной. Счет пленумам в нашей стране не ведется.

Поэтому точно знать, что там говорил Леонид Ильич и его соратники на пленумах и съездах, добровольцев находилось мало и уж точно – не из числа нормальных учителей и обычных граждан.

– Вот почему, – продолжала я тоном честнейшей партийки, – я и предложила просмотреть этот фильм всем классом. Ознакомиться с творчеством, так сказать, вражеских режиссеров. Завтра мы планируем провести политинформацию после уроков и обсудить этот фильм и его негативное воздействие.

Повисла тишина. Где-то через полминуты директриса спросила строгим голосом:

– Почему не предупредили преподавателей о намеченном

мероприятии?

– Времени не было, – перешла я на покаянный тон: а почему нет, можно и покаяться, чтобы людям приятно было. – Нам сказали, что сегодня он идет последний день, и мы еле успели на сеанс.

– Это неправильно, – взбодрилась директриса, – предупредить учителей и завуча вы были обязаны. – Да, я понимаю, простите, – еще разок покаялась я и с честной наивностью во взоре предложила: – А приходите к нам завтра на политинформацию! – заранее зная, что желающие слушать идеологическую дискуссию после целого дня работы вряд ли найдутся.

– И как фильм? – спросил вдруг с искренним интересом председатель комитета комсомола.

– Ужасно! – честно призналась я.

Никакого наказания, понятное дело, после такого моего выступления с упором на Леонида Ильича ни я, ни наш класс в целом за самовольную отлучку не получили.

Ну еще бы! Никто не стал раздувать скандала, а то вдруг дойдет до горисполкома… Наш побег в кино обозначили как «запланированное мероприятие», которое прошло официально по всем отчетам школы: «Ознакомление с иностранной пропагандой и объяснение ее разрушительного воздействия на умы молодежи». Разумеется, «в свете постановлений и рекомендаций нашей партии».

Кстати, мне удалось сходить на этот фильм еще разок с подружкой, нам нечаянно перепали два билета на выходной день.

Ох, мы и попугались от души!

Теперь этого кинотеатрика уже нет.

А жаль: им заведовал замечательный директор, который какими-то совершенно неведомыми путями умудрялся заполучать в прокат интересные заграничные фильмы. Там я, помнится, посмотрела «Жизнь взаймы» по Ремарку – американский фильм, который меня просто потряс…

В девяностые здание кинотеатра долго стояло заколоченным, потом в нем обосновался какой-то банк, вскоре разорившийся, потом еще какой-то банк, ну а сейчас там находится магазин продуктов.

Еще в плане приколоться-повеселиться от души я любила уроки НВП. Кто не знает, объясняю: так сокращенно называли уроки начальной военной подготовки.

Вел их подполковник в отставке по фамилии Жмыкин. Это был полный улет!

Маленький, с круглым выпирающим вперед животом, с короткими руками, которые тонули в рукавах его любимого длинного кожаного форменного плаща – лишь кончики пальцев были видны. Он был на всю голову советский военный с эдакой завышенной самоидентификацией себя в жизни и с полным отсутствием чувства юмора.

В подсобке класса по НВП среди сложенных горкой противогазов, длинного сейфа с автоматами Калашникова, стопкой плакатов и пособий, муляжами гранат и всякой другой ерунды размещался столик для работы преподавателя над планами и тетрадками, на самом же деле – удобный уголок для приватных посиделок. А в небольшом личном сейфике у военрука хранилась бутылочка «беленькой» и ядреная закуска к ней с такой чесночной составляющей, что можно было от духа, который он распространял, «чисто забалдеть». Правды ради, надо отметить, что опрокидывал Жмыкин рюмашку-другую только после уроков или в случае большого нервного потрясения. Мог делать это в одиночестве, но по большей части предпочитал компанию трудовика.

Если бы я знала, что стану писателем, то обязательно бы записывала за подполковником Жмыкиным все его высказывания! Это были настоящие шедевры. Мы дружно ухохатывались над ними, но терпели и изображали видимость должного подобострастия и солдатского рвения.

Так вот, это все была присказка, а теперь – вот вам и сказка.

По правилам, все ученики обязаны были на уроки НВП носить форменные военные зеленые рубашки и галстуки к ним. Низ рекомендовалось доукомплектовывать: мальчикам – темными брюками (поверьте: светлых брюк в школу никто и так не носил!), а девочкам – обувью на низком каблуке не выше трех сантиметров и темными простыми юбками не выше колена.

Я – и какие-то там правила-установки?

Ну, вы уже поняли.

Ходила я исключительно на каблуках не ниже семи сантиметров, а действительно строгая на первый взгляд длинная узкая юбка до середины голени… имела не самый приличный разрез с запахом спереди.

И когда я маршировала…

А ноги у меня были такие, знаете… как надо ноги! Вполне себе достойные. Впрочем, они остаются таковыми и до сих пор.

Зрелище взлетающей вверх в строевом шаге девичьей ножки у подполковника Жмыкина проходило по разряду большого нервного потрясения. И, прогнав меня пару раз туда-сюда по коридору перед одноклассниками, якобы для демонстрации

идеального парадного шага, он загонял нас в класс, удалялся в подсобочку. Выходил он оттуда с красной ряшкой, довольно отрыгивал, распространяя на весь класс убойное амбре, поглаживал себя по галстуку и уже такое нес, что только конспектируй! Он забывал, кого спрашивал, а кого нет и кому какие оценки поставил. Чем мы и пользовались, уверяя подполковника:

– …да я в прошлый раз отвечал! Вы мне четыре поставили!

Часто это срабатывало.

Понятное дело, были у нас и серьезные уроки по НВП: и автоматы мы разбирали-собирали на время, ломая девичьи ногти, и стреляли в школьном тире по мишеням, что тоже являлось большим нервным стрессом для нашего военрука, ибо девичьи ножки учениц старших классов, стрелявших с позиции лежа…

Нелегко приходилось подполковнику.

Нам с ним – тоже.

И вот при всей своей деловитости и известности в школе я получила еще и дополнительный, совсем уж убойный бонус – молодого человека, «моего парня», который служил в армии. И фотографию которого в военной форме, улыбающегося загадочно на западный манер – красавец киношный прямо! – с небрежностью бывалой дамы я демонстрировала девчонкам двух классов в раздевалке перед физкультурой.

Два года пролетели незаметно.

К тому же в десятом классе я стала посещать театральную студию, которую вел один столичный режиссер, вынужденный временно поселиться в Крыму по рекомендации врачей – для излечения легочного заболевания.

Отчего-то я решила, что из меня выйдет отличная актриса для ведущих театров страны, да и столичный режиссер этот поддерживал мои устремления в столь амбициозных планах на шикарное будущее.

За день до выпускного вечера я получила большой нежданный подарок – с прибалтийских берегов приехал Вадим!

Вот такой вот сюрпризец!

За два года я совершенно от него отвыкла, да и, собственно, и привыкать еще не начинала. Но, помаявшись душевным неудобством первые минуты, я напомнила себе, что вообще-то это «мой парень» из армии вернулся, и мне вроде как положено его любить и радоваться долгожданной встрече!

Я и начала радоваться.

С выпускного вечера я слиняла.

Получила аттестат, выпила с одноклассниками бокал

шампанского, села в такси и укатила домой, где ждал меня Вадим, по праву моего парня остановившийся жить у нас.

Мы снова гуляли, целовались до умопомрачения, пили терпкое крымское вино, купались голышом ночью в теплущем море, разговаривали о будущем…

За день до отъезда он сделал мне предложение.

И я согласилась, проигнорировав возможность подумать над столь серьезным решением.

Вадим уехал уже в качестве моего жениха, а у меня начиналась пора поступления в вуз.

В какой?

Все и так понятно – в артистки!

Разумеется, в Москву… Не в Жмеринку же!

Боже мой! Сейчас вспоминаю и удивляюсь – ну, своей упертой глупости не очень, а вот маминой мудрости и терпению до восхищения. Как она вообще все эти мои фокусы вынесла и вытерпела?!

Мама меня не отговаривала, не приводила совершенно закономерные и весомые аргументы против такого решения. Она сказала: «Вот прямо тебе приспичило в артистки? Ну, давай, доченька, попробуй, чтобы потом всю жизнь не жалеть об упущенной возможности воплотить свою мечту и чтобы не обвинять родителей, что не пустили и отговорили».

И доченька попробовала.

Не поверите – прошла все три тура прослушивания и даже сдала документы в Щепкинское театральное.

И тут….

Что это было – до сих пор не знаю и не понимаю.

Может, Судьба?

Стоим мы так стайкой из трех счастливых девушек, прошедших все туры предварительного прослушивания и уже подавших документы, и подходят к нам две разбитные девицы. Показали мимолетно свои студенческие книжки, представились второкурсницами и принялись объяснять нам «настоящие правила поступления». Дескать, чтобы действительно поступить – надо переспать с кем-то из преподавателей: выбирайте с кем. И – веером перед нами стопку фотографий известных артистов-мужчин…

И я, вместо того чтобы послать барышень подальше и понять, что это чистой воды подстава и развод – вся такая умная-умная, крутая-крутая, язвительная, отвечавшая влет на любую реплику, – развернулась, забрала документы и ушла.

А то! Буду я в этом участвовать! Меня жених в Риге ждет!

Ну, как это назовешь?..

Ни одну из тех девушек – как поступавших, так и разводивших нас – я потом никогда не видела ни в кино, ни в одном из театров Москвы и Питера.

Да и Бог с ними со всеми.

Меня ждала Рига и Вадим!

Любов-в-в-в…

Перед тем как отпустить доченьку в Ригу, мама посадила меня напротив и пояснила, что лучше бы мне свою девичью честь сохранить до замужества, в интимные отношения вступать не торопиться. Да и вообще ни с чем не торопиться…

– Слетай в гости, познакомься с его родственниками, присмотрись к самому Вадиму – и не спеши. Надо все обсудить, решить, подумать. Да и поступить тебе в институт нормальный надо.

Доченька покивала, пропустив все наставления мимо ушей, и вперед – в Ригу!

В очередной раз восхищусь своими родителями и поражусь их мудрости и терпению, особенно маминому, ибо в основном на ее плечи легли все проблемы и тяготы, которые я устраивала самой себе, а заодно – и близким.

Родителям моим Вадим не нравился. Категорически.

Вот не понравился сразу.

– Не твой это человек, – сказал папа.

Мама согласилась с ним молча. Но никто из них – ни папа, ни мама – отговаривать меня съездить к жениху прибалтийскому или выходить за него замуж даже и не пытались.

– Это твоя жизнь, и как бы он нам не нравился, но отговаривать тебя мы не станем. Мы свое мнение высказали, а решать ты будешь сама, – сказала мама.

Да уж, вот тебе и ответственность настоящая во весь рост!

Но я поражаюсь! Как мама все это терпела – то мои поступления на артистки, то эти полеты в Ригу и Москву – я же продолжила поступать в Москве! И они дали мне денег – и на поступление, и на Ригу, – а ведь зарабатывали, как все тогда в стране: не разгонишься. Мама начала подрабатывать репетиторством – брала учеников.

А я летала!

Крым – Москва – Рига, Рига – Крым – Москва… и так далее.

С мечтами о великой актрисе было покончено, и меня попробовали пристроить в институт легкой промышленности на факультет дизайна, который моя любимейшая московская

родственница Валюша закончила когда-то сама и имела там хорошие знакомства и какие-то связи.

Однако оказалось, что по знакомству туда тоже не сильно попадешь: конкурс был приличный, не задрипанный институтик какой-нибудь, а вполне серьезный. И главное: надо было сдавать рисунок на вступительных экзаменах.

Какой рисунок?! Я отродясь никогда не рисовала ничего, кроме цветов в детском саду, в глубоком младенческом возрасте. Чертила хорошо, это да, а чтобы рисовать….

Но Валюха выдала мне лист бумаги, карандаши, смастерила что-то вроде натюрморта из скомканной вокруг кувшина дорожки на полу, набросанных вокруг него клубней картошки и яблок, включила настольную лампу, направив ее свет на эту инсталляцию, выключила верхний свет, зевнула и сказала мне:

– Пиши.

Развернулась на диване к стенке и уснула.

А я и писала всю ночь.

Утром она проснулась, протянула руку вниз, где я спала прямо на полу, держа в руке свой рисунок, вытянула у меня из пальцев ватман, посмотрела и вынесла вердикт:

– Нормально, справишься.

Рисунок я сдала на четыре. Представляете?!

И срезалась на остальных экзаменах, не добрав полбалла для поступления.

Но мне было совершенно не до поступлений и остальной ерунды! У меня же – любовь, и я собиралась замуж. Все по-взрослому и серьезно!

В первый раз, прилетев в Ригу, я пережила целый букет потрясений и открытий.

Ну, во-первых, мой любимый Вадим проживал вместе с мамой в старой части города – не той, что совсем уж старинная, а чуть «посвежей», но тоже «сильно исторической». В квартире с потолками метра четыре, с полом из дубовых досок, с высоченными дверными проемами, в доме совершенно уникальной архитектуры.

Во-вторых, и, наверное, в главных, – родня!

О господи! Свекровь!

Я как-то совершенно забыла, что дополнительным пакетом к любимому мужчине прилагаются его родственники, и мама – в первую очередь.

А мама у нас та еще была, я вам скажу! Наполовину латышка, наполовину полячка – Людвика Брониславовна!

И полностью полячка по характеру.

Моим родителям Людвика Брониславовна ответила глубокой

взаимностью – я ей не понравилась категорически и целиком. Какая-то русская невестка ее не устраивала абсолютно. Если честно, ее вообще-то никакая невестка не устраивала, одна у нее уже имелась – жена старшего сына, с ней она поддерживала холодный нейтралитет.

Живем порознь, видимся редко – и слава богу!

Кстати, муж ее, отец Вадима и его брата, был со всех сторон русским, так что особо выступать по национальному вопросу Людвика Брониславовна не могла. Да и времена стояли еще глубоко советские – тогда мало кто высказывал свои претензии по этому вопросу. По крайней мере, открыто.

А вот по поводу меня как личности мама Вадима проходилась с удовольствием, огоньком и нескрываемым сарказмом.

– А как это вы, Таня, из артисток в телефонистки скатились?

– Не поступила, – мило улыбалась я в ответ.

– А мы тут думали-надеялись, что с актрисой породнимся…

И впервые в жизни мне приходилось терпеть, улыбаться, помалкивать, что давалось особенно тяжело при моем характере.

А куда деваться? В этой огромной квартире мне выделили место на диване в гостиной, с которого на вторую ночь долгими горячими уговорами я была переведена Вадимом в его комнату на его кровать. На что утром Людвика Брониславовна мимоходом заметила язвительно:

– Ну что, согрешила? Ай-яй-яй, а такие интеллигентные родители, – и, довольно улыбнувшись, отправилась на работу.

Уклад и быт этой семьи настолько отличался от моей, от того, к чему привыкла я, что приходилось все чаще и чаще помалкивать и учиться принимать обстоятельства такими, какие они есть, коль уж я тут в невесты намылилась.

Отношения мамы с сыновьями и братьев между собой больше напоминали соревнования, чем родственную близость. Или мне так по молодости и неопытности казалось…

Вадим позволял себе частенько вступать в препирательства с матерью тоном «кто в доме хозяин» или «я мужик, значит, по определению умней и лучше знаю, что делать». Но Людвика Брониславовна не обращала внимания на его замашки альфа-самца и гнула свою руководящую линию. Дебаты на эту тему происходили между ними каждый день в разной степени интенсивности и накала.

Иногда забегавший в гости старший брат Вадима примыкал то к одной стороне, то к другой, и все вместе они дебатировали еще громче и жарче, частенько продолжая эти разборки за столом с ужином и бутылочкой.

Все это происходило либо рано утром, либо вечером,

поскольку все работали.

Практически сразу после возвращения из армии, после поездки Вадима в Крым ко мне, Людвика Брониславовна устроила сына работать на завод. Ах да, я забыла упомянуть, что мой любимый имел вполне уважаемую профессию машиниста-слесаря какого-то там разряда, которую честно получил в ПТУ. Дальше учиться он не намеревался, считал это пустым времяпровождением, аргументируя свою правоту тем, что никто в его семье не имел высшего образования, и жили они при этом всегда в достатке и припеваючи, зная, где, что и как можно стибрить и прибрать и где – выгодно подзаработать своей профессией.

Мама его, например, работала закройщицей в известном в Риге ателье и жила себе вполне шоколадно. Брат – не помню, кем трудился, но несчастным он точно не выглядел, а давно почивший батюшка тоже когда-то имел вполне доходную рабочую профессию.

Что ж, не всем же институты заканчивать, кому-то надо и реальное дело делать.

Мои попытки куда-то там поступать и твердое намерение повторить их в следующем году Вадим считал чистым баловством и категорически осуждал.

Но все их семейные странные отношения и его высказывания о жизни не насторожили меня и не сумели остудить моей (придуманной, конечно же!) влюбленности. Может, еще и потому, что я прилетала к Вадиму ненадолго, всего на неделю или дней десять – и снова улетала.

Так я прокаталась почти все лето.

Они работали, а я гуляла целыми днями по Риге.

Странный город.

Для меня странный. Он словно притягивал к себе, завораживал – и в то же время пугал своими темными старинными запутанными улочками, гулким, каким-то острым эхом шагов, узкими щелями низкого облачного неба между домами. А известная улочка, по которой шел к своему провалу профессор Плейшнер, позабыв все наставления Штирлица, казалась мне совсем уж мрачной…

И вдруг – Ратушная площадь!

Почему-то я была уверена, что она большая, торжественно-величественная, а она оказалась маленькой, какой-то домашней и уютной.

Все поражало меня в этом городе – и собор Святого Павла, и странный дом Черноголовых, и Домский собор с его органным залом.

А еще – мосты! Я часами гуляла по мостам через Даугаву…

Этот город увлекал, затягивал в свою историю, удивлял… и был совершенно не моим. Я чувствовала его чужеродность и полное мое несовпадение с ним, словно мы были из разных миров. Но мы друг друга уважали и принимали такими, как есть.

С Вадимом же наши отношения развивались стремительно – я и опомниться не успела, как мы уже оговаривали план проведения свадьбы.

– Свадьбу играть только в Крыму! – заявляла безапелляционно Людвика Брониславовна. – Такая красота: море, фрукты, природа!

– Да, сейчас! – возмущался Вадим. – Только в Риге! Должны быть все мои друзья! А потом – в Крым!

И они начинали спорить до крика, позабыв спросить о моем мнении, вообще о моем присутствии рядом…

Кстати, мне посчастливилось, если можно так сказать, побывать на чисто латышской свадьбе. Вадим познакомил меня со всеми своими друзьями, представив в качестве своей невесты и будущей жены. Один из его друзей детства через пару дней после нашего знакомства должен был жениться – именно на его-то свадьбе я и побывала.

Мероприятие проводилось не только в Риге, но и на настоящем латышском хуторе.

Долго рассказывать, как все происходило, одно могу сказать определенно – после этой латышской свадьбы я точно поняла, что слухи о русском пьянстве сильно преувеличены, умеют знатно пить и гулять и другие народы, в частности латыши.

Очень даже знатно, скажу я вам…

В выходные мы с Вадимом ездили в Юрмалу, гуляли по пляжу и по дорожкам среди величественных сосен, сидели в известном баре рижского бальзама, проводили время с его друзьями, гуляли по Риге.

Я слушала рассуждения Вадима о жизни, о его дальнейших планах, о том, как надо «крутиться», чтобы сладко жить, слушала его беседы с друзьями за пивом – и начала присматриваться внимательней к нему, к его семье, к друзьям-товарищам, чувствуя, как моя душа болезненно отзывается на все его высказывания житейские…

А эти скандалы благородного семейства – чаще вялотекущие, иногда громкие, иногда слишком шумные, когда мама с сынком делят власть в доме, не без бутылочки по вечерам – все чинно, по-европейски благородно с накрытым столом, за ужином, но каждый день…

У нас в семье такого отродясь не было.

И вообще все по-другому протекало…

И я призадумалась.

Наконец-то, сказала бы мама.

А призадумавшись и включив мозг, очочки-то жизненные от розового налета протерла – все вокруг видеться стало яснее и четче.

И тут…

Вадим, одержав очередную «викторию» в споре с маман, объявил мне окончательно и бесповоротно однажды вечером:

– Все! Через два дня беру отгул, я уже договорился с начальником, и мы идем подавать заявление в ЗАГС.

Оп-па! Приплыли!

А я что-то как-то уже и расхотела замуж-то…

Я промолчала, ничего не сказала, но и радости особой не выказала, промямлила нечто невразумительное, улыбнулась натянуто. А на следующий день, дождавшись, когда они оба уйдут на работу, я отправилась гулять.

И практически сразу поняла: надо бежать!

Какая Рига?! Какой Вадим?! За него замуж – на всю жизнь? И за его мамашу?! И братец его станет мне родственником, а друзья его – моими друзьями? И жить в этом чужом городе, за черт знает сколько километров от моего солнечного Крыма и мамы?!

Да с какой стати!

Я уже вполне наигралась в придуманную любовь, кусок семейной жизни попробовала, перспективу представила отчетливо…

Все! Хочу домой!

И я отправилась в авиакассы покупать билет.

Самолет улетал на следующий день поздним утром, ближе к полудню.

Вернувшись, я собрала свои вещи и приготовила одежду, в которой решила ехать: зябко и промозгло было все время в Риге, и я решила, что белая блузка и костюмчик – юбка с легким пиджаком, вполне подойдут. Немного официально, правда, выглядит, да и ладно. Погладила костюм, развесила его на вешалке и поместила не в шкаф, чтобы не помялся от плотно набитых в него вещей, а сбоку, на стенке шкафа. Подумав, положила во внутренний карман пиджака паспорт, в него – билет и три рубля на дорогу, чтобы не забыть, если разгорятся споры по поводу моего отъезда.

Собралась такая правильная девочка, значит. И села тихой овцой ждать прихода с работы любимого (уже не сильно) для серьезного разговора.

Спокойного разговора не получилось.

После ужина, когда мы с Вадимом удалились в его комнату, я толкнула заготовленную и тщательно отрепетированную речь:

– Вадим, я тут подумала, что нам не стоит торопиться с женитьбой. Мне поступать на следующий год, а вот после поступления, когда я определюсь, где буду учиться, тогда можно и решать со свадьбой.

– Зачем? – искренне подивился он. – Ничего нам ждать не надо, да и через год, скорее всего, никуда ты поступать не станешь.

– Это почему? – пришел мой черед дивиться.

– Да потому, что будешь замужней женщиной, а может, уже и родишь, – пожал он плечами, поражаясь моей несообразительности.

– Ага, – тупо кивнула я, докумекав, о чем речь, и выдвинула более свежий аргумент:

– Но мне надо подумать, посоветоваться с родителями…

– Да не о чем здесь советоваться и какого черта тут думать! – начал заводиться Вадим. – Пойдем послезавтра и подадим заявление!

На этом терпеливая девочка Таня закончилась напрочь, уступив наконец место Тане настоящей – эмоциональной, безбашенной максималистке.

Я заявила:

– Я за тебя выходить передумала! Я поняла, что тебя не люблю, мы не подходим друг другу! И твоя мама будет счастлива!

– Зато я тебя люблю, – вдруг совершенно спокойным тоном ответил он мне.

И мы приступили к горячим дебатам и выяснениям… удушливым от эмоций шепотом, чтобы не подслушала Людвика Брониславовна, себе на радость.

Спорили долго – я, как мне казалось, приводила железные аргументы, Вадим все их отвергал и прибегал к легкому шантажу сексом. Что делал совершенно безрезультатно и напрасно, ибо в этом я пока по-настоящему еще не вошла во вкус, да и, честно говоря, по молодости лет и полной наивности была уверена, что его значение в нашей жизни сильно преувеличено. Повлиять на мои решения данное действо тогда еще не могло ни в малейшей степени…

– Я завтра улетаю! – в разгар спора сообщила я. – Я уже билет взяла!

– Ну, это мы еще посмотрим! – отрезал Вадим, заканчивая этим туманным обещанием наш спор.

Ночью он попробовал еще раз переубедить меня и

образумить, и мы продолжали громко шептаться, убеждая друг друга, и в конце концов оба устали и заснули далеко за полночь.

А утром я поняла и в полной мере оценила смысл предупреждения Вадима.

Напряженные «переговоры» и практически бессонная ночь настолько меня вымотали, что я спала как убитая и не слышала, как собирались и уходили на работу Вадим и его мама.

А проснувшись и обнаружив, что нахожусь одна в квартире, порадоваться в полной мере такой везухе не успела.

Потому что – засада!

Уходя из дома, Вадим унес все мои старательно и аккуратно сложенные в сумку вещи, мою обувь и запер квартиру на ключ. И не на один, а на три замка – два в одной двери и один – в другой! Забрав при этом ту связку ключей, которой пользовалась я…

Сотовых телефонов, как вы понимаете, тогда не было и в помине. Номера конторы, где работал Вадим, я не знала, и он не был записан ни в одной из книжек, лежавших у телефонного аппарата. Так что позвонить и учинить разбор со скандалом не имелось никакой возможности.

Да и был ли смысл в этом скандале, даже если бы я дозвонилась? Человек вполне определенно показал своими действиями отношение к моему отъезду. Что и не замедлил подтвердить – позвонил сам.

– Ну, не обижайся, – примирительным тоном попросил он. – Я понимаю, ты просто разнервничалась перед таким важным шагом, а с мамой я поговорю, чтобы она тебя больше не доставала. Все у нас будет хорошо, обещаю.

– Обязательно будет! – бодро поддержала я тему «хорошо».

– Вот видишь! – обрадовался Вадим перемене моего настроения и весело предложил, как наилучшим образом мне провести часы своего заточения:

– Ты поспи еще, посмотри телик, можешь приготовить ужин, а вечером мы все обсудим.

Угу, – почти пообещала я.

Мое жизненное кредо – если тебя уже съели, то у тебя все равно еще есть два выхода!

Я предпочитала в подобных ситуациях пользоваться тем выходом, который был входом, через который меня сожрали, испортив радость гурману и игнорируя процесс полного переваривания. Нервничать и стенать я и не думала, портить себе настроение не собиралась, поэтому с большим аппетитом плотно позавтракала. Допивая кофе из большой керамической чашки, я поднялась из-за стола, подошла к окну, осматривая в задумчивости пейзажик за стеклом, и в этот момент меня

осенило…

Я чуть не поперхнулась от накрывшего меня прозрения!

Так! Сколько у нас там времени?

Нормально, на самолет вполне успею!

Я даже посуду за собой помыла и навела полный лоск на кухне – эдакий поцелуй на прощание Людвике Брониславовне от интеллигентной несостоявшейся невестки, чтоб черт послал в жены младшему сыночку стервозную дрянь какую-нибудь, которая будет строить ее тут во фрунт!

И стрелой помчалась одеваться.

Два момента! Первый – вынося мои вещи из квартиры, Вадим совершенно не почтил своим вниманием приготовленный мной с вечера и наглаженный костюм в дорогу. А в его кармане так и продолжал лежать мой паспорт с билетом и тремя рублями денег на обратную дорогу.

Второй момент! Кажется, я упоминала, что дом, в котором жил теперь уже мой бывший любимый, располагался в старой части города и имел весьма оригинальную архитектуру. В нем было всего три высоких этажа и подъездная лестница, которая примыкала к дому сбоку под прямым углом. А кухонные окна всех трех угловых квартир, в том числе и той, где меня заперли, располагались перпендикулярно лестничным окнам, которые на расстоянии примерно полуметра своим верхним козырьком находились выше подоконника квартирных окон.

Девочка я крымская и несколько раз пробовала себя в скалолазании, правда, так и не пристрастилась к этому делу, но спортом занималась серьезно, да к тому же в те времена еще мало чего боялась и рисковая была!

Но тут случилась заминка…

Летний костюм – дело хорошее, но всю мою обувь вынес разгневанный жених. Почесывая задумчиво головушку, я стояла и рассматривала предлагаемые судьбой варианты. Не особо с ними было, с вариантами-то. Дело в том, что у меня маленький размер ступни, а у Людвики Брониславовны на три размера больше. Ну, тут все ясно сразу – вариант с ее туфлями отпадает. Других дам в квартире не водилось, и самой маленькой обувью из тех, что нашлись, были домашние тапочки для гостей, размера на полтора больше моего, без задников, с каблучком сантиметра три и… большими пушистыми розовыми помпонами.

Красота страшная! Заграница, точно. А дефицит-то какой в те времена…

Костюмчик я надела, тапочки засунула в накладные карманы пиджака и, глубоко вдохнув-выдохнув, решительно отправилась к кухонному окну – осматривать пути побега.

Ситуация складывалась такая: чтобы проделать акробатический трюк с перелезанием, для начала требовалось открыть лестничное окно. Надежда была, что оно не закрыто на защелку, потому как сосед по площадке предпочитал курить именно у этого окна и частенько его просто прикрывал. Я принесла швабру из туалета, распахнула окно, перевалилась через подоконник и спокойно достала до рамы лестничного окна.

Ура! Створки свободно подались – и отворились.

А дальше – собственно, эвакуация!

Я прикинула расстояние от подоконника до подоконника, и как-то мне стало не по себе. Расстояние оказалось очень даже приличным. Нужно было вылезти из кухонного окна полностью, держась за козырек подоконника, и дотянуться левой ногой, почти сделав шпагат, до подоконника лестничного окна.

Скажем прямо: не самая умная идея побега…

Я на минуточку представила себе, что застреваю между двух окон, раскорячившись на стене, демонстрируя прохожим свои новенькие фирменные трусики «недельки», купленные у фарцовщиков аккурат перед этой поездкой в Ригу, или того пуще – не только прохожим, но и пожарникам, вызванным меня спасать, как сдуревшую от испуга кошку с дерева.

И загрустила…

Я перегнулась через подоконник и еще раз прикинула расстояние и свои возможности. Страшновато вообще-то, но вроде бы должна дотянуться.

Что делать? Рисковать или не стоит? Потерплю денек и завтра улечу…

Да ну, на фиг! К маме хочу! Домой хочу!

Задрала юбку до талии, таки открывая любопытствующим прохожим трусики, и полезла!

И, как ни странно, довольно быстро и сноровисто перелезла, правда, труханула немного в один момент, когда пришлось прижаться пузом к стене дома, но это быстро прошло.

И – оп-ля: я на лестнице!

Показала язык распахнутому кухонному окну своего покинутого каземата, поправила одежду, отряхнулась. Достала из карманов тапочки, надела и осмотрела себя.

М-м-м-да…

Картина Репина «Приплыли»: строгая белая блузка, сдержанный летний костюм… и розовые тапочки кокотки без задников с огромными пушистыми помпонами! К тому же – норовившими слететь с ноги, потому как были большеваты для моей ступни…

Офигеть!

И все-таки – вперед и с песней!

Я долго ловила такси, парочка притормаживали было на мою поднятую руку, но что-то в моем облике их явно смущало – в последний момент водилы давали газку и уезжали. Но один все-таки остановился и, приветливо улыбаясь, спросил меня что-то по-латышски, когда я распахнула дверцу машины.

– Мне в аэропорт, – по-русски ответила я.

Расслышав мой акцент, водитель улыбаться перестал, сделался сразу угрюмым и назвал мне совершенно заоблачную цену за проезд.

– Я от жениха бегу. Латышского. Со свадьбы, – строго отрапортовала я.

Он окинул меня с головы до ног изучающим взглядом, задержался на тапочках, посмотрел мне в лицо и, снова улыбнувшись, пригласил жестом:

– Садитесь. Тогда бесплатно довезу. Быстро и с гарантией!

Так я сэкономила рубля полтора, а то и все два, уж не помню, но довез он меня на самом деле очень быстро.

И бесплатно.

На меня откровенно глазели любопытствующие пассажиры в здании аэропорта: кто сочувственно, строя свои предположения о причинах такого непорядка в одежде молодой девушки, а кто с усмешкой, прокручивая свои варианты возможных событий.

Одна сердобольная тетка даже угостила меня пирожком с капустой и повздыхала сочувственно надо мной, только что по головке не погладила, представляете?

У стойки пропуска на посадку служащая долго проверяла мой билет и с подозрительным прищуром осматривала с ног до головы. Пришлось соврать, что дверь захлопнулась, когда я выносила мусор перед отъездом, она разулыбалась такому простому объяснению и пропустила меня.

Я еле поднялась по трапу: сначала слетел один шлепок с ноги, потом второй, и в довершение моих мытарств стюардесса перед самой дверью самолета поинтересовалась:

– Ограбили вас, что ли?

– Нет, – тяжело вздохнула я и призналась честно:

– От жениха бегу. В чем смогла!

– А! – понятливо кивнула она и предложила:

– Проходите.

Когда мы приземлились в Симферополе, я уже перестала обращать внимание на реакцию людей по поводу моего нестандартного внешнего облика, а сосредоточилась только на том, чтобы как можно реже терять тапки.

Очередь у касс на троллейбус прошлась по мне вопросами, приколами и нескрываемыми смешками, даже водитель троллейбуса не преминул про розовые помпоны высказаться. Как ему казалось – с юмором…

Но это все была просто ерунда!

Впереди меня ждало настоящее испытание – длинная лестница, ведущая вниз, к моему дому. Длинная, очень длинная – с километр спуска от остановки.

Мне предстояло преодолеть ее в постоянно слетающих тапочках…

Словом, когда я оказалась перед дверью родной квартиры, настроение у меня было еще то – как после боя.

И тут я наконец сообразила, что придется как-то объяснять родителям мое столь внезапное появление, отсутствие вещей и все тот же внешний вид.

Я глубоко вдохнула, смиряясь с неизбежным, выдохнула – и нажала кнопку звонка.

Дверь открыла мама, молча, с непроницаемым выражением лица, окинула меня взглядом – с головы до ног, задержалась на розовых помпонах…

– Ну что, доченька, – спокойно спросила мама, – сходила замуж?

– Да уж… – вздохнула доченька тягостно в ответ.

И шагнула через порог, и захлопнула за собой дверь, и посмотрела на маму…

И мы как начали хохотать!

Мы не могли остановиться – смеялись до слез, до изнеможения, согнувшись пополам, мама держалась рукой за стенку, я вообще привалилась к стене боком – мы утирали слезы, и мама все показывала жестом, прикладывая палец к губам, пыталась сказать:

– Ти-и-ише, па-па ус-лы-шит!

И мы продолжали хохотать с новой силой. А чуть отдышавшись, вытирая слезы смеха, распрямившись, мама предупредила:

– Отцу не говорим!

Слава богу, папа мой был занят – смотрел какой-то там чемпионат по футболу, а это святое. И, если кто не помнит, в те далекие и во многом прекрасные времена, перерывов на рекламу не было. Поэтому он быстренько обрадовался моему приезду, поцеловал в щечку и отправил из комнаты – не мешать!

Мы сидели с мамой на кухне за столом, я еле самую вкусную еду на свете, приготовленную мамой, и рассказывала ей в лицах и подробностях, помогая себе жестами и мимикой, о своих

приключениях – и мы снова хохотали до слез, и было это самое что ни на есть большое счастье!

Вечером позвонил Вадим. Он спросил у мамы: дома ли Таня? Получив подтверждение, попрощался и положил трубку. Больше мы с ним не виделись и никогда не разговаривали, даже по телефону.

На следующий день я отправила бандеролью розовые тапки в Ригу.

А где-то недели через две или три, не помню уже точно, мы с мамой сходили на почту и получили две посылки с моими вещами и сумкой.

Вот так я первый раз попробовала сходить замуж.

Э-э-эх!

Жаль, что я не сбежала со следующей своей свадьбы, хотя порыв такой был – прямо накануне торжества.

Вот уперлась – не пойду! Словно прозрела.

Но следующему моему жениху повезло больше, чем Вадиму: он сумел-таки меня уговорить, да и гостей приехавших из разных городов страны я пожалела.

Решила – ладно, схожу, что ли, замуж.

Но это уже совсем другая история.

Переезд
Наталья Калинина, прозаик

Наталья с детства была погружена в мир книг, мечтая когда-нибудь написать свою собственную. Однажды, поняв, что проживает «не свою» жизнь вопреки настоящим желаниям, она не побоялась изменить судьбу и последовала за мечтой – стала писателем и переехала жить в другую страну. Наталья верит в знаки судьбы и прислушивается к ним. Ее девиз – следуй за мечтой и не сдавайся.

* * *

– К кому вы и с какой целью? – строго спрашивает меня пограничник на паспортном контроле.

Из-за мальчишеской худобы, светло-рыжей шевелюры и россыпи ярких веснушек на бледном заспанном лице ему от силы можно дать двадцать два – двадцать три года. Несерьезно, и он об этом знает, поэтому изо всех сил старается казаться строгим.

Однако я ведусь на его суровость из-за сильного волнения:

– А… К друзьям. По приглашению. Туризм, – с виноватой улыбкой объясняю я, потому что отчаянно боюсь: вдруг он поймет, что говорю я полуправду.

Пограничник еще раз цепким взглядом всматривается мне в лицо, затем молча протягивает паспорт: проходите.

За чертой остались родители.

Я на прощание улыбаюсь им и машу рукой.

Что они чувствуют?

Легко догадаться: их единственная дочь, которая всю жизнь прожила вместе с ними, отправляется одна в чужую страну.

«Если тебе будет там плохо, приезжай!» – шепчет мама на прощание. Я ободряюще ей улыбаюсь: «Надеюсь, не будет!»

Самолет полупустой.

Не туристический сезон – февраль.

Взлет.

Все прошло гладко.

«А конфеты не раздавали», – подумалось мне почему-то.

– В Испанию на отдых? – почти повторяет вопрос пограничника мой сосед по креслу, только в отличие от служащего аэропорта спрашивает с веселым любопытством.

– Да, – отвечаю я.

Разговаривать не хочется.

– Летом бы лучше, – замечает сосед и после недолгой паузы добавляет: – А я – к сестре. Она там живет.

И вдруг, будто не поверив моему ответу, а угадав истинную причину моей поездки, спрашивает:

– Боишься?

И я, помедлив, киваю.

– Боюсь.

В Испании я была всего лишь раз – в короткой туристической поездке полгода назад. Мой испанский оставляет желать лучшего. Я его просто не знаю, за исключением нескольких слов. Даже простую фразу составить не смогу. А о традициях знаю лишь понаслышке.

– Выпей для храбрости, хороший ликер, – демонстрирует сосед мне пузатую бутылку из» дьюти-фри». Я отнекиваюсь, но в итоге соглашаюсь на «просто понюхать» и беру в руки пластиковый стаканчик с плещущейся на донышке темной жидкостью.

Ликер сильно отдает спиртным и апельсинами. Делаю глоток – не нравится, но из вежливости допиваю.

– Спасибо, – улыбаюсь я.

– Легче?

– Да.

Больше мы не разговариваем.

Закрываем глаза и пытаемся погрузиться в сон на время четырехчасового полета. Мне не спится, хотя ночью от волнения не удалось сомкнуть глаз.

Думаю и поражаюсь изгибам судьбы.

Предполагала ли я, что когда-нибудь уеду из своей страны для того, чтобы бросить якорь в другой?

Нет, даже и мысли не возникало.

Я не считала себя настолько авантюрной, чтобы оставить все устоявшееся ради новой жизни с нуля на чужой земле. Другой язык, традиции, общение с близкими лишь по переписке…

Да мало ли сложностей поджидает в чужой стране! В здравом уме и трезвой памяти я бы вряд ли на такое отважилась.

И все же…

И все же я оказалась в Испании, куда отправлялась в гости девять лет назад на две недели и «загостилась» до сих пор.

Что же случилось, что одним широким взмахом поставило жирный крест на всех моих принципах, страхах, сомнениях?

Любовь.

Мне почти исполнилось семнадцать лет, когда на Святки я увидела тот сон.

На мне было белое платье, но не свадебное в моем тогдашнем понимании: не пышное многоярусное, а длинное, облегающее силуэт, с длинным шлейфом. Я танцевала в бальном зале в паре с незнакомым молодым мужчиной в костюме. Его профиль показался мне красивым, хоть брюнеты были не в моем вкусе. Мы вальсировали, отражаясь в зеркалах, будто на балу, но кроме нас в зале никого не было…

А потом я увидела другое помещение, в котором проходил праздник. В зале, заставленном длинными столами с разнообразными угощениями, было полно народу. Люди что-то кричали, поднимали тосты, громко смеялись, но я не понимала ни слова из того, что могла разобрать в шуме. Как я оказалась на том празднике – я не знала, в честь чего он затеян – тоже, никто мне не был знаком, я чувствовала себя немного потерянной… до тех пор, пока не нашла среди толпы моего отца.

На этом сон закончился.

К знаковым я его не отнесла, но рассказала утром бабушке. «А мне также, молодой девчонке, на Святки твой дед приснился… Никак ты свадьбу свою увидела!» – задумчиво ответила она.

Я возразила: «Какая это свадьба, бабушка, – без знакомых лиц, без подруг, друзей, родных? С людьми, разговаривающими на непонятном мне языке?»

Но бабушка лишь многозначительно улыбнулась.

Прошло 10 лет.

Я работала в одной небольшой компании, уйдя туда из известной «корпорации-монстра». Мне казалось, что я счастлива: мое время было расписано по минутам, выходные тоже нередко проходили в офисе, а для меня это значило, что во мне нуждаются. Штат компании, которая, можно сказать, создавалась и росла на моих глазах, расширялся, к нам приходили новые люди, впереди маячили приятные перспективы в виде повышения, я задумывалась о различных курсах…

В общем, сумела убедить себя в том, что делаю что-то важное. Только иногда нет-нет да и прорезался внутренний голос, который нашептывал: что-то идет не так.

В моей жизни – только работа, каждый день начинается в пять утра и заканчивается за полночь, и все это время проходит в офисе и общественном транспорте, а личная жизнь сводится к встречам с подругами по воскресеньям.

Иногда тот или иной молодой человек приглашал меня в кино, но дальше двух-трех встреч отношения не развивались.

Не загоралась, не заинтересовывалась.

Может, где-то в глубине души я еще мечтала о любви, такой, чтобы за любимым – хоть на край света. Или чтобы он – за мной.

Но никто из тех, кто приглашал в кино или кафе, не поехал бы за мной даже за пределы МКАДа: после бесед за чашкой чая или совместного просмотра фильма меня чинно провожали до ближайшего метро, иногда – ближайшего к дому молодого человека, и прощались, выражая надежду на новую встречу.

А дальше поздним вечером я сама добиралась из Москвы в Подмосковье.

В какой-то момент стало ясно, что просто не стоит тратить ни свое, ни чужое время на бесполезные встречи.

И я полностью сосредоточилась на работе.

Но чем дальше, тем чаще сравнивала себя с бегущей в колесе белкой: энергии затрачиваю много, мчусь наперегонки сама с собой, но так и остаюсь на одном месте.

Почему?

Да просто потому, что трачу энергию и силы совсем не на то, чем на самом деле хотела бы заниматься, распыляю их в атмосферу вместо того, чтобы наконец-то решиться и сосредоточиться на исполнении тайного желания.

Да, у меня была мечта – робкая, о которой вслух и прилюдно не говорилось.

Я хотела стать писательницей.

Но попробуй кому скажи об этом – высмеют или в лучшем случае не примут всерьез. Я и сама не думала, что может получиться. Тем более что уже сколько-то лет ничего не записывала в толстые «тайные» тетради, не печатала на стареньком домашнем компьютере, купленном давно, еще с первой зарплаты, специально для того, чтобы когда-нибудь написать на нем роман. У меня просто не оставалось времени на старое хобби, которое когда-то поглощало меня целиком.

Помимо этой мечты были и другие, более понятные: выспаться, уйти наконец-то в отпуск, в котором я не была уже… сколько? Два года? Съездить к морю. Сбежать в теплые края от сурового февраля.

Но я по-прежнему вставала в пять утра, ехала в промерзшей электричке из Подмосковья в Москву, зажигала в кабинете свет и ныряла в привычную рутину. Очередной отказ в отпуске старалась принять с пониманием: да, не время, да, придет момент, работы сейчас и правда много. Тешила себя мыслями о том, что скоро что-то изменится: вот переедем в новый офис, у меня будет новая должность…

Просматривала, но уже без интереса, рассылки с различными

курсами и запивала нарастающее раздражение и недовольство слишком сладким чаем.

Но менять ничего не решалась, убеждая себя в том, что компания во мне нуждается, а на самом деле заглушая этим ложными отговорками свой страх оказаться потерянной, «непристроенной», без ежемесячной зарплаты и места, в которое нужно ежедневно приезжать. Если слишком долго идешь проложенной колеей «дом – работа – дом», то свернуть с нее на непротоптанную дорожку, ведущую в неизвестность, страшно и сложно.

В один из февральских дней в нашу компанию пришли двое новых сотрудников. Однажды один из них, немолодой мужчина, зашел в мой кабинет, и между нами завязался разговор, с рабочих дел переметнувшийся на дела личные. Сотрудник вдруг открыл мне, что он и его друг – писатели. С десятком изданных книг, не имеющих отношения к бизнесу. Я глядела на своего собеседника с восхищением и недоверием: надо же, впервые в жизни разговариваю с настоящим писателем!

И, может быть, от радостного шока в ответ призналась, что сама тоже немного пишу… так, наивные «девочковые» романы, конечно же, о любви.

Сотрудник попросил принести ему все, что у меня есть. А еще через день он и его друг позвали меня к себе в кабинет.

Разговор состоялся долгий.

Мое творчество уже успели изучить и составить по нему развернутое профессиональное мнение. Может, писатели были тогда слишком мягки со мной. Но за это им огромное спасибо, потому что именно они внушили мне уверенность в собственных силах.

– Писать ты можешь. У тебя есть свой стиль. И, что немаловажно, начатые вещи ты заканчиваешь. Многие начинают писать и бросают, переключаются на новый рассказ или роман – и тоже не доводят его до конца. У тебя все вещи закончены. Но тебе нужно придумать хорошую историю, такую, которая бы захватывала от начала до конца. Пока твои рукописи похожи просто на дневники юных барышень.

Я призналась, что эти два романа были написаны мною еще в студенческие времена на младших курсах. И что на самом деле уже давно не пишу, хоть и постоянно обдумываю один сюжет.

– Так в чем дело?

– Времени нет.

– Найди!

С этим твердым «найди» я и поехала домой.

Через несколько дней писатели уволились.

У меня осталось ощущение, будто эти люди пришли в нашу компанию ради того – знакового для меня – разговора.

А чуть позже случился еще один любопытный разговор, но уже с другим человеком…

Компьютерную сеть в офисе поддерживал молодой парень, назовем его Петечка. На вид ему можно было дать лет восемнадцать, от силы – двадцать. Обычный на первый взгляд парнишка со своими интересами и отличным знанием компьютеров. Но иногда, общаясь с ним, я ловила себя на мысли, что этот молодой человек душой куда старше, чем кажется на первый взгляд: что-то проскальзывало в его взгляде такое мудрое, будто прожил Петечка не одну жизнь…

Да и поведение его всегда отличалось завидным спокойствием – буддийским, я бы сказала, в любые, хоть в самые горячие рабочие моменты, словно он познал дзен.

В один из особо напряженных дней, поняв, что вот-вот «взорвусь», я выскочила на крыльцо глотнуть воздуху и застала уходящего на обед Петечку. Парень оглянулся на звук захлопнувшейся двери и, видимо, что-то в моем выражении лица его остановило, потому что он поднялся ко мне и спросил, что случилось. И вдруг меня «прорвало»: я принялась выплескивать ему, малознакомому человеку, все, что давно накипело.

Закончилась моя эмоциональная речь выкриком, что я хочу писать книги! Но для начала – отдохнуть у моря…

– Лови волну, – ответил Петечка.

– Что это означает? – оторопела я.

– Поймешь, – загадочно улыбнулся он и ушел.

Прошло время.

Весна уже вступила в свои владения.

Утром я поднималась под бодрое чириканье птиц и, перепрыгивая через лужи и увязая в таявшем снегу, все так же бежала в офис, держа в голове план дел на день, но прекрасно понимая, что, как обычно, придется импровизировать.

Помимо текущей работы планировался переезд всей компании в другое, более просторное здание. Я надеялась, что уж потом-то наконец смогу уйти в долгожданный отпуск!

Жизнь с приходом весны заиграла другими, теплыми красками.

Хоть работа по-прежнему оставалась стрессовой, я относилась к ней гораздо спокойней. Правда, у меня появилась одна привычка: каждый раз после сложного дня по дороге домой

заходить в торговый центр и покупать себе вещь оранжевого цвета, будь то джемпер, футболка или шарфик. Этот цвет казался мне оптимистичным, заряжал меня «оранжевым» настроением на целый следующий день.

Но однажды утром открыв, как обычно, шкаф, я увидела, что почти вся моя одежда – если не оранжевая, то с оранжевыми деталями. Последний пазл встал на место – и в тот момент я ясно поняла: надо увольняться. Да, просто так, без веского повода, без страха того, что меня ждет впереди, смогу ли быстро найти новую работу и как обойдусь неопределенное время без привычного заработка.

В тот день я шла на работу радостная, счастливая и не думала о запланированных делах и обещанных перспективах, а составляла в уме заявление об уходе.

Еще я думала о сюжете книги, которую хотелось написать. И о том, что теперь уж точно поеду к морю, даже если на путевку придется потратить все имеющиеся деньги.

А что будет потом…

А потом – как жизнь повернет!

Первый роман, который я отважилась отправить по издательствам, написался довольно быстро – за полтора месяца. Первый пункт моего тайного плана оказался выполненным, следующим этапом была поездка на море.

И тут случилась некая загвоздка, вернее, непредвиденные обстоятельства.

Я собиралась ехать с подругой в Турцию, даты были уже согласованы. Но незадолго до того, как мы отправились в туристические агентство, из отпуска вернулась другая подруга и принялась горячо меня отговаривать от поездки в Турцию – в пользу Испании. Я сомневалась, так как это была моя первая заграничная поездка, могли бы возникнуть проблемы с получением визы.

И все же в итоге я послушалась ее совета насчет Испании.

Второе изменение в планах произошло, когда мы оплатили путевку: в последний момент выяснилось, что все билеты на нужные рейсы распроданы. И нам ничего не оставалось, как отсрочить поездку на пару недель.

Позже мне стало понятно, почему так произошло…

Все складывалось так, чтобы я оказалась в нужный момент в нужном месте.

Но поняла я это позже.

Было даже названо конкретное место: знакомый, посетивший Испанию не раз, перед отъездом дал совет:

– Будешь в Барселоне, обязательно прогуляйся по Рамбласу! А если вдруг потеряешься, обратись к полицейским.

Казалось бы, ничего особого в его словах не было: в Москве – Арбат, в Барселоне – Рамблас…

И потеряться в чужой стране без знания языка я боялась, в чем и призналась.

И все же слова знакомого оказались некой подсказкой.

Испания меня очаровала, как и музыкальный испанский язык.

– Решено! Вернусь в Москву, начну изучать испанский, – опрометчиво, на эмоциях, пообещала я подруге.

Знала бы…

Отпуск протекал так, как нам и хотелось: много моря, много экскурсий. Страна околдовывала меня все больше и больше – язык, климат, люди, пейзажи.

И все же, какой бы чудесной ни казалась страна, она была чужой.

В душе я не завидовала тем русским эмигрантам, с которыми пару раз удалось немного поболтать, хоть и восхитилась их смелостью.

А за два дня до отлета случилось то, чего я так боялась: мы потерялись.

Поехали в Барселону самостоятельно на экскурсию, не узнав предварительно, как вернуться обратно. Отельный гид, когда мы ей позвонили, отказалась с нами разговаривать. И в тот момент, когда мы растерянно озирали толпы прогуливающихся по Рамбласу (как выяснилось позже, оказались мы именно там), мы увидели двух полицейских, к которым выстроилась небольшая очередь из туристов с картами в руках. Один из них, постарше, по-английски не говорил и направил нас к своему молодому напарнику.

Когда тот к нам развернулся с улыбкой, у меня в сердце вдруг что-то будто «щелкнуло».

На какое-то мгновение я будто выпала из реальности.

Пока подруга выясняла дорогу, я рассматривала профиль этого полицейского, думая: отчего же он мне так знаком?

Будто мы с ним уже встречались…

Мы попрощались, полицейский сел на мотоцикл, чтобы отправиться за своим напарником. Моя подруга уже ушла, а я почему-то задержалась.

И вдруг в каком-то порыве махнула фотокамерой, знаками спросив, можно ли сделать снимок?

Полицейский не просто разрешил, а пригласил меня присесть с ним на мотоцикле!

Мы сфотографировались на память, и я ушла со странным ощущением, будто этот парень мне знаком.

На следующий, последний день пребывания в Испании у нас снова была запланирована поездка в Барселону, на этот раз с туристической группой. Экскурсия не подразумевала прогулки по центру, но в качестве приятного бонуса нас привезли на Рамблас. И там мы опять среди толпы встретились с вчерашним полицейским.

Его звали Хосе.

Уже намного позже Хосе рассказал мне, что в тот раз его направили работать на одно место два дня подряд, хотя обычно такого не случалось. В тот день, когда мы впервые встретились, он вышел из отпуска. (Вот почему случилась эта внезапная смена дат поездки!)

Мы обменялись электронными адресами, и на следующий день я улетела в Москву. Пообщаться толком нам так и не удалось: Хосе говорил на испанском и английском, я – на русском и французском. Как с ним переписываться – я даже не представляла. Но улетала из Испании с ощущением, что этот практически незнакомый человек – именно тот, которого ждала всю свою жизнь… и видела во сне.

Такое со мной произошло впервые.

Я не верила в любовь с первого взгляда, в возможность и прочность отношений на расстоянии, никогда не мечтала о знакомстве с иностранцем.

Но тем не менее…

Дома меня ожидало короткое электронное письмо от Хосе, переведенное с помощью программы-переводчика на русский.

И другое сообщение, в котором говорилось, что мой роман, отправленный перед поездкой по издательствам, приняли к публикации.

Это второе письмо не вызвало у меня столько радости, сколько первое, из Испании.

Мы стали переписываться.

Отправляли поначалу друг другу раз в два дня короткие деликатные сообщения, в которых рассказывали о погоде, традициях и кухне наших стран. Письма, переведенные с помощью программы, выходили корявыми, местами смешными, но более-менее понятными. Очень скоро мы уже писали друг другу ежедневно по несколько больших писем.

Всегда находилось, о чем написать.

Хосе купил учебник русского языка и на осень записался на

языковые курсы. Я пока не проявляла подобного рвения к изучению испанского языка, но уже не ложилась спать, не дождавшись от Хосе обязательного сообщения. Даже если он в тот день заканчивал работу поздно и приходилось ждать до двух-трех ночи. А он, вернувшись домой, первым делом включал компьютер, чтобы прочитать мои дневные письма и ответить.

То и дело во время того периода переписки мы сталкивались с небольшими препятствиями, словно жизнь решила проверить: а готовы ли мы бороться за наши зарождающиеся отношения, готовы ли и дальше справляться со сложностями?

То возникали технические проблемы, и я оставалась на долгий срок без Интернета и без возможности сообщить об этом. То ломался компьютер у Хосе, когда он писал мне. А однажды он по дороге домой на мотоцикле потерял важные бумаги, без которых не мог оплатить учебу в языковой школе (а сделать это нужно было в тот же день).

Но каждый раз мы справлялись и находили выходы: проведя бессонную ночь в переживаниях от того, что Хосе не дождался письма и волнуется, я с утра пораньше бросалась на поиски интернет-кафе, хоть для этого нужно было ехать из Подмосковья в Москву. А он, потеряв документы, решил пойти вдоль шоссе пешком и каким-то чудом нашел свои бумаги целыми и невредимыми! И такие ситуации постоянно сопровождали нашу переписку.

Через два месяца после нашего знакомства в Барселоне Хосе прилетел на неделю в Москву.

– Наташа, и как же вы с ним общались? Ведь и с соотечественниками не всегда найдешь общий язык, – спросила потом одна моя приятельница.

А у нас, несмотря на мои опасения, отлично получалось понимать друг друга даже без установленной в ноутбуке программы-переводчика. Мы общались с помощью жестов и пантомимы, что у обоих вызывало взрывы смеха, улыбок и рисунков в блокноте.

На Новый год Хосе прилетел еще раз и привез мне документы для оформления визы.

Я собиралась к нему в гости. Но мы оба уже прекрасно понимали, что нужно будет что-то делать: отношения на расстоянии долго продолжаться не могут, они зачахнут без постоянных встреч, как цветок без воды. И чтобы этого не случилось, кому-то из нас придется переехать в другую страну.

Открыто мы об этом еще не говорили, но и так все было понятно.

В тот день, когда я получила визу, на смену первой радости пришло внезапное осознание, что на самом деле я не просто лечу в гости, а начинаю совершенно новую жизнь, в которую меня затянуло так стремительно, неожиданно и без подготовки.

И мне стало страшно.

Только радость в голосе Хосе немного успокоила…

Два дня прошли в такой суете, что страх невольно отступил. Он вернулся в тот момент, когда самолет набирал высоту, унося меня в неизвестное. Но то ли короткий ободряющий разговор с соседом по креслу, сестра которого уже много лет жила в Испании, приободрил меня, то ли глоток крепкого ликера, но я перестала бояться.

И стала думать о том, что нет магии сильней любви.

Опьяненная ею, я летела в Испанию с чемоданом, в котором подарков и сувениров было куда больше, чем личных вещей, уже предчувствуя, что останусь. Любовь сглаживала острые края камней-сомнений, ретушировала страхи и наполняла, подобно терпкому вину, хмельной бравадой.

О том, что будет дальше, думать не хотелось.

Меня ждали, меня любили, я любила – и это было главным!

Через три недели я позвонила маме и сообщила, что остаюсь: мы решили расписаться и уже собираем необходимые документы для свадьбы в Испании.

На первый взгляд может показаться, что мы поступили спонтанно, не выждав времени, не взвесив хорошенько все «за» и «против». На самом деле нам сразу стало ясно, что мы будем вместе. Мы оба понимали, что придется столкнуться с трудностями – как Хосе, взявшему на себя всю ответственность за меня, так и мне, особенно в период адаптации.

Они и были, трудности.

Переезжать в другую страну – это все равно что прыгать с вышки в холодную воду. Кто-то долго не решается, пробует воду пальцами, поднимается, вновь спускается, прикидывает высоту, пытается распознать глубину.

А кто-то, зажмурившись, прыгает с разбега, не давая шанса сомнениям!

И сложно сказать, как лучше: сто раз все обдумать, взвесить, поделить на тысячи километров, разделяющие страны, прибавить незнакомый язык, вычесть общение с близкими, вынести за скобки привычные традиции и все бодро умножить на мегабайты нежных писем и тоску по любимому человеку, растущую в геометрической прогрессии с каждым днем разлуки.

Либо вот так, зажмурившись и набрав полные легкие воздуха

– прыгнуть.

Это не математика, здесь не существует формулы, которая бы позволяла подвести под общий знаменатель опыт всех эмигрировавших. Кто-то тонет, а кто-то выплывает и прекрасно держится на плаву. Но в любом случае погружение в другую среду сродни прыжку в ледяную воду: перехватывает дыхание, наваливается глухота, теряются ориентиры и в какой-то момент начинает казаться, что уже не выплывешь.

Но можно выплыть, и не умея плавать!

Или утонуть, имея спортивный разряд.

Это во многом зависит от настроя и силы желания.

Периоды адаптации у всех тоже проходят по-разному: кто-то переболевает легко и быстро, кто-то еще долго страдает от осложнений.

Мне повезло: меня всячески опекали – не только Хосе, но и его семья.

Невестка Сильвия (жена старшего брата) помогала в бытовых вопросах, в женских мелочах, многое разъясняла, сопровождала меня за покупками. А в дни, когда Хосе работал, забирала меня в свою семью, где было шумно, весело, суетливо.

И все же было тяжело.

В первую очередь – по причине незнания языка.

Я чувствовала себя оглохшей и онемевшей. Было страшно выходить одной на улицу, не говоря уж о том, чтобы делать самостоятельно покупки или записаться, к примеру, по телефону к врачу. Мои первые попытки «вступить в контакт с аборигенами» часто заканчивались тем, что я, перепутав слова, то и дело попадала в нелепые ситуации.

До сих пор мы с мужем со смехом вспоминаем мою первую попытку совершить самостоятельную покупку. Я долго собиралась с духом и в итоге отправилась в находящуюся за домом аптеку (ближайшее место, где можно было потренироваться в языке). Так как с местными медикаментами и условиями их продажи я знакома не была, решила купить что-то, что, как мне казалось, продается в каждой аптеке без рецепта – активированный уголь. С помощью словаря я составила короткую фразу: «Буэнос диас! КаРБон медисиналь, пор фавор» («Добрый день! Медицинский уголь, пожалуйста»).

И вышла из дома. Аптека оказалась переполненной народом, ждать пришлось долго, потому что пожилые сеньоры, как водится, отоваривались неторопливо, каждая подолгу рассказывала фармацевтам истории своих недомоганий. И когда до меня дошла очередь, я успела так растеряться, что произнесла молодому

мужчине-фармацевту совсем не то, что заготовила:

– Ола! КаБРон медисиналь!

И только по наступившей тишине поняла, что сказала что-то не то. Неловкая пауза затянулась, так что я просто ткнула пальцем в первую попавшуюся коробочку, оплатила покупку и поскорей ретировалась из аптеки. И только вечером Хосе, которому я пересказала эту историю, рыдая от смеха сообщил мне, что, перепутав буквы в слове «уголь», я обозвала фармацевта «козлом».

– Привет, козел медицинский! – так прозвучало мое обращение к нему.

Больше в ту аптеку я не ходила.

Да, мне помогали: Хосе и его семья старались изо всех сил, чтобы период моей адаптации прошел менее болезненно. Но их помощь была бы бесполезной, если бы я сама не старалась справиться.

Во-первых, с самого начала я настраивала себя на то, что в Испании мне непременно все понравится! Ведь я любила человека, к которому уехала, а значит, должна полюбить и его родину. Я понимала, что постоянно буду натыкаться на какие-то различия в традициях, привычках, укладе жизни, и запретила себе сравнивать: то, к чему я привыкла в России, теперь должно было остаться в моей стране. И я приму традиции другой страны, хоть и останусь всегда русской.

Забегая вперед, скажу, что я действительно полюбила Испанию не меньше, чем Россию.

У меня раньше была одна «родная» страна, теперь их две.

Во-вторых, понимая, что многие сложности связаны с незнанием испанского языка, я сразу же усиленно занялась его изучением. Мотивация была сильной: язык мне был не только необходим, он мне нравился. Так что занималась я с удовольствием, хоть порой с отчаянием думала, что этот эмоциональный язык так и останется для меня «тарабарщиной». Испанский я учила как самостоятельно, общаясь с семьей, слушая музыку, просматривая фильмы, так и в школе языков. Кстати, курсы стали полезными не только в плане учебы: они принесли много знакомств, первую работу, обогатили информацией о разных странах и их традициях (наша группа оказалась многонациональной: европейцы, азиаты, американцы).

В-третьих, я переняла у испанцев манеру позитивно смотреть на жизнь и любые ситуации, что бы ни происходило. Все нелепые ситуации, в которые я попадала, поначалу хоть и расстраивали меня, но в итоге очень пригодились: сначала я в красках пересказывала их в письмах друзьям в Россию, затем завела блог,

а спустя какое-то время одно издательство предложило мне опубликовать некоторые из этих историй в виде небольшой книги.

Что и было сделано.

В-четвертых, помимо изучения языка и ведения, уже совместно с мужем, хозяйства у меня было другое занятие. В Испании я наконец-то получила возможность делать то, о чем мечтала – писать книги!

Конечно, не все всегда было гладко, но теперь я могу с уверенностью сказать, что в творческом плане себя реализовала (но это уже другая, отдельная, история).

Период адаптации рано или поздно заканчивается. У кого-то раньше, у кого-то – позже. Психологи говорят, что для адаптации требуется как минимум один год – цикл из четырех времен года.

Возможно. Хоть и не могу сказать, когда адаптация закончилась лично для меня.

Может, уже через пять месяцев, когда мы обменивались кольцами? Или месяцем позже, когда мне выдали пластиковую карточку – вид на жительство? А может, в тот день, когда в большой компании друзей мужа я бодро сыпала анекдотами на испанском – и меня понимали, и смеялись? Или когда я беззаботно болтала в кафе на женские темы с подругой-испанкой, и мы были так увлечены разговором, что не замечали ни быстро ускользающего времени, ни того, что мой язык все еще далек от совершенства? Или когда, меньше чем через год, погостив у родителей, улетала обратно в Испанию с чувством, что лечу домой?

А может, позже, когда родился сын…

И все же, хотя уже и прошло больше девяти лет, кто-то нет-нет да и спросит: скучаю ли я по России?

Честно, скучаю.

Но и Испания давно стала для меня близкой. А как же иначе, если она родная не только мужу, но и сыну?

У любви нет границ и виз.

И на другой частый вопрос: на каком языке мы разговариваем в семье – русском или испанском, а может, каталонском, я всегда отвечаю, что говорим мы на единственном языке – языке любви.

Моя сладкая жизнь
Лариса Райт, прозаик, преподаватель

Лариса – филолог, и по образованию и по призванию. Считает, что слова не должны и не могут быть пустыми. Свои произведения старается наполнять словами жизнеутверждающими. Писать начала для того, чтобы постичь неиссякаемую многогранность человеческой души. Лариса считает, что личное счастье заключается в способности человека находить гармонию с окружающим миром и с самим собой.

* * *

Я ехала за Катей в школу. По радио играла какая-то легкая музыка, я подпевала, думая о том, что надеть вечером. У нас с мужем были билеты в театр.

Уже не помню, в какой и на что.

Кажется, мы должны были смотреть комедию – отвлечься от будничной круговерти с работой и двумя детьми, младшей тогда едва исполнилось семь месяцев.

Я перебирала в голове наряды, предвкушая долгожданное событие, когда зазвонил телефон. Я взглянула на номер, и улыбка в секунду сползла с моего лица. Я могла не снимать трубку – я тут же поняла все, что мне скажут.

Это был не просто звонок.

Этот звонок разделял всю нашу жизнь на «до» и «после».

Не знаю, каким чудом я продолжала вести машину. Не знаю, почему не бросила руль и не остановилась. Вообще такие разговоры за рулем не ведут. Наверное, несмотря на то, что интуитивно я знала, что ничего хорошего ждать не приходится, какой-то уголок подсознания все же надеялся, что ничего плохого еще не случилось.

Я ответила.

– Лариса, – тут же начала наш педиатр, – вы делали Кате анализ крови.

Последняя надежда окончательно разбилась о ее серьезный тон. Анализ мы сдали в пятницу. Сдали для собственного спокойствия – и забыли. В субботу отмечали день рождения мужа,

в воскресенье приходили в себя после праздника, а сегодня вот понедельник, и, несмотря на начало трудовой недели, должен был состояться поход в театр.

У нас было прекрасное настроение.

Учебный год подходил к концу, куплены билеты на море, впереди отдых, каникулы, солнце и никаких забот…

– Да, Елена Владиславовна, – ответила я, стараясь, чтобы голос звучал ровно.

– Лариса, сахар натощак – десять и шестьдесят шесть. Вы понимаете, что это значит?

Я понимала.

Именно поэтому мы и сдали анализ.

Года за полтора до этого у знакомых заболел ребенок, и мне рассказали симптомы. Когда я заметила их у Кати (резкое похудение, обильное питье, частое мочеиспускание), то не могла не вспомнить о том, что слышала. Какое-то время я была страусом, который прячет голову в песок и старается ничего не замечать. Все вокруг радовались, что наша не полненькая, но крепко сбитая девочка вытянулась и постройнела, а я пыталась убедить себя в том, что все хорошо. Нет, с кем-то я делилась своими страхами, но знакомые рассказывали истории о том, как дети часто то набирают, то теряют вес просто из-за гормональной перестройки.

Девять лет? Так уже пора. Они сейчас все акселераты. Много пьет? Она по жизни водохлеб. С рождения не могли выйти из дома без бутылки воды. Как только садилась в машину, начинала ныть, что хочет пить. Часто писает? Да нет, просто наконец начала ходить в туалет, как все нормальные люди, а то сходит три раза за сутки – и все…

И мне почти удалось убедить себя в отсутствии проблемы. Хорошо, что не настолько, чтобы все-таки не сдать анализ для собственного спокойствия, хотя спокойствие мне теперь не грозило.

– Понимаю, – сказала я в трубку.

Наверное, мой голос звучал слишком глухо, потому что врач начала успокаивать:

– Однократное повышение глюкозы еще ни о чем не говорит. Надо пересдать, а потом делать выводы. Но, учитывая результат, лучше сделать это в стационаре. А почему вы решили сдать анализ? Обычно приходят ко мне, и я направляю…

– Просто у нее симптомы, которые предполагают, – я не смогла договорить название болезни.

– Похудела?

– На шесть килограмм.

– За сколько?

– За два месяца.

– Пьет? Писает?

– Чаще обычного.

– Лариса, надо ехать в больницу. Я могу вызвать «Скорую» прямо сейчас к вашему подъезду, и они повезут вас по результатам анализа.

– Хорошо, – согласилась я, а потом залепетала сущую ерунду:

– Елена Владиславовна, а она должна на следующей неделе ехать с классом в Ярославль. Она сможет поехать? Может быть, она сначала съездит, а потом мы проверимся?

– Вы все-таки не понимаете! Счет, возможно, идет на минуты, а не на дни, – отрезвила меня врач. – Я вызываю «Скорую».

Слезы уже градом катились по моему лицу.

Я наконец остановила машину, позвонила мужу на работу и сказала всего несколько фраз:

– Катюшин анализ плохой. Врач сказала: «Немедленно в больницу».

– Еду домой.

Муж поехал домой, а я в школу.

Мне предстояло самое сложное: сказать ей. Причем сказать, сохраняя спокойствие, которого у меня и в помине не было.

Кое-как я взяла себя в руки, отчаянно приказывая себе: «Не плакать! Не плакать! Не плакать!»

Для меня это очень сложно. Я реву по любому поводу. Слезы очень близко. Стоит услышать «Над землей летели лебеди» или посмотреть фильм про войну, как сразу шмыгаю носом и щеки мокрые.

Но сейчас я должна была перебороть себя во что бы то ни стало.

Мой ребенок шел к машине по школьной аллее.

Платье, еще недавно сидевшее в облипку, теперь болталось. Ручки торчали из рукавов-фонариков худенькими палочками. Огромный рюкзак оттягивал назад тоненькую фигуру. Она села в машину. Личико утомленное, под глазами – черные круги.

– Привет, мам. В музыкалку? – спросила, со всей вложенной в голос неохотой.

– Доченька, звонила Елена Владиславовна, твой анализ не очень хороший… – начала я, отчаянно стараясь вложить в голос нотки спокойствия.

– Что? У меня диабет?!

В отличие от меня дочь не боялась произносить это слово.

Дальше я всю дорогу говорила то, что только что услышала

от врача. Может быть, еще все обойдется. Может быть, это ошибка. Нужно просто съездить в больницу и проверить. И так далее, и так далее…

Не знаю, верила ли она мне, но я сама себе не верила.

У подъезда уже ждали муж и «Скорая». Мы пошли в квартиру – осматриваться и собирать вещи. Врач говорила те же слова, что и педиатр: возможно, нет никакого диабета, а даже если и есть, то не так уж это и страшно.

Я решила, что она сумасшедшая.

– Первый тип никак не влияет на качество и продолжительность жизни, – уверенно говорила она, а я, кивая, думала о том, что она, наверное, считает нас полными идиотами, если говорит такое.

Мы ехали в машине «Скорой помощи», муж несся за нами по выделенке, Катя с очень важным видом лежала на кушетке.

Для нее все происходящее превратилось в занимательную игру. Во-первых, она верила, что все еще рассосется. Сейчас она поиграет в больницу – и поедет домой. А во-вторых, верила словам тети-доктора больше меня.

В приемном покое дочку забрали на анализ крови.

– Думаешь, это может быть ошибкой? – с надеждой спросила я у мужа, но он только покачал головой:

– Не думаю.

Вернулся наш ребенок, стал скакать по палате, задирать ноги в каком-то своем танце, что-то петь. Это ее обычное состояние. Ни минуты молчания и покоя.

Очень быстро пришла врач и обеспокоенно спросила нашу девочку:

– Как ты себя чувствуешь?

Мы, взрослые, тут же поняли: «Все».

– Нормально, – ответил ребенок, продолжая прыгать и кружиться.

– Сахар тридцать три, – сказала доктор. – Это коматозное состояние. Пойдемте в отделение.

В отделении стало спокойнее. Особенно когда мою дочь, отчаянно орущую в своем девятилетнем возрасте даже от намека на прививку, в две минуты научили делать себе укол инсулина. С одной стороны, она была жутко расстроена, а с другой – страшно гордилась тем, что теперь у нее есть личный гаджет под названием глюкометр и бордовая с серебристой окантовкой шприц-ручка, на которой курсивом выбито очень красивое имя Lilly.

Нас проводили в палату, где уже лежала тринадцатилетняя Полина.

– Новенькая? – поинтересовалась она. – А я уже семь лет болею.

– А почему сейчас в больнице? – спросила я.

– Что-то сахара расшалились, решили лечь. А вообще, надо каждый год ложиться.

– Зачем? – мне стало дурно.

– На обследование для инвалидности.

– Для инвалидности?!

Я поняла, что пугаю и себя, и свою дочь, и предпочла свернуть разговор.

К нам пришла дежурная врач (во второй половине дня никого из палатных врачей на месте уже не было). Она подтвердила диагноз, выдала книгу о сахарном диабете первого типа, повторила, что ничего страшного с нами не случилось, и предложила остаться ночевать с Катей.

Я бы осталась с удовольствием, но дома ждала младшая, Машка, которую я еще кормила. Моя девочка ходила с Полиной знакомиться с другими ребятами, уже что-то рассказывала о том, кто, как и сколько болеет.

Рассказывала она с таким видом, будто сама уже болела лет двадцать, не меньше.

Теперь она сидела на кровати и играла с мужем в шашки, а я начала звонить.

Нашему педиатру, классному руководителю, хормейстеру музыкальной школы, руководителю танцевальной студии – всем объясняя одно и то же: – У нас диабет. До конца учебного года не придем.

Еще я позвонила своему редактору, чтобы сказать, почему не смогу завтра приехать в издательство.

Я звонила не для них – для себя. Чем большее количество раз я произносила название болезни, тем больше к ней привыкала и тем меньше она меня страшила.

Или мне просто так казалось.

Организм включил защитный механизм действий на автомате: больше делать и меньше думать.

Мы с мужем вышли из больницы и поехали домой.

Молча.

Оба были в состоянии шока, а еще – оба думали: как сказать родителям?

Он позвонил своим из машины. Охи и ахи свекрови остановил очень быстро:

– Мама, ничего ужасного не случилось.

– Как ничего ужасного?! – услышала я всхлипы свекрови. – Это же ДИАБЕТ!

– Да, диабет, но не конец света. С ней все хорошо, мам.

Он говорил в трубку, а я понимала, что все это он говорит и для меня тоже, потому что мне, как и свекрови, ужасно хотелось плакать, причитать и кричать на весь белый свет о том, что это ужасно!

Дома нас ждала няня с малышкой. Я разрыдалась в ее объятиях, а она гладила меня по голове и повторяла:

– Ну что вы, Ларисочка? Не надо, девочка моя, ничего страшного.

Мне стало стыдно, потому что эта женщина полгода назад похоронила своего погибшего в аварии двадцатилетнего сына. Вот у нее – трагедия, а у меня – так, небольшие жизненные трудности и не более…

Каким-то образом – то ли из-за силы характера, то ли из-за лучшего понимания жизни – моему мужу удалось воспринять все случившееся именно так.

Мне было гораздо сложнее.

Да, умом я понимала, что если этому дано было случиться – то счастье, что случилось именно так. Что вовремя сдали анализ, что вовремя оказались в больнице…

Но толку от моих самоутешений было мало.

К тому же мне еще предстоял разговор со своими родителями. В чем-то мне было легче, чем мужу. Мои – не из тех, кто психует. А в чем-то – гораздо тяжелее. Мне так нужна была мама, мне так хотелось уткнуться в ее плечо и выплакать в него все происшедшее! Но мама была далеко – за тысячи километров. Они отдыхали на море, а я должна была этот отдых нарушить. Они ничем не могли помочь, и, набирая номер, я сто пятьдесят раз успела приказать себе держаться, чтобы у них не возникло сомнения в том, что я справлюсь.

Однако совсем беззаботного тона не получилось.

Хоть я и начала разговор с банального вопроса: «Как дела?», папа тут же спросил: «Как у вас?» – и пришлось выдать правду:

– Катя в больнице. Анализ плохой.

– Какой плохой?

– Десять натощак, а в больницу приехали – тридцать три.

– Ты ничего не путаешь? – переспросил мой папа, который к тому времени уже несколько лет принимал сахаропонижающие таблетки. – Может быть, три и три? Так это хороший сахар, даже низкий.

– Я не путаю, пап: тридцать три! В больнице она будет дней

семь-десять. Наверное, надо будет менять билеты.

Через две недели дети и я должны были лететь к родителям.

– Я пока еще ничего не знаю, завтра буду говорить с врачом…

Мои тактичные родители не стали меня мучить, хотя наверняка провели бессонную ночь, штудируя Интернет в поисках информации о свалившейся на нас болезни.

Я же, как ни странно, спала как убитая.

Проснулась только для того, чтобы покормить Машку, потом взяла ее к себе под бочок, уткнулась в светлую, пахнущую детством спасительную макушку и снова провалилась в сон. Наверное, организм сознательно берег мне силы. Если бы я еще и не спала, скорее всего, не выдержала бы поселившегося во мне напряжения.

Потянулись больничные будни.

Мой ребенок каждый день встречал меня «оптимистичной» новостью:

– Я теперь диабетик, – последнее слово окрашено всеми возможными красками презрения.

– А когда я вырасту, мне отрежут ноги.

– Я не человек, а инвалид.

Хорошо, что время позволяет забывать, и я помню не все ее «внушающие бодрость духа» перлы. Могу только представить, что творилось у нее внутри, какие переживания раздирали ее детское сердечко!

Но, с другой стороны, детство – это такое счастливое состояние, когда ты легко умеешь абстрагироваться от реальности. Она посылала свои мысли в пространство, а через пять минут уже не слушала мои слова успокоения, а хохотала с новыми подружками над какой-то картинкой в журнале. Она спокойно колола свои пальцы, мужественно ела больничную бурду и радовалась тому, что «сахара» медленно, но верно ползут вниз.

Я с утра до вечера торчала в больнице, умудряясь по несколько раз сцеживать молоко для младшей.

Не знаю, каким чудом оно не пропало.

Наверное, все та же мобилизация организма – отвлекающий маневр переключения мыслей.

Он действовал, но слабо.

Я пять раз прочитала книгу о диабете, которую подарили в больнице, и исследовала виртуальное пространство вдоль и поперек. Я бесконечно говорила по телефону: и оказалось, что практически у каждого моего друга или родственника был какой-

то знакомый с этим диагнозом, который прекрасно выглядел, отлично себя чувствовал и жил полной жизнью.

Умом я уже понимала, что диабет – никакой не приговор, я даже могла как ни в чем не бывало произносить: «Техническая болезнь, не более того».

Но ведь все эти прекрасно выглядящие и отлично себя чувствующие были посторонними людьми, а рядом была моя доченька. И это у нее будут исколотые пальчики, шишки от уколов и раненая душа…

Но это были внутренние переживания.

А внешне надо было сохранять спокойствие – и ради нее, и ради других близких.

Надо отдать должное моим родителям, которые ни словом, ни охом не дали мне понять, насколько им больно и страшно. Каждый день мы повторяли друг другу фразу о том, что с этим можно нормально жить (а это действительно так), и это помогало.

Да, сейчас, конечно, я уже научилась видеть плюсы в случившемся. Сейчас я говорю себе, что случившееся – счастье, по сравнению с другими страшными диагнозами, которые бывают у детей. Счастье и то, что мы все сделали вовремя и оказались в больнице, а не, например, на экскурсии с классом в Ярославле, где Катюша могла бы впасть в кому, и ее бы просто не стало…

Это понимание, кстати, пришло довольно быстро, но оно не отменяло переживаний и от уже случившегося, и от того, что еще может случиться. Несмотря на все изученное и прочитанное, казалось, что о диабете я знаю только слово.

Исправить ситуацию должна была «Школа диабета» – краткий трехдневный курс для родителей о жизни после больницы.

В первый день рассказывали о том, как бороться с высоким и низким сахаром, во второй – о том, как кормить и какие продукты на сколько поднимают сахар. Я исправно записывала, а дома перечитывала и старалась запомнить, осознать и разложить услышанное по полочкам сознания.

В последний, третий день обучения докладывали об осложнениях диабета, говорили о том, сколько процентов диабетиков имеют проблемы с глазами, почками и проводимостью нервных волокон.

И вот здесь мое сознание отключилось.

Нет, я все записала, но даже не перечитывала и тем более не учила. Внутренний голос кричал о том, что мне этого не надо и с нами этого не произойдет.

И хотя упрямая, до дыр зачитанная книга твердила о том, что, к сожалению, осложнения случаются и при хорошей

компенсации диабета, я предпочитала повторять другую цитату: «Человек с компенсированным диабетом – здоровый человек».

Нас выписали.

Стоя у ворот больницы, мы обернулись и посмотрели на окна эндокринологии.

Я сказала Кате:

– Просто скажи: «Я сделаю все, чтобы не возвращаться сюда».

И мой маленький мужественный человечек произнес эти слова так, будто давал самую важную в жизни клятву.

Уже через неделю дети и я летели к маме на Кипр.

Она встречала в аэропорту. Наверное, если бы одна из нас дала слабину, слезы полились бы фонтаном. По-моему, я даже как-то скомканно ее обняла, чтобы только не дать волю накопившемуся напряжению излиться наружу.

– Я только посмотрю, как ты все делаешь, – сказала мама, – и научусь.

И она научилась.

Уже через несколько дней она легко могла отмерить ребенку еду, не сверяясь ни со мной, ни со специальной таблицей.

Мы вели обычную жизнь отдыхающих: купались, загорали, ходили в рестораны, пытаясь угадать, сколько же надо ввести инсулина на лежащую в тарелке еду. Все было как всегда, за исключением измерений сахара и частых объявлений:

– Мне что-то нехорошо. Пойду померяю.

И через тридцать секунд:

– Два и восемь (три и один, один и шесть), дайте конфету.

При всех больничных угрозах возможного впадения в кому от пропущенного низкого сахара, этого я не слишком боялась. Катя исправно чувствовала приближение этого состояния тогда, когда до него было еще очень далеко.

Гораздо больше меня пугали «высокие сахара». И хотя их причиной тогда практически всегда была неправильно просчитанная ресторанная еда, я каждый раз не могла уснуть до тех пор, пока сахар у дочери не приходил в норму. Бегала мерить уровень глюкозы спящему ребенку, а в перерывах изводила себя совершенно непродуктивными мыслями о том, почему, для чего и зачем это с нами случилось…

Мама уехала, прилетел муж.

Я болела синдромом отличницы: в доме должна быть вкусная еда, красивая жена и счастливые дети. Я только забыла о том, что жене тоже неплохо бы быть счастливой…

Я чувствовала, что между нами – взрослыми – что-то не так.

А когда наконец появилось время и желание для откровенного разговора, и я заявила, что совершенно не

понимаю, что происходит, мой муж ответил, что он понимает прекрасно:

– Все очень просто. Нас в постели трое.

Я опешила.

Как это трое?

Мы на отдыхе, все замечательно, никаких других женщин, а тем более мужчин не было даже на горизонте.

О ком он? О Маше? Да, спит с нами в комнате, но в отдельной кровати. Просыпается и ест по ночам? Я даю ей бутылочку, а потом иду вниз сцеживаться (каждый день с пяти до шести утра, потому что в месяц моя маленькая лентяйка бросила грудь и предпочла кушать из бутылочки). Ну, так муж в этот час даже не просыпается.

О ком же третьем идет речь?

На мой молчаливый вопрос муж охотно пояснил:

– Ты, я и диабет.

Это меня отрезвило.

Надо было пытаться жить нормальной жизнью не только внешне, но и внутренне. Ему нужна была прежняя женщина, легкая, веселая, жизнелюбивая, а не только и ждущая напряженно по несколько раз в день: какой результат покажет глюкометр, и умеющая рассуждать только о том, какой продукт, сколько содержит углеводов.

Изобразить внешнее спокойствие, меньше говорить о болезни было не так уж и сложно.

Но «не говорить» – не значит «не думать».

Внутренне я жила от измерения до измерения – и ничего не могла с этим поделать.

Так продолжалось месяц, два, четыре.

Катя пошла в школу и с удовольствием мерила сахар всему классу. Она была не просто не такая, как все – сладкая девочка, у нее к тому же был гаджет, недоступный другим.

Ее жизнь не претерпела особых изменений. Она занималась физкультурой, хотя больничные доктора настойчиво советовали этот школьный урок не посещать, ходила на танцы, которыми занималась с трех лет, и в музыкальную школу. Только добавилось простое правило: перед физической нагрузкой померяй сахар, и если он низковат, съешь что-то углеводистое.

Наверное, в моей девочке тоже живет синдром отличницы, раз она научилась безоговорочно это соблюдать. Она научилась «считать» школьные обеды, пользоваться глюкометром, не стесняясь, и открыто говорить: «У меня диабет».

Она так многому научилась всего за несколько месяцев, а я не научилась элементарному: не начинать разговор, когда

встречала ее из школы, с показателей сахара, не вздрагивать, когда видела на дисплее незнакомый телефонный номер, от страха, что что-то случилось с ней, и спокойно спать по ночам, независимо от ее показателей.

Я знаю, что это было неправильно, разрушительно и даже просто глупо настолько себя изводить, но, возможно, именно благодаря этому настрою на исключительно хороший результат мы, сдав в сентябре анализ на гликированный гемоглобин (среднесуточный показатель глюкозы в крови за три месяца), получили норму, хотя врачи утверждали: если вам удастся за это время снизить хотя бы на один ммоль – это уже достижение.

Мы снизили на четыре.

Но даже это хорошее известие не помогло мне успокоиться.

Жизнь под внутренним девизом «хороший сахар» продолжалась. Впереди было новое испытание.

Благостный период, когда сахар держался в относительной норме, закончился через полгода.

Начались непонятные и необъяснимые скачки. Катя поднимала от глюкометра полные слез глаза и говорила:

– Я не хочу в больницу!

– Какая больница? – невинно удивлялась я. – Мы же с тобой обещали друг другу…

Я не посадила ребенка дома и ни в чем не ограничила.

Она шла на занятия и с сахаром шестнадцать, и с сахаром двадцать семь. Кто-то назовет меня ненормальной, но я хотела одного: не дать ей почувствовать, что происходит что-то страшное, что я чего-то боюсь, хотя боялась ужасно.

В метаниях прошло два месяца, а потом, по стечению обстоятельств, мы попали к доктору, который предложил нам поставить инсулиновую помпу. Можно считать ее искусственной поджелудочной железой, можно назвать инсулиновым мини-компьютером – не важно. Главное, что этот аппарат, в отличие от шприцов, производит гораздо более точный расчет доз инсулина и имитирует работу здоровой поджелудочной железы.

Мой ребенок, к тому времени уже очень напуганный своими показателями, сразу согласился, хотя до этого она никогда не выражала восторга по поводу того, что из ее тела все время будет торчать какая-то трубка, а на поясе висеть непонятная штуковина, напоминающая пейджер.

Помпа быстро вернула показатели к норме, но обращение с ней требовало определенных навыков.

Надо правильно вкалывать катетеры, надо следить за тем, чтобы в трубочке не образовывались пузырьки воздуха, надо, наконец, просто аккуратно и бережно с ней обращаться, а

аккуратность, увы, пока не конек моей дочери.

А еще надо уметь поднимать Катю на смех, когда она заявляет, что «никто ее не полюбит с такой исколотой попой».

Надо не реагировать на ее внезапные приступы ненависти к помпе, которые случались все реже и реже.

Помпа не мешала, а помогала жить – и это тоже надо было понять.

Вообще диабет – это одно сплошное «надо», лишенное любого «хочу – не хочу». Я научилась даже видеть плюсы в этой болезни. Она учит организованности, самодисциплине и стойкости.

Пока – больше учит меня, но у доченьки еще будет время наверстать…

Прошло два года с начала нашей «сладкой» жизни.

В больницу мы ни разу не возвращались. Обследование на инвалидность можно пройти и за один день. Правда, для получения пресловутой бумажки и связанных с ней льгот надо каждый год проходить еще сто пятьдесят инстанций, но это отдельная тема.

За два года мы, конечно, «уже» привыкли к болезни, но по сравнению с целой жизнью – это только «еще». Кате многому предстоит научиться, да и мне тоже. Ей придется оторваться от моей юбки, а мне – позволить ей это сделать, ничего не страшась.

Но главного мы уже достигли.

Нам удалось сделать диабет не руководителем нашей жизни, а всего лишь фоном. Она хочет быть актрисой и родить троих детей. Не знаю насчет актрисы, а с детьми точно все получится. Она научилась почти безошибочно на глаз определять количество углеводов в куске пирога, а я наконец-то научилась спать, даже если дочь легла с «плохим сахаром». Я знаю, что этому есть объяснения, и они могут подождать до утра.

Теперь я хочу руководить диабетом – не желаю, чтобы он руководил мной!

Как получилось преодолеть ситуацию?

Просто прошло время.

Человек верткое существо – ко всему привыкает.

К тому же в жизни так много хорошего: любовь и поддержка мужа и родителей, растущие дети и замечательные друзья. Без них было бы гораздо тяжелее.

И все же все основные страхи я преодолела сама.

Конечно, еще не до конца.

Пару месяцев назад моя младшая вдруг на несколько дней начала больше обычного пить и писать. Как только я сказала об этом, Катя тут же схватила глюкометр и побежала мерить ей

сахар.

Одному Богу известно, что пережила я за секунды перед тем, как услышать нормальные показатели.

Этот страх никуда не денется. Он будет жить со мной, но я научусь управлять и им, как научилась управлять диабетом.

Можно жить и верить в то, что Катюша станет одним из тех немногочисленных подростков, у которых в переходном возрасте под влиянием гормональных изменений болезнь пройдет. Можно надеяться, что, несмотря на сильнейшее лобби производителей инсулина, каким-то чудом кому-то удастся не просто изобрести искусственную поджелудочную железу, но и запустить ее в массовое производство…

Я об этом не думаю.

А может быть, просто не слишком верю в это.

Но зато я твердо верю в то, что моя девочка будет жить долго и счастливо.

С диабетом или, даст Бог, без него.

Водолечебница «Счастье»
Евгений Попов, прозаик

Самый веселый анархист современной российской словесности. Он никогда не боролся с властью политически – он подрывал ее эстетические устои, достаточно вспомнить его участие в скандальных альманахах «Метрополь», «Каталог», исключение из официального Союза писателей. Евгений говорит, что свобода, возможность весело и открыто глумиться над вечным несовершенством окружающей жизни – настоящее счастье для писателя и его читателей.

* * *

«Что такое счастье – это каждый понимал по-своему».

Аркадий Гайдар

Мало кто знает, что в Москве еще совсем недавно имелось уникальное лечебное заведение, которое организовал и содержал мой известный персонаж, безработный Хабаров. Дело в том, что буквально в сотне километров от столицы располагается девственный кустарно-луговой массив, состоящий из торфяных озер и болот ледникового происхождения, где в воде водятся язь, линь, карась, окунь, щука, а в небе – черный коршун, русский орел, скопа, пустельга, ремез, речная крячка, тростниковая камышовка. Но вовсе не это привлекло сюда в начале XXI века безработного Хабарова, а то, что при своем бесславном отступлении из Москвы в 1812 году Наполеон был вынужден утопить в этих озерах и болотах все свои сокровища, награбленные в России: церковную утварь, золото и серебро в слитках, изделия, украшенные драгоценными камнями. А где точно – неизвестно, потому что этот французский русофоб, не рассчитавший свои силы, никому об этом перед смертью не сказал, а потом умер. Хабаров не такой был дурак, чтобы эти сокровища искать, потому что у нас кто сокровища даже если и найдет, того все равно или убьют, или посадят, или он рехнется умом. Да никто, если честно сказать, объемных тайных сокровищ так и не нашел за все обозримое время нашей истории, несмотря

на то, что Русь обладает древней традицией – сначала украсть, потом где-нибудь это наворованное спрятать. В существовании библиотеки Ивана Грозного и то наука сомневается. Хабаров зато прочитал, что эта торфяная вода благодаря своим теплофизическим свойствам и биохимическому составу оказывает лечебное воздействие на суставы, сердце и нервы, а по случаю Наполеона имеет повышенное содержание золота, серебра, меди, олова и цинка, что еще более усиливает ее медицинские свойства. Хабаров тогда взял кредит, одолжил у меня недостающую сумму, рассчитал ЛОГИСТИКУ привоза торфяной воды и устроил водолечебницу на две гидромассажных ванны с пузырьками и солярием в Первом Колобовском переулке, в том самом полуподвале, где раньше была мастерская нашего покойного друга литератора и скульптора Федота Федотовича Сучкова, отсидевшего при Сталине тринадцать лет, ученика великого русского писателя Андрея Платонова. Впрочем, все эти подробности вряд ли имеют прямое отношение к моему, следующему за этими подробностями рассказу. О том, как лежа в этой целебной воде, куда мой старый институтский друг Хабаров пускал меня бесплатно, я вдруг начал медитировать и вспоминать, вспоминать, вспоминать…

Добавлю только, что Хабаров официально именовал свою водолечебницу «Счастье» и печатал о ней объявление в газете «Московский комсомолец». Но, как потом выяснилось, когда на него завели дело, лечебница вообще-то была, мягко говоря, не совсем официальная. Ну, не будем об этом. Следователи в принципе ничего потом доказать не смогли или не захотели. Покрутились, повертелись, нервы только всем попортили, после чего рассыпалось дело в прах.

Так вот. Я лежал в гидромассажной ванне и грезил. Мысли мои были отрывисты, спонтанны, дискретны, но я их для вас сейчас художественно выстрою – для удобства чтения, из уважения к дорогим читателям и читательницам, а также в пику постмодернизму, в принадлежности к которому меня всю жизнь сдуру обвиняли критики. Сдуру, потому что уж если я не реалист, то кто тогда в нашей стране реалист? Итак, я лежал и грезил, медленно погружаясь в прошлую действительность как в торфяную воду. Мне никто не мешал. Вторая гидромассажная ванна с пузырьками и солярием была, к счастью, пустая, и медсестра, смазливая уроженка города К., стоящего на великой сибирской реке Е., впадающей в Ледовитый океан, куда-то исчезла. По своим делам, что ли?..

«Мне вот-вот должно было исполниться тридцать три года, когда я наконец-то догадался, что пора менять жизнь к лучшему.

Наверное, раньше надо было соображать, раз уж выпало мне в советской империи родиться, но уж как случилось, так и случилось. Всему есть свое объяснение, равно как и всему свое время и место.

Вот вы, современные читатели и читательницы, в Советском Союзе, возможно, вообще не бывали – по младости лет, – а воспоминания старых советских людей, каковыми являются, по моим наблюдениям, все граждане РФ до 1965 года рождения, большей частью смазаны, приблизительны в силу тех или иных обстоятельств, куда следует включить преждевременное слабоумие, невнимательность и – пардон! – СОЗНАТЕЛЬНОЕ ЗАБВЕНИЕ. Ну, дескать, что было, то было, что прошло, того уж нет. И скорей всего никогда уже не будет…

Поэтому я сейчас вам быстренько расскажу, что смогу – ну, как там все было устроено, когда наша страна еще была одной шестой частью мировой суши, а не скукожилась до одной седьмой. Хотя, если честно сказать, и одна седьмая – это совсем, совсем неплохо. Многие за рубежами наших пограничных столбов о таких просторах только мечтают, отчего, как жалуются некоторые другие, не будем уточнять кто, нас во всем мире и ненавидят. Весь мир друг у друга на головах сидит, а русские, видите ли, все своими обильными пространствами любуются, по случаю чего и затопили половину Сибири идиотскими ГЭС, которые как начали большевицкие начальники строить, так и нынешние, хрен их знает, кто они такие по идеологической принадлежности, остановиться не могут. Чисто как дети, которые ковыряют палочкой весенний ручей, плотину на нем возводят из подручного уличного мусора.

А страною тогда, когда мне вот-вот должно было исполниться тридцать три года, правили люди, которые утверждали, что являются коммунистами, как примерно сейчас утверждает Зюганов. «Дерьмо вы, а не коммунисты», – говорили им оппоненты. «Сами вы дерьмо», – отвечали им коммунисты. В этом споре я не участвовал, не участвую и участвовать не собираюсь, пусть сами разбираются, Why is Who какого цвета. В споре, говорят, рождается истина, но она, как известно, нашей стране не нужна, а я – верный и послушный сын своей печальной родины, мне истины тем более не нужно, что мне с ней делать?

Вот… Обратите внимание: сейчас кругом пока что изобилие, а тогда в продуктовых магазинах практически ничего не было. То есть в Москве имелись и колбаска, и мясо, и сыр, но ПО

ОЧЕРЕДИ, при диком скоплении озлобленных людей, в этой очереди стоявших, где одни кричали про «зажравшихся москвичей», а другие про «понаехавших» – из-за них, дескать, и очереди скапливаются. Никогда мне не забыть «Универсама» в Теплом Стане, где за час до открытия собиралась угрюмая толпа, которая в 9 утра чуть двери не сносила, устремляясь к прилавкам, мгновенно разбирая все, что на них находила. Ну а те, кому по нерасторопности дефицитного куска не досталось, вот они-то и организовывались тогда в очередь. «Вы последний? Я за вами…» Что же касается так называемой провинции, так там вообще не имелось из продуктов НИ-ЧЕ-ГО, кроме МАРГУСАЛИНА, хлеба и разливного вермута, после принятия которого на дне стакана оставался темный осадок толщиною в палец. Что такое «маргусалин», я до сих пор точно не знаю, помню только, что была это какая-то особенная мерзость слизеобразная, серая, вонючая, на которой можно было с голодухи жарить картошку. Чего я и тогда не делал, чтобы не вырвало.

С духовной пищей было, конечно же, лучше, Россия ведь Духовная страна? Но запросто могли посадить за чтение книги «Архипелаг ГУЛАГ» или если кто регулярно пересказывает людям то, что слышал по «Голосу Америки». За границу тогда хрен было свободно съездить, за исключением Болгарии, куда тоже не всякого пускали, а только проверенного НА ПРОИЗВОДСТВЕ парткомом, профкомом, КГБ и дирекцией. Что еще? Туалетную бумагу тогда мало кто видел в свободной продаже, а если ее время от времени ВЫБРАСЫВАЛИ (канувший глагол тех лет), то счастливцы разбредались по городу, как туземцы, обвешанные ожерельями из рулонов упомянутой бумаги, которой – уж чего-чего – а теперь у нас в стране, согласно грубой русской поговорке, хоть задницей ешь. Зато песни пели под гитару о том, что «лыжи у печки стоят», в космос летали на ракетах и других космических кораблях, снабжали, чем могли, африканцев и прочих бедолаг, угнетенных капиталистами. На югославской антисоветской карикатуре был изображен Никита Хрущев, босой, в дырявых штанах и с вопросом, торчащим, по законам комикса, изо рта «Кому бы мне еще помочь?». Югославией тогда правил Тито, Китаем – Мао Цзэдун. Хрущев с ними рассорился, Брежнев помирился. У Брежнева дочка в цыгана влюбилась, но его посадили за бриллианты. Ладно. Хватит. Потому что меня и самого печалят скорбные картины того времени, пропади оно пропадом! Хорошее тогда, конечно, тоже было, но оно в первую очередь заключалось в том, что я был моложе на тридцать с лишним лет. Солнышко, как сейчас помню, светило ярче, небо было голубое, девушки красивые, билеты на самолет дешевые,

водка продавалась по цене 2 руб. 87 коп., ну и лыжи действительно иногда стояли у печки.

Вот так, прямо надо сказать, жила великая страна, поэтому и я к тому времени, когда мне вот-вот должно было исполниться тридцать три года (р. 05.01.1946), находился в весьма странном положении. С одной стороны, я стал знаменитостью «широко известной в узких кругах». В «Новом мире», самом интеллигентном журнале тех лет, у меня в 1976 году, напечатали два коротких рассказа с предисловием Василия Шукшина, и я надеюсь, что читатели и читательницы знают или, по крайней мере, слышали это славное имя.

Тогда в советских литературных журналах печатали в основном такую мутную безумную чушь, что я наутро «проснулся знаменитым». Недооценка собственных достижений для писателя глупа, переоценка – губительна. Не переоцениваю! Спасибо Шукшину! Шукшин в те годы был, как сейчас говорят, «культовой персоной», отчего и привлек внимание к моим скромным сочинениям. Но и мои рассказы были неплохие, скажу без ложной скромности. Я, кстати, после публикации получил целый мешок писем от благодарных читателей и читательниц, но, увы, многие из них задавали мне ехидный вопрос – как это покойник с того света мог написать мне предисловие через два года после своего успения (Шукшин умер в 1974 году). Я на десяток писем вяло ответил, что, дескать, живем в непростое время, не все сразу печатается, намекал на цензуру, которая, кстати, и у самого Шукшина в предисловии вырезала, к моему изумлению, абзац, но мне в редакции посоветовали лишнего не болтать, на чем я свою переписку с народом и закончил. Да, да, действительно неплохие были рассказы, если не верите, то вот прочитайте один из них.

Барабанщик и его жена, барабанщица

Жила-была на белом свете одна тихая женщина-инвалид, и жил на белом свете вместе с нею один бойкий барабанщик из похоронного оркестра.

Эта женщина однажды проживала с мужем в городе Караганда Казахской ССР и ехала в рейсовом автобусе на работу. И тут у автобуса заглох мотор на переезде, а поезд был слишком близко.

И поезд налетел на автобус, делая кашу и железный лом. И барабанщица вылетела из автобуса.

Во время полета ей разбило голову кованым сапогом, и кости торчали наружу, после чего она что-то все стала бормотать, бормотать, бормотать, а также читала всего лишь одну книгу. А

именно: Расул Гамзатов – «Горянка», где он описывает новые отношения между людьми в Республике Дагестан и борьбу за женское равноправие.

Эту книгу она купила в больничном киоске непосредственно после травмы. И никогда больше с ней не расставалась.

После несчастья многие отвернулись от женщины, и первым из них был ее родной муж.

А барабанщик всю жизнь играл на барабане. Он и на фронте бил в барабан, и после войны бил в барабан. Он сильно пил. Он пил, пил, пил и допился до того, что стал играть в похоронном оркестре, где ходил за гробами с музыкой.

И от него тогда тоже многие отвернулись.

Вот тут-то они и сошлись с женщиной, и стали жить на улице Засухина во времянке.

Зимой во времянку задувало, но ярко горела печь. А летом у них в садике цвела черемуха, и можно было дышать. Правда, барабанщик все пил да пил, и женщина все бормотала.

А красивая была женщина – черноволосая, стройная.

А барабанщик, кроме игры на барабане, изучал вопросы прочности окружающих предметов. Он сильно сокрушался, что нет на земле прочных предметов. И что если есть вроде бы прочный предмет, то обязательно имеется предмет еще более прочный, который может разрушить первый предмет.

– Ведь если бы не это, твоя голова не была бы расшиблена кованым сапогом, – говорил он барабанщице.

И та с ним соглашалась.

Ввиду неуспешных поисков смысла прочности барабанщик пил все больше и больше. И вот однажды он в полном отчаянии замахнулся на святая святых: он забрался на барабан и стал по нему прыгать. Пробуя.

А женщина сидела на кровати.

Она тихо сидела на кровати и читала любимую книгу. Тихо тикали ходики. Деревянные стены времянки были аккуратно выбелены. В углу висел рукомойник и стояло поганое ведро. На полу лежал половичок.

А барабанщик все прыгал и прыгал, а сам был маленький и толстенький. Он прыгал-прыгал да и прорвал барабан – свой хлеб, свое пропитание.

Он тогда очень огорчился и стал поступать нехорошо. Он стал обвинять барабанщицу в том, что она испортила ему жизнь.

– Если бы не ты, дура, я бы сейчас играл в Большом театре. Я тебя могу побить.

Тихая женщина очень испугалась. Потому что они жили долго, и он с ней никогда так не говорил. Она взяла с собой книжку и

убежала на улицу.

А на улице была ночь и плохо горели фонари, так что бежать можно было лишь сильно отчаявшись.

Барабанщик понял это, и ему стало очень стыдно. Он тогда пошел к водопроводной колонке, а сам был волосатый. Он разделся, облился холодной водой, вернулся в дом и вспорол пуховую перину.

Вывалялся весь в пуху и пошел искать барабанщицу.

Он нашел ее под завалинкой. Она дрожала от страха и смотрела в темноту из темноты.

– Ну, что ты боишься, дура? – сказал пуховый барабанщик. – Ты не бойся.

Барабанщица молчала.

– Ты не бойся, лапушка, – сказал барабанщик, который был бойкий. – Я не намазался дегтем, я не намазался медом. Я облился водой, и тебе будет легко отмыть меня. Ты хочешь меня отмыть?

– Хочу, – ответила женщина.

Она вылезла из-под завалинки и забормотала: «Хочу, хочу, хочу».

И они вернулись в дом. Барабанщик обнял барабанщицу. Она нагрела воды в большом баке. Вылила воду в корыто и стала отмывать барабанщика.

А он сидел в корыте и пускал ртом мыльные пузыри, чтобы барабанщица не плакала, а смеялась.

Старым советским людям сразу же становилось понятно, что название этого рассказа было навеяно песней полузапрещенного тогда Булата Окуджавы, где есть такие слова: «…где же, где же, барабанщик, барабанщица твоя?» Ну а Расул Гамзатов (1923–2003), дагестанский советский поэт, лично мне симпатичен, хотя я и не был с ним близко знаком. Когда меня вышибали из Союза писателей в 1979 году, этот аксакал пребывал на секретариате Союза писателей в состоянии легкого алкогольного опьянения и время от времени восклицал с акцентом во время моей перепалки с противным партийным чертом Феликсом Кузнецовым и другими писательскими начальничками: «Ай, молодца! Хорошо сказал! Принять его обратно писателей союз!» – «Заткнись, пьяная морда!» – шипели ему коллеги. Вели секретариат великие С.В. Михалков, сочинитель гимнов, и Ю.В. Бондарев, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и двух Государственных премий СССР. Михалков он и есть Михалков, а Бондарев меня поразил тем, что, слушая меня, изображал из себя глухонемого, как Король или Герцог в книге Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна». Осуждающе качал головой, гримасничал, хватался за лоб, лучше меня понимая, что все

сказанное протоколируется и в дальнейшем может навредить его ИМИДЖУ – в той или этой жизни.

Бог с ним, я его уже простил и надеюсь, что это взаимно, как некогда пелось в советской песне на слова К.Я. Ваншенкина, который на этом, единодушно голосовавшем сборище, не присутствовал в отличие от будущего светоча демократии Д.А. Гранина, тоже Героя Социалистического Труда, слова которого о том, что мне в Союзе писателей делать нечего, я с целью литературного самообразоваиия запомнил на всю жизнь. Еще там был какой-то активный Шундик, но это я вообще не знаю, кто такой… И «поганое ведро» – это не моя выдумка, так у нас в Сибири именовали то, что в Европейской России зовется «ведром помойным».

Так что вот, значит, «проснулся я знаменитым» в 1976 году и меня стали наперебой приглашать в журналы, из которых мне раньше годами присылали стандартные, как под копирку, ответы, суть которых с различными вариациями сводилась к тому, чтобы я побольше читал советской литературы, учился у классиков и не концентрировался «на теневых сторонах нашей действительности». А тут я принесу пяток рассказов, и меня даже обнимают. Но когда приду через месяц за ответом, на меня смотрят умоляюще и говорят: «Женя, ты же понимаешь, что напечатать это невозможно. Принеси что-нибудь ПОЛЕГЧЕ». Ну, я и следующую порцию прозы тащу, у меня тогда рассказов штук двести было неопубликованных. И с новыми рассказами та же история, а 200 если разделить на 5, то получается 40, и выходит, что я раз по сорок обегал все эти знаменитые редакции, после чего пришел в натуральное отчаяние и стал всерьез размышлять, как бы мне все-таки изменить жизнь к лучшему.

То есть на Запад я совершенно не стремился. Страна моя здесь, русский язык мой здесь, читатели и читательницы здесь. Зачем мне ехать и куда – ведь оттуда нет возврата, ибо Советский Союз, страна строгая, и проводы новых ОТЪЕЗЖАНТОВ в Шереметьевском аэропорту проходили примерно так же, как нынче проводы в крематории. Створки смыкаются, и больше мы с тобой, дорогой друг, никогда в этой жизни не увидимся. Не то что сейчас, когда у каждого загранпаспорт, а людям все, видите ли, плохо, все свободы им не хватает, кругом, по их мнению, видите ли, тоталитаризм. Тут невольно вспоминаются стихи поэта Николая Олейникова, которого в 1937 году большевики расстреляли ни за хрен собачий, поставив ему фальшивый диагноз «участник контрреволюционной троцкистской организации». Да… Больше делать было нечего Николаю

Макаровичу Олейникову в 1937 году, как вступать в какую-то идиотскую организацию! Тьфу, кретины! Хоть бы что-нибудь более художественное придумали…

Когда ему выдали сахар и мыло,
Он стал домогаться селедок с крупой.
…Типичная пошлость царила
В его голове небольшой.

Вам «сахар и мыло» выдали? Выдали. Не расстреливают, как Олейникова. Не судят за тунеядство, как Бродского. Не высылают в Горький, как Сахарова. Церковь вам восстановили. Разрешили модернизм и «салоны красоты». За книжки больше на Лубянку не тягают, пишете, черт знает что, Путина ругаете, по всему миру вольно шастаете, «от Суоми до Китая», как некогда пел бард и романтик 60-х Владимир Туриянский, которому 21 августа 2015 года исполнилось восемьдесят лет.

Так нет, вам теперь подавай «селедок с крупой», чтобы У НАС было лучше и демократичнее, чем У НИХ. Да не будет такого никогда, молите Господа нашего Иисуса Христа, чтобы последнее, как у кулаков в начале 30-х, не отобрали из тех свобод, что в начале конца «перестройки» свалились ни с того ни с сего на головы обывателей, которые для этого даже пальцем не шевельнули. Разве непонятно образованному человеку, что всегда и везде правили, правят и вечно будут править негодяи, отличающиеся друг от друга лишь процентом свершаемых ими мерзостей, который колеблется от 5 % до 99 %. Ну а какие страны в какой находятся степени маразма, сами решайте, мне лишних неприятностей не нужно, жизнь моя и так сложна, как у Гамлета, который под большевиками и «демократами» не существовал, но тоже, знаете ли, имел проблемы.

То есть меня как не печатали, так и не печатали, и была лишь одна у меня отрада, что теперь я стал «тот самый Попов, у которого два рассказа были в «Новом мире» с предисловием Шукшина».

Нет, и другая у меня была отрада. Я жил тогда в городе Дмитрове Московской области, обменяв трехкомнатную квартиру в центре города К., стоящего на великой сибирской реке Е., впадающей в Ледовитый океан, на четвертушку шлакобетонного барака в рабочем поселке завода фрезерных станков, которому острые на язык аборигены дали название «негритянский поселок». Потому что из всех достижений цивилизации XX века там имелось лишь электричество. Сортир был на три барака один, газа не было даже баллонного, Интернет еще не изобрели. Я там

был очень доволен жизнью, как мещанин, и счастлив. Много читал, писал, ходил по субботам в баню. Необходимые для существования деньги зарабатывал трудом, не имеющим никакого отношения к литературе и словам, ее составляющим.

Ну а альтернативой отъезду за бугор желательно было бы стать СОВЕТСКИМ ПИСАТЕЛЕМ, но не той сукой продажной, что пишет для властей «чего изволите», а таким, как уважаемые мной личности тех времен – Аксенов, Битов, Вознесенский, Евтушенко, Домбровский, Искандер, Шукшин, Ахмадулина, Солженицын. Солженицына, впрочем, ровно в это время из СССР уже выперли. Или если сил и таланту недостанет, чтобы покорить такие заоблачные литературные вершины, то на худой конец просто ПРОГРЕССИВНЫМ писателем, каковых пачками печатал молодежный журнал «Юность». И чьи имена, в отличие от вышеуказанных, боюсь, уж точно ничего сейчас вам не скажут, уважаемые современные читатели и читательницы.

Однако и тут имелся определенный заколдованный круг, из которых в основном и состояла тогда жизнь. **Чтобы вступить в Союз писателей с его, как нынче выражаются, БОНУСАМИ в виде практически бесплатных Домов творчества, престижных поездок, гонораров, выступлений, нужно было быть автором двух полновесных книг, а чтобы напечатать в СССР две полновесные книги, нужно было быть членом Союза писателей**. Вот как хочешь, так этот заколдованный круг и расколдовывай. В партию вступай, иди в стукачи, годами пиши очерки о рабочем классе, который строит на морозе коммунизм. За все надо платить. Глядишь, смилостивится начальство, когда увидит, что ты уже испекся, готов на все, хоть Ленину поклоны у Мавзолея бить, как это сделал один знаменитый литературный «шестидесятник», угодивший за это в дурдом, глядишь тогда тебя и пустят в «их круг».

Вариант, что могут посадить, я всерьез не рассматривал. «Мы против властей не бунтуем», как говорила старушка в «Театральном романе» Булгакова. Патентованным диссидентом я никогда не был, они для меня тоже были персонажами, как коммунисты, Хабаров или нынешние депутаты Государственной думы. В то, что они чего-то могут добиться, я никогда не верил, потому что некоторых из них хорошо знал. Они ничего и не добились. Это диссиденты, что ли, «перестройку» придумали? Вовсе не они, а все те же коммунисты да гэбэшники. У нас власть всегда сверху менялась и меняется, даже в семнадцатом году, начавшемся, как известно, с февральской революции…

Но тут мне вроде бы опять повезло. Вышло какое-то постановление КПСС, что нужно пригреть молодых писателей,

потому что прежние советские писатели уже все стали старые, мышей не ловят, заговариваются, скоро помрут. Мне, как юному таланту, одобренному Шукшиным, позволили подать документы в Союз писателей БЕЗ ДВУХ КНИГ, первая из которых вот-вот да и выйдет же когда-нибудь, товарищи! Так что зачем парня зря мурыжить, парень хороший, простой, из Сибири, пьет, правда, много, так кто в России не пьет? Вот документы-то я и подал, питаясь одною надеждой, что примут в Союз и тогда уж там непременно что-нибудь у меня изменится, в лучшую, разумеется, сторону. Меня и приняли, но тут же исключили.

Дело в том, что меня сильно обозлила история с выходом, вернее НЕВЫХОДОМ моей книги в издательстве, название которого я не собираюсь скрывать: «Советский писатель». Эти совписовские совслужащие во главе с какой-то косой на один глаз бабой, фамилию которой я забыл, ухитрились на основании трех ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ рецензий на книгу составить ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ редакционное заключение, где писали нечто вроде того, что рецензенты, конечно, люди уважаемые, но в данном случае все трое дружно ошибаются. И Георгий Семенов, и Николай Евдокимов, и даже Дмитрий Стариков, имевший репутацию партийного обскуранта в отличие от двух других рецензентов, но тем не менее мои сочинения одобривший. Книга – говно, и печатать ее ни в коем случае не нужно…

Расстроенный, я зашел в прогрессивный журнал тех лет «Сельская молодежь» и рассказал про этот БЕСПРЕДЕЛ сочувствовавшему мне редактору отдела прозы, которого я назову Б.Р., потому что он еще живой. Он ко мне относился очень хорошо, но тоже не печатал, ссылаясь на начальство, которым был не кто иной, как видный ельцинский демократ О.П., в настоящее время тоже еще живой, живее других живых.

– Ты что, Женя, глуп***о***й, что ли, совсем или прикидываешься? Не будет ТАКОЕ печатать никто. Один раз трюк твой удался в «Новом мире», а на большее ты, как в песне, не рассчитывай, – сказал мне Б.Р.

– Но почему? Я же не антисоветчик!

– Был бы ты антисоветчик, сидел бы в Мордовии. Пойми, ты НЕ С НАМИ. А кто не с нами, тот против нас, слышал?

– Так что же мне делать?

– Скажу, если действительно хочешь знать. Стань, как все мы. Для начала поедешь на БАМ, напишешь очерк, ПИСАТЕЛЬСКИЙ ОЧЕРК, получишь триста рублей, свитер себе купишь, а то вон у тебя дырка на рукаве, ботинки хорошие купишь. А кончатся деньги, поедешь в Новый Уренгой писать про молодых нефтяников. Так и войдешь постепенно в наш круг, привыкнут

люди к тебе, глядишь через годик и рассказик какой тиснем, если ты, конечно, над ним КАК СЛЕДУЕТ поработаешь. И Союз от тебя никуда не убежит, и в партию вступишь.

Тут я понял, что круг замкнулся, и даже если меня примут в «их круг», то моя судьба – покорно согнувши выю, безропотно пополнить ряды пишущих «совков», по пьяни рассказывающих собутыльникам в буфете Центрального дома литераторов о своих гениальных замыслах вроде сочинения пьесы о Христе и Иуде. Выхода нет. Нужно самому менять жизнь к лучшему.

И я ее изменил. Ибо «Метро€поль» это и был ТРЕТИЙ ПУТЬ – попытка обретения в тоталитарной стране пусть жалкой, но свободы творческими людьми, не желавшими эмигрировать, садиться в тюрьму или ссучиваться.

«Будьте реалистами, требуйте невозможного» – этот лозунг французских «леваков» 1968 года, как ни странно, пришелся по душе нам, авторам альманаха, к коммунистическим идеям большей частью вовсе не склонным. Поэтому когда Виктор Ерофеев предложил мне, как это водится на Руси, стать ТРЕТЬИМ в раскупоривании громокипящей бутылки под названием «Метро €поль», я в ответ его поцеловал, хотя и сообщаю интересующимся, что надеюсь до конца сохранить свою гетеросексуальную ориентацию. Заодно сообщу, что дороги наши с милым другом Виктором разошлись, у каждого из нас своя жизнь, свои дела, свои друзья, свои враги, свои мнения, но я всегда буду помнить, что когда-то мы стояли, согласно Джеку Лондону, «спина к спине у мачты против тысячи вдвоем». Василия Аксенова я тогда еще не знал, когда решил сам изменить жизнь к лучшему, это уже потом он стал моим старшим другом, товарищем и братом. И я, клянусь вам, все-таки изменил жизнь к лучшему, несмотря ни на что. Здесь, впрочем, требуется справка.

Из Википедии:

Альманах «Метро́поль» – сборник неподцензурных текстов известных советских поэтов и писателей, а также авторов «андеграунда».

Составители: В. Аксенов, А. Битов, Вик. Ерофеев, Ф. Искандер, Евг. Попов.

Авторы:

Аксёнов, Василий Павлович

Алешковский, Юз

Апдайк, Джон Хойер

Арканов, Аркадий Михайлович

Ахмадулина, Белла Ахатовна

Баткин, Леонид Михайлович
Битов, Андрей Георгиевич
Вахтин, Борис Борисович
Вознесенский, Андрей Андреевич
Высоцкий, Владимир Семенович
Горенштейн, Фридрих Наумович
Ерофеев, Виктор Владимирович
Искандер, Фазиль Абдулович
Карабчиевский, Юрий Аркадьевич
Кожевников, Петр Валерьевич
Кублановский, Юрий Михайлович
Липкин, Семен Израилевич
Лиснянская, Инна Львовна
Попов, Евгений Анатольевич
Ракитин, Василий Иванович
Рейн, Евгений Борисович
Розовский, Марк Григорьевич
Сапгир, Генрих Вениаминович
Тростников, Виктор Николаевич

Оформление альманаха – Давид Боровский, Борис Мессерер, Анатолий Брусиловский.

Издан тиражом 12 экземпляров в Москве в 1979 году самиздатским способом.

Целиком переведен на английский и французский языки, частично – на немецкий.

Один из экземпляров альманаха был нелегально вывезен в США и опубликован издательством «Ардис» сначала репринтным способом, а впоследствии в новом наборе. Другой – во Францию (Изд-во «Галлимар»).

«МетрОполь» был резко раскритикован Союзом писателей СССР, что предопределило его невыход из печати. Составители и авторы альманаха подверглись репрессиям: Вик. Ерофеев и Евг. Попов были исключены из Союза писателей.

В связи с этим в знак протеста из СП вышли Василий Аксенов, Семен Липкин, Инна Лиснянская. Другие авторы подверглись разного формата гонениям в СССР.

Благодаря этому многие ранее неизвестные писатели обрели популярность и ныне считаются классиками современной русской литературы второй половины XX века.

История с «Метро€полем» имела большой резонанс, обострив проблемы цензуры, против которой и был, собственно, направлен альманах, а не против существующего советского строя.

В 1988-м в «эпоху гласности» альманах был переиздан в СССР.

Беллетризированная история альманаха «МетрОполь» содержится в романе Василия Аксенова «Скажи изюм», романах Евгения Попова: «Прекрасность жизни» и «Подлинная история «зеленых музыкантов».

Да, да, еще раз подчеркиваю, что, казалось бы, логически неправильное мое решение принять участие в «сомнительном» альманахе непосредственно в процессе приема в Союз писателей, о котором мечтали десятки, если не сотни литераторов, в конечном итоге изменило мою и не только мою жизнь к лучшему. Ибо такая реклама, которую нам сделали коммунистические дураки, в Америке, говорят, миллион долларов стоит. Для меня это покруче даже оказалось, чем публикация в «Новом мире» с предисловием Шукшина. А сколько я людей хороших благодаря «МетрОполю» повстречал, скольких добрых друзей и знакомых обрел! Не печатали столько лет, в КГБ таскали, ну и что? Может, оно и хорошо, что из Союза советских писателей выгнали, где мы с Виктором Ерофеевым пробыли рекордно короткий срок, достойный Книги Гиннесса – 7 мес. 13 дней. По крайней мере, я теперь хоть не несу ответственности за всю ту подлость и свинство, что творились в этом стане «помощников партии» до самого-то до рассвета «перестройки», который этим брейгелевским слепцам, видите ли, открыл глаза, и они, с разрешения начальства, подались кто в «демократы», кто в «патриоты». Вот читайте полный список тех, кого приняли в Союз писателей вместе с нами:

В приемной комиссии

В 1978 году в Союз писателей СССР были приняты следующие прозаики и поэты: Амитов Э.О., Бауло А.А., Бердников Г.П., Буркова И.С., Гайдар Т.А., Гангнус А.А., Генатулин А.Ю., Гуляковский Е.Я., Елин Н.Л., Еременко В.Н., ЕРОФЕЕВ В.В., Есин С.Н., Зеленев А.Д., Золотарев Б.Ю., Иванов В.В., Карельский А.В., Карякин Ю.Ф., Кашаев (Пруцков) В.Г., Коробов В.И., Краснобрыжий И.Т., Кривцов В.А., Кумон Я.Н., Лисичкин Г.С., Лохматов Н.П., Млечина И.В., Некрасов Н.К., Ортенберг Д.И., Панков А.В., Пациенко Г.Б., Пистунова А.М., Подзорова Н.А., ПОПОВ Е.А., Путко А.Б., Пухов Ю.С., Рубинов А.З., Русов (Чучин) А.Е., Сахаров В.И., Семар Г.М., Сивоконь С.И., Соколова М.Н., Студеникин Н.М., Томашевский Ю.Б., Тюрин Ю.П., Умеров Э.О., Федотов В.И., Черноуцан И.С., Шарипов А.А., Шевченко А.Д., Шерлаимова С.А., Щеглов (Варшавер) Ю.М., Эпштейн М.Н., Яковлев Е.В.

Ладно. Дело теперь уже тоже прошлое, теперь уже новое поколение пластического литературного жулья выросло, хотя, надо честно сказать, не занимаясь старческим брюзжанием, хорошие ребята среди нынешней литературной молодежи тоже попадаются. Я знаю, о чем говорю, потому что хоть и не веду семинары в Литинституте, куда меня не приняли два раза, но стараюсь постоянно опекать молодежь, в память о том, как меня в свое время опекали мои мэтры.

Изменил жизнь к лучшему. Первую книгу прозы под названием «Веселие Руси» издал в 1981 году в упомянутой Америке, и мне за это, представьте себе, НИЧЕГО НЕ БЫЛО. Ну, поворчал известный гэбэшник, который потом тоже стал «прорабом перестройки» и по этому случаю частенько выступал по телевизору, но уже под другой фамилией, чем тогда, когда тягал меня на Лубянку «промывать мозги» и объяснять, что я «качусь по наклонной плоскости, намазанной мылом». Однако, когда я его прямо спросил, есть ли в моей «американской» книге что-либо по его специальности, например, «клевета на советский общественный строй», вынужден был ответить, что подсудной клеветы нет, но наличествует «сгущенное изображение отдельных теневых сторон нашей действительности». Отчего если у меня эта книга имеется, то мне следует ее держать под матрасом и никому не показывать.

– У вас книга-то ваша есть? – поинтересовался он.

– Ну, вы же умный человек, Георгий Иванович, зачем же вы меня эдакое-такое спрашиваете? – залепетал я, как московская купчиха. – Разумеется, нет. Мы ж не в Америке с вами живем. Посудите сами, где Америка, а где мы с вами. Откуда ж у меня такой книге взяться?

Посмеялись. А сейчас я думаю, что вспоминать-то всегда легко, а когда с тобой такие серьезные мужики беседуют, то твоему организму вовсе не до смеха. Очень такие веселые беседы выматывают, после них очень выпить хочется. Благо что всегда найдется добрый человек, который тебе этот стакан непременно нальет, хотя бы из любопытства, чтобы хоть немного обогатить себя знаниями о лубянских бесах. Про Лубянку ведь всем всегда интересно, вдруг завтра и тебя туда потянут.

Вторую книгу я тем не менее в Америке издавать не стал, чтобы не определили в рецидивисты «тамиздата» со всеми вытекающими из этого последствиями. Ни на Запад, ни на Восток мне не хотелось, дождался «перестройки», мне и в Москве было хорошо, как хорошо и сейчас, когда на нашей родине опять творится обычное непонятное. А печататься писателю, скажу я

вам, хоть и в минимальных количествах, но необходимо еще по одной простой причине – чтобы не сойти с ума. А то ведь это чистая паранойя, граждане, брать слева чистые листы бумаги, исписывать их и складировать справа безо всякого, извините за выражение, КАТАРСИСА.

Обычное – непонятное. Меня и Ерофеева много раз вызывал тогда к себе еще один из самых главных писательских начальников, известнейшая персона в мире канувшей советской литературы Юрий Николаевич Верченко, по неподтвержденным слухам генерал ГБ. Он мечтал, чтобы мы написали «покаянку» о своем зверском поступке по созданию альманаха «МетрОполь», а мы – чтобы он от нас отвязался и нас бы восстановили в Союзе ПРОСТО ТАК. После длительных переговоров разошлись ни с чем, но и это стало предметом писательской зависти.

– Да… Вы теперь с самим Верченко на короткой ноге, и если вас вдруг сдуру восстановят, то вы же запросто сможете к нему ходить и просить все, что нужно – дачу, квартиру машину, – сказал мне как-то – ну вот, хотите верьте, хотите нет! – еще один будущий «прораб перестройки», торжественно и публично уничтоживший свой партийный билет члена КПСС, смело выступающий и сейчас против нового застоя и глупостей начальства, тем более что сейчас за это ПОКА не сажают.

А редактор отдела прозы, которого я назвал Б.Р., встретил меня тогда на улице и, оглядевшись по сторонам, попрекнул:

– Ну что, Женя, терпения не хватило? Быстрой славы захотелось?

Сам погорел и тех, кто тебя печатал, подводишь.

– Ты меня разве печатал? – удивился я.

Он покачал головой, и я вспомнил еще одного своего сверстника, литературного прилипалу, который был в полном отчаянии после моего первого успеха в «Новом мире».

– Везет же вам, дуракам, – приговаривал он. – И вот ведь это же совершенно бесполезно, что тебя напечатали с предисловием Шукшина. Ведь ты из этого ничего сделать не сумеешь.

– А что из этого можно сделать?

– Да что угодно. Если бы мне такой фарт, если бы я эти рассказы написал, то я… я бы не то что в Союз, я бы секретарем Союза писателей стал или, на худой конец, каким-нибудь главным редактором…

– Бодливой корове Бог рог не дает, – пробормотал я, опираясь на народную мудрость.

«Перестройка», да. На нашу тихую землю пришла «перестройка», глядишь, и еще когда-нибудь придет.

Последние станут первыми. А ставши первыми, скорей всего снова станут последними. Круговорот людей в природе незыблем, учите историю – источник знаний.

ВЫВОД: Кто не хочет жизнь менять к лучшему, пусть пропадает в своих осознанных нетях. Меня зовут Евгений Попов. Меня смыло бы вместе со всей советской литературой, а так я худо-бедно, но выжил. Из советских и антисоветских писателей вообще выжили только писатели НЕСОВЕТСКИЕ. От Катаева до Крупина, от Астафьева до Аксенова. Так что пусть все случившееся со мной и со страной послужит для вас, дорогие читатели и читательницы, хорошим жизненным уроком. Впрочем, стоп! Я вам самую важную вещь забыл сказать…

Увы, но я не успел сказать эту важную вещь и окончательно закончить свое погружение в прошлое, доведя до катарсиса историю о том, как я сам изменил жизнь к лучшему, а также преподать читателям еще какую-нибудь мораль. Раздался грохот, возник шум и в помещение водолечебницы ворвались два юных накачанных мужика, сопровождаемые бледным Хабаровым.

– Так, а это еще кто такой? – обратились они к моему другу, указывая на меня..

Я все мгновенно понял.

– Пожалуйста, предъявите удостоверения и представьтесь, я не одет, вы тем самым наносите мне, больному *наскрозь* инвалиду третьей группы, моральный ущерб, – вежливо сказал я из ванной, закрывая руками причинное место, что потом и послужило основой моей жалобы, спасшей нас с Хабаровым от обвинений по статье 171 УК РФ о незаконном предпринимательстве в сочетании со статьей 232 «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Поэтому я прошу у читателей снисхождения и только лишь об одном умоляю – не считать это «художественное произведение» скрытой рекламой водолечебницы «Счастье» и пропагандой наркотиков. В Первом Колобовском переулке водолечебницы «Счастье» уже год как нет, а наркотики или психотропные вещества я никогда в жизни не употреблял и вам не советую.

Помогите вырасти
Диана Машкова, кандидат филологических наук, прозаик, журналист

Писать начала еще в детстве, но на пути к призванию сменила немало профессий: университетского преподавателя, переводчика, топ-менеджера, главного редактора журнала. Счастье, полагает Диана, в творчестве и семье. Вместе с мужем (в браке 20 лет) воспитывает трех дочерей, две из которых приемные. Возглавляет созданный ею Клуб «Азбука приемной семьи», пишет книги и работает литературным обозревателем на радио КоммерсантЪ FM.

* * *

Стояла весна, необычайно жаркая, изнуряющая.

Под колесами автомобиля плавился асфальт, его пары мешались с запахом жженой резины. Кондиционер не спасал: солнце яростно било в стекла и нагревало корпус машины так, что пассажирам становилось плохо. После бесконечной рабочей недели состояние у людей и без того было неважным: клонило в сон, гудела голова и казалось – невесомые двадцать семь превратились в тяжеловесные семьдесят.

Меня давно уже не оставляли мысли о том, что на износ работать больше нельзя, что угробить жизнь и здоровье ради материального благополучия – скверный сценарий. Но не так-то просто уйти с высокой должности и отказаться от хорошей зарплаты, пока еще не слишком твердо стоишь на ногах. Кредит на квартиру, на машину, зарплата няни – каждый месяц круглая сумма, которая хоть как-то оправдывает ненавистную офисную жизнь.

– Далеко еще? – я всматривалась в череду домов по правую руку, пытаясь угадать пункт нашего назначения.

– Близко. Уже приехали.

Муж остановил машину напротив утопающего в зелени здания, похожего на элитный детский сад.

Никогда бы не подумала, что так выглядит учреждение для детей-сирот – воображение рисовало совсем другие картины. Не

ухоженные клумбы и разноцветные качели-карусели, а заросший бурьяном двор; не красивое яркое здание с бравым охранником на входе, а растрескавшаяся, давно не крашенная хибара…

Оказалось, все не так.

Модная игровая площадка, оставленные на ней игрушки, велосипеды, самокаты – у нашей единственной дочки, к слову, не было такого разнообразия транспортных средств.

Стало неловко. Зачем мы пришли?

Государство, похоже, неплохо финансирует сирот, а многочисленные спонсоры добавляют материальных благ. Каким же наивным выглядело на этом фоне наше с мужем желание чем-то помочь…

К кабинету заведующей дошкольным отделением мы пробирались сквозь плотный дух разваренных щей – пахнуло самыми неприятными воспоминаниями из детства.

Передать не могу, как я ненавидела детский сад, в котором никто не умел относиться к ребенку, как к человеку: дети не имели права на собственные мнения и желания. Они должны были подчиняться.

Нас заставляли есть месиво из супа и второго в одной тарелке, нарекали идиотами и дебилами, ставили в одних трусиках на позорный стул, а особо резвых и шумных с удовольствием шлепали тапками.

Интересно, что происходит в детских домах, где сотрудникам уж точно не приходится опасаться того, что ребенок может кому-то пожаловаться?..

– Здравствуйте, Марию Семеновну можно увидеть? Мы договаривались, – пока я блуждала по лабиринтам прошлого, муж отыскал начальственный кабинет.

– Спонсоры? Да-да, проходите!

Через пару минут мы уже сидели за столиком в комнате отдыха и ждали начальницу. Странно, что заведующая решила принять нас здесь, а не в своем кабинете.

Пока секретарша заваривала чай, я рассматривала новый холодильник, микроволновку, кофеварку – все здесь было оборудовано по последнему слову техники.

– У нас же сутками люди работают, – Катерина заметила мой взгляд, – это второй дом.

– А что же столовая?

– Ой, – секретарша отмахнулась и поморщилась, – там диетическое. Приедается.

Честно говоря, ее можно было понять, если вспомнить о запахе, который витал в коридоре. Однако детям приходилось есть именно эту дурно пахнущую стряпню, причем изо дня в день.

Как только чай был приготовлен и подан, в комнату, широко улыбаясь, вплыла заведующая. На круглом лице пожилой женщины сияли крошечные глазки, цвета которых нельзя было рассмотреть в узком восточном разрезе. Она была одета в свободный балахон, на складчатой шее красовалось затейливое колье. Видимо, после работы ее ждал ресторан или театр в кругу семьи.

– Здра-аавствуйте, – Мария Семеновна обрадовалась нам, как родным, – рада, что нашли время заехать!

– Здравствуйте, – муж инстинктивно отодвинул стул чуть дальше от кресла, в которое грузно опустилась начальница, – это вам спасибо, что согласились принять!

– Мы хотели узнать, – я решила перейти сразу к делу, – чем можно помочь детям-сиротам.

– У наших детей все есть, – заведующая вальяжно откинулась на спинку кресла.

– Может, вещи нужны?

– Я вас умоляю! Мешками везут.

– Игрушки?

– Катерина, – она обернулась к секретарше, – покажи потом наши кладовые с игрушками и одеждой.

– Может, занятия развивающие нужны? – не сдавалась я. – Могу вести, я по образованию педагог.

– Не беспокойтесь, у нас отличные специалисты: дефектологи, логопеды. Даже комната Монтессори есть.

Мария Семеновна замолчала, но продолжала смотреть на нас изучающе. Прищуренный взгляд и без того узких глаз красноречиво говорил о том, что она ждет от нас с мужем новых, более конструктивных предложений.

– Простите, мы в первый раз… Не очень понимаем, чем можно помочь. И как все устроено.

– Да вы не смущайтесь! – Заведующая улыбнулась. – Я тоже тридцать лет назад мало что знала. Даже не понимала, почему дети при живых родителях растут в детских домах. Но потом жизнь открыла глаза.

– При живых?! – меня словно ледяной водой окатили.

– Ну, да, – начальница пожала плечами, – у меня здесь около ста детей, из них только трое без родни. А у остальных есть и мамы, и папы, и тети, и дяди. Полный набор!

То, что мы слышали, казалось немыслимым.

– Почему же их не забирают домой?

– А зачем?! – Мария Семеновна искренне удивилась. – Здесь специалисты, государство оплачивает, содержит. Еще и квартиры потом сиротам дадут. А дома? Пьянь. Нищета. Даже если никаких

вредных привычек нет, в родительских правах восстановиться непросто – работа денежная нужна, чтобы детей-то кормить. А их, к примеру, семь-восемь. Отец бросил, одна мать осталась. И что?

– Но ведь если финансово семье такой тяжело, нужно помогать! Платить пособие на каждого ребенка.

– Кому это надо?

– Государству…

– Государство и занимается детьми! Они живут здесь на полном обеспечении. А матери денег дашь – еще неизвестно, куда она их употребит.

– Сто детей, – я не могла поверить в эту цифру, – но как же усыновители? Ведь так много пар, у которых не может быть детей…

– Эти дети – не для семьи! – Видно было, что заведующую начинает раздражать моя непонятливость. – Они другие, в развитии отстают. У многих болезни. Им нужен профессиональный уход. Для этого и существуют детские дома.

Супруг, увидев выражение моего лица, решил, что пора вмешаться:

– Так чем все-таки мы можем помочь?

– У наших детей все есть, спасибо, – отрезала заведующая.

– Ну, может, нужно что-то для детского дома?

– Ой, – заведующая наконец снова заулыбалась, – совсем забыла! Нам нужен автобус. Детей вывозить.

Муж поперхнулся остывшим чаем.

К такому повороту событий мы не были готовы – думали, что сможем быть полезны тем, что нам по силам.

– А еще фотоаппарат, – Мария Семеновна окончательно повеселела, – скоро праздник, начальство городское приедет, хотелось бы фотографии сделать деткам на память! Пусть потом вспоминают, как им у нас тут было хорошо.

– Ладно, – муж поднялся, я встала следом за ним, – фотоаппарат мы купим и привезем. С автобусом, честно говоря, нужно подумать.

– Отлично, тогда до скорой встречи! Катенька, – Мария Семеновна обратилась к секретарше, которая все это время возилась с посудой, – проводи гостей! Покажи, как дети у нас живут.

– В группу зайдете? – поинтересовалась секретарша, как только заведующая ушла. – Спонсоры обычно хотят посмотреть. Всем любопытно.

– Нет, спасибо, – я живо представила себе, как между кроваток детей водят экскурсии взрослых дядь и теть, которые вслух обсуждают увиденное, – не стоит беспокоить ребят.

– Тоже мне беспокойство, – она отмахнулась, словно речь шла о неживых предметах, – ну, как хотите. Тогда пойдемте на склад.

Кладовые и правда были забиты до потолка.

На стеллажах лежали упакованные игрушки, техника в коробках, одежда в мешках, стояли новые велосипеды. Вряд ли каким-то родителям в здравом уме пришло бы в голову покупать своим детям сразу столько вещей. А здесь всего было в изобилии, с избытком. Словно люди пытались изо всех сил материальными средствами компенсировать отсутствие внимания и любви к этим детям, а потому несли, несли и несли.

Вот и мы туда же. Как стыдно!

Дверь кладовой за нами закрылась, и мы снова оказались в коридоре, пропахшем казенной едой. Светлые стены, яркие картинки, комнатные растения на каждом шагу…

Вдруг послышались приглушенные легкие шаги, я повернула голову на звук. В дальнем конце коридора появились дети – человек двадцать пятилетних малышей. Они шли парами, молча, удивительно точно попадая шажками в такт. Воспитательница, даже не оборачиваясь на ребят, гордо шествовала во главе своего отряда: никто в стройной колонне даже звука не издавал.

Как такое возможно?!

Я часто приводила дочку в детский сад и слышала, как звенела голосами, заливалась смехом, хныкала любая группа детей – у каждого в ней было свое настроение, желания, голос.

А здесь – тишина.

Отряд маленьких живых мертвецов беззвучно прошагал мимо.

У меня все внутри похолодело от страха. Пустые взгляды на мгновение коснулись наших лиц: ни любопытства, ни интереса.

Так вот о чем говорила заведующая…

Фотоаппарат мы купили и привезли в следующие же выходные. А вот история с автобусом для детского дома оказалась не такой простой и порядком меня измучила. Муж сразу сказал, что не станет участвовать в этой авантюре, и оказался прав. Я же втайне от него попыталась наскрести денег на покупку машины, хотя бы подержанной, но это, конечно, не удалось. В итоге я перечислила на счет, который заведующая продиктовала по телефону, двести тысяч рублей, не без труда вырвав их из семейного бюджета.

Деньги пропали без следа.

По словам Марии Семеновны, они не пришли на счет ни через неделю, ни через месяц.

«Вы, наверное, перепутали цифры в номере счета», –

убеждала она меня по телефону, хотя я перепроверила все тысячу раз и уже сходила в банк, где меня заверили, что деньги ушли…

С тех пор, вот уже десять лет, я обхожу стороной прозрачные стеклянные ящики с надписью «помощь детям-сиротам» в офисах компаний, у банкоматов и в супермаркетах. А когда-то мне было стыдно пройти мимо них, не втиснув банкноту в щель. Я больше не привожу в детские дома подарки и игрушки, хотя постоянно бываю там. Если могу помочь материально, то делаю это в адрес семей – многодетных кровных или приемных. Вот там и одежда, и подарки к праздникам действительно нужны!

Прочитав немало книг по детской психологии, я узнала, откуда у маленького ребенка в детском доме возникает безразличие к жизни и, как следствие, целый букет болезней.

Всему виной одиночество и ненужность.

Большинство младенцев, брошенных матерями, не доживают до полугодовалого возраста. Ребенок делает выбор, заложенный в нем природой: если не можешь добиться внимания взрослого, который поможет вырасти, – откажись от жизни, умри.

Чтобы выжить, малышу нужен родной человек.

Без близкого взрослого, без чувства защищенности, которое возможно только с родными людьми, ребенок отстает в развитии и поддается болезням. Это естественное последствие депривации – психологического состояния, которое возникает в детском доме у каждого малыша.

Не дети в учреждениях другие, как пыталась объяснить мне непрофессиональная заведующая, а жизненный путь у них другой.

Возьмите любого, самого здорового и веселого малыша, оторвите от семьи, бросьте, как в тюрьму, в казенное учреждение, где он никому не нужен, – и этот ребенок тоже очень быстро станет другим!

Безвольным, слабым, больным…

Только возвращение в семью сможет его спасти.

Заведующая была неправа в главном – дети не подходят для системы, а не для семьи!

Природа распорядилась так, чтобы младенец появлялся и рос рядом с родителями, а любые другие сценарии – это болезни общества. Пока у нас есть детские дома, ни о каком здоровье нации, ни о какой цивилизации в принципе не может идти речь.

Казарменная система лишает ребенка личности и ломает физически. Множество сотрудников детских учреждений искренне не понимают, почему детям в этих заведениях должно быть плохо – о них заботятся, их учат, развлекают, им дарят

подарки. Но все это нужно не детям, а взрослым, чтобы совершить «доброе дело» под бурные аплодисменты. А сами дети прекрасно понимают, что взрослые от них откупаются – не могут защитить, не умеют стать опорой, вот и заваливают подарками. Совершенно не заботясь о том, что выращивают потребителей, которые в подростковом возрасте начнут цинично «раскручивать» всех и каждого, ибо все им теперь должны за загубленное детство.

Каков результат?

Девяносто процентов выпускников детских домов не доживает до тридцатилетнего возраста – они не подготовлены к жизни. Они привыкли, что все блага падают с неба, не хотят прилагать усилия, не умеют доверять людям и мстят окружающим за свое сиротство. Итогом становятся самоубийства, тюрьмы, алкоголизм и наркомания.

Мы с мужем долго, целых семь лет, искали ответ на наивный вопрос: «Чем можно помочь?» – и нашли.

Два года назад в нашей семье появилась младшая Даша, удочеренная – суд состоялся 17 сентября 2013 года. А 28 марта 2015 года в нашу семью пришла еще одна Даша, средняя. Сейчас у нас три дочки – старшей шестнадцать, средней тринадцать, а младшей скоро исполнится два годика.

Почему обеих приемных дочек зовут Дашами, объяснить невозможно – ирония судьбы. Есть у них и другие сходства: у обеих живы-здоровы биологические родители, имеется куча родственников. Собственно, как и у всех социальных сирот в нашей стране. Но если дети, несмотря на обилие родственников, так и останутся в учреждениях, ни о каком счастливом будущем для них не может идти речь.

Пока мы готовились к усыновлению, разрешали многочисленные сомнения и избавлялись от страхов, я писала книгу – шаг за шагом раскрывала опыт нашей семьи; рассказывала о том, чего человек непосвященный попросту не может знать.

Сегодня роман «Если б не было тебя» дарят будущим усыновителям в школах приемных родителей, и книга действительно помогает новичкам избавиться от заблуждений и страхов. Полгода назад, на презентации книги в Доме журналистов был создан Клуб «Азбука приемной семьи» благотворительного фонда «Арифметика добра».

Когда я увидела, сколько у людей возникает вопросов, как долго не отпускают они со сцены опытных усыновителей – Михаила Барщевского, известного адвоката и отца двух приемных детей, Романа Авдеева, учредителя фонда «Арифметика добра» и отца 19 приемных детей – стало очевидно, что пора объединяться.

Одна семья – это капля в море, она не в состоянии дать защиту всем детям, которые нуждаются в ней. Но ведь можно найти сотни тысяч семей, которые еще только задумываются о том, чтобы принять ребенка и помочь им пройти весь путь.

Клуб, которым я сегодня руковожу, организует лекции об усыновлении в библиотеках Москвы, проводит мероприятия для состоявшихся и потенциальных приемных семей, а еще – неформальные встречи с детьми из детских домов.

И какое же это счастье – видеть, как ребенок находит семью!

А твои идеи и усилия имеют к этому отношение…

Нужно ли говорить о том, что неинтересная работа ради материального благополучия осталась для меня далеко в прошлом?

Жизнь наполнилась новым смыслом.

Огромное счастье наблюдать, как дети развиваются и растут, как жадно впитывают каждое новое впечатление, как весело устремляются навстречу новым событиям. Они знают, что родители позаботятся и защитят, это обязательное условие для того, чтобы не бояться расти, чтобы верить в будущее.

Удивительно, но простой и даже нелепый вопрос: «Чем мы можем помочь?» – стал началом новой жизни.

Не могу вспомнить, в какой именно момент убеждение «если сумел справиться с собственной жизнью, начни помогать другим» стало для меня главным. Но начало положено, и сегодня в каждом здравомыслящем взрослом я вижу потенциального родителя для ребенка, оставленного в беде.

Помочь ребенку вырасти – это не подвиг, не благородный поступок, а осознанная необходимость, которая, несмотря на все трудности, становится в итоге счастьем и радостью бытия.

Плыть
Елена Крюкова, музыкант, поэт, прозаик, искусствовед, член Союза писателей России

Сначала музыкант (Московская консерватория, фортепиано и орган), потом поэт – собственная тайная музыка; потом прозаик – роман как любимая крупная форма, рядом с симфонией и фреской. Пространство-время, огромность и трагедийность мира оправданы и освящены любовью – и это лейтмотив всех книг Елены. «Быть художником – большое счастье», – говорит Елена и всей своей жизнью доказывает это.

* * *

«Вода, вода, кругом вода,
Ни капли для питья…»

Сэмюэль Тейлор Кольридж

Я не жила.

Я уже умирала.

Как оказалось, смерть очень близко. Так близко, что между мной и ею уже не оставалось зазора.

Обычным для мужа стал вызов мне «Скорой помощи». Я задыхалась, ловила ртом воздух. Сердце бешено колотилось; вместо сердца под ребрами полыхал язык пламени, и было непонятно, то ли оно бессильно погаснет, то ли разгорится еще ярче и сожжет меня. С потрохами.

Муж сидел в изголовье, держал меня за руку, щупал пульс, чуть не плакал и шепотом, отчаянно, матерился.

Я шептала: «Побойся Бога, Володя, не надо, зачем ты так».

Приезжала «Скорая», иногда совсем и не скорая: через час, через полтора. Можно было умереть свободно и легко, и даже много раз.

Со стен на меня глядели полевым разнотравьем и ушедшей жизнью картины отца.

Бригада медиков склонялась надо мной. Врач командовала

медсестре:

– Новокаинамид! Нет, лучше давай кордарон!

– Кордарон, ведь это в клинике… ведь это капельно… – лепетала младшая по званию.

– Без тебя знаю, – гневно сверкала глазами врачица, – я осторожно! Десять минут вводить буду. Уйди!

И отжимала медсестру плечом от дивана, где лежала я.

А я тупо, сквозь слезы бессилия и испуга – а вдруг умру под иглой? – смотрела на внимательные, как у змеи перед броском, глаза врача и белую марлевую маску, прилипавшую к губам при вдохе.

Мой ужас звался ужас как красиво: мерцательная аритмия, пароксизмальная форма.

Иногда врачи произносили еще два красивых витиеватых слова: «трепетание предсердий». При этом крутили головами и добавляли еще и еще красоты: «Как бы не перешло на желудочки», «блокада ножки пучка Гиса» и «дефибриллятора тут у нас нет».

Дефибриллятора и правда у бригады не было, и слава богу, думала я, током долбанут – и дух вон, а перед глазами все туманилось от лекарства, которое медленно и верно втекало из шприца в вену, и сквозь серую тошнотную пелену я слышала:

– Эй! Очнитесь! Очнитесь! Очни…

А потом – резко голову дернуть вбок: нашатырь.

Это у меня началось в дни, когда в больнице умирала мама. Стояло диковинно жаркое лето. Мама собралась посмотреть «Евровидение», вошла в нашу с мужем спальню, включила телевизор, положила на диван подушечку, села на нее, плотнее завязала узел платка на затылке – и внезапно покатилась, упала на бок, и ее вырвало зеленой желчью. Я подскочила, подняла ее, уложила как следует. Я даже не спрашивала, что с ней: дочь врача, я обо всем догадалась сразу. Дикая жарища, на улице плюс сорок и выше, восемьдесят четыре года, слабые сосуды.

Инсульт.

– Мама, ты так лежи, – сказала я бодро, успокаивающе и лживо, – ты чем-то отравилась. Что мы с тобой ели вчера?

И я вспоминала вслух, что же мы ели вчера, а она слушала и, я понимала это, мне не верила.

И я поняла: она сама обо всем догадалась.

Но мы обе не хотели расстраивать друг друга: она – меня, я – ее.

А по телевизору пели и пели, заливаясь соловьями, иноземные певцы, а мама так хотела это чертово «Евровидение» и

поглядеть, и послушать.

Иная – красивая, блестящая, певучая жизнь.

До вечера мама пролежала в нашей спаленке.

Вечером, с моей помощью, добралась до своей комнаты. Я тепло укрыла ее и тем же бодрящим голосочком проверещала:

– Все будет хорошо, хорошо-хорошо! Вот увидишь!

Утром я подошла к ней.

Мама скосила на меня глаза, и я вспомнила косой плывущий взгляд старика на картине Рембрандта «Возвращение блудного сына».

– Доченька, все же надо в больницу. Я только в свою поеду. В тридцать восьмую. Ты позвони в приемный покой, ладно?

Я позвонила.

Мне ответили: да не вопрос, это же наш врач, приезжайте, конечно, вызовите «Скорую».

«Скорая» воскресным утром прибыла в таком составе: шофер, он остался сидеть в машине, и медбрат лет восемнадцати, с кожаными носилками под мышкой. Он вертел головой, разглядывая папины полотна и этюды.

– Ой-ей-ей! Как у вас тут классно! Как в Третьяковской галерее! Вы сами рисуете?

– Нет. Не сама.

– Значит, – вздохнул, – покупаете. Богатые. Где больная? – кивнул на лежащую бессловесную маму. – Вот?

Растерянно развел руками. Оглядел меня с ног до головы. Оценил ситуацию.

– Не донесем!

Я присела на корточки перед мамой. У нее дрожали губы.

Я услышала тихое, нежное:

– Доченька… Давай будем… прощаться…

Видно было, как ей тяжело произвести эти слова. Но она их все-таки сказала.

И я их – услышала!

И что бы мне тогда ответить: «Мамочка, ты уходишь, ты уходишь насовсем, навсегда, да, давай прощаться и говорить о самом главном, о том, чего мы не сказали в жизни друг другу, давай хоть сейчас это скажем, давай напоследок по-иному, чище, сильнее и крепче, совсем крепко и безусловно полюбим друг друга, полюбим – и поймем, и простим», – а вместо этого лживый язык, заплетаясь, выделывал воровские кренделя:

– Что ты! Мама! Ты поправишься! Ты выздоровеешь! Мы тебя вылечим! Поднимем! Все будет просто замечательно!

Я позвонила мужу.

Он бросил занятия в студии и примчался домой. Вдвоем, муж и юный медбрат подняли маму и положили ее на кожаные носилки, пристегнули ремнями, как в самолете, с трудом подняли и понесли в машину.

Я бежала следом.

Солнце сильно пекло голову. «Скорая» тряслась на ухабах, и это было не сегодня, это громыхала подо мной булыжная мостовая моего детства.

Все было – было и прошло.

А что осталось? И что остается?

В больнице, в залитой до краев солнцем душной и жаркой палате – окна настежь, а нечем дышать, – маму уложили на жесткую койку, укрыли чистой простыней с черным пауком казенной печати около шва, принесли ей обед. Я кормила ее с ложечки последним обедом в ее жизни: суп-лапша с курицей, макароны с сыром.

Мама покорно глотала. Руки у нее уже не двигались.

Я поставила тарелку с супом на тумбочку и стала сгибать и разгибать ее правую руку. Паралич, надо разрабатывать, глупо ловила я остатки мыслей.

В открытое окно врывался ветер и обдавал нас печным жаром.

«Памперсы, обязательно купите памперсы», – советовал жалостливый голос рядом.

Я аккуратно положила мамину недвижную руку на простыню. У мамы странно увеличились глаза, стали большие, черные, бархатные – как в молодости. И как у молодой разгладилось лицо; она странно и прекрасно улыбнулась и, пристально глядя на меня, сложила губы трубочкой, будто выдыхала букву «у».

Что она хотела мне сказать?

Устала? Утомилась? Умру? Люблю?

Я сидела у маминой койки до вечера.

Вечером пришел муж и увел меня домой.

А на следующее утро начался мой ужас.

Слишком рано. Рассвет. Поют птицы.

Я проснулась оттого, что сердце внутри меня превратилось в огромную пуховую подушку, ее разрывают чьи-то руки, лапы, когти, и пух летит во все стороны и забивает мне рот, ноздри. Я сама, как зверь, царапнула простынку, перекатилась со спины на бок, попыталась встать. Получилось. Держась за дверную притолоку, я прохрипела:

– Володя, вставай… Мне плохо!

Муж вскочил, как и не спал. Он мгновенно понял: дело и

правда плохо. Нажимал на сотовом кнопки: ноль три, ноль три – пока я не выдавила сквозь зубы:

– Сто двенадцать…

В больницу меня везли на нашатыре. Привезли.

Сгрузили дровами в приемном покое. Бросили. Ушли.

Я не понимала ничего, кроме одного: я умираю, и без помощи – умру.

Подумалось о маме: мама, я с тобой не попрощалась, а ты ведь хотела.

Еще подумалось: а ведь сейчас мы, может, встретимся.

И стало очень страшно.

Муж бегал по коридору и кричал:

– Кто-нибудь! Доктора! Сестру! Кого угодно! Помогите! Сестра! Сестра! Да где вы все тут!

И плохими словами ругался.

Наконец в дверях показалась толстая сестра, она волокла за собой капельницу.

– А где нашатырь? – сердито спросила она мужа.

– Нашатырь, твою мать! – заорал муж дико и надсадно, и тогда толстые руки медсестры зашевелились, а ноги забегали.

Кордарон в прозрачной бутыли пузырился и мерцал. Мерцательная аритмия, мерцательная, мерцают звезды в небе, мерцает твоя жизнь.

– Пять утра! – кинула толстая квашня, шаркая тапочками прочь. – Совесть бы имели!

Под капельницами я пролежала тогда три дня.

Мама лежала в одной больнице, я в другой. Муж бегал с апельсинами и соками то ко мне, то к маме. Между двумя больницами было расстояние в четыре трамвайных остановки. Но их надо было проехать или пройти. А для этого мне из моей больницы надо было убежать.

Вторник, среда, четверг.

В пятницу меня будто что-то толкнуло в грудь. Когда к вечеру врачи ушли, еще до скудного ужина – мышиный рис, жалкий рыбий хвост и холодный, будто спитой чай – я осторожными шагами, крадучись, подошла к постовой сестре, умильно сложила руки у подбородка и попросила вежливо и сладко, как могла:

– Пожалуйста! Я вас очень, очень… мне очень нужно. У меня мама в другой больнице. Я съезжу…

– Еще чего, – бросила медсестра, – будете тут бегать все! У всех кто-то да болеет! У всех и всегда!

– Она умирает, – отчетливо сказала я.

Сестра поглядела мне в глаза.

А я – ей.

– Уходите, – сказала она шепотом, – но чтобы завтра утром… в семь утра… как штык…

Как я бежала из больницы в больницу, я помню. Вернее, не помню. Помню, что не помнила, как бежала, вот.

Палата, и закатное солнце, и красный свет…

И окна настежь.

Жара плывет и слоится. Соседки по палате сидят на койках, как куклы, как ступы в степи. Голые телеса завернуты в простынки. Мама лежит за ширмой. Я шагаю за ширму. Вижу: все руки исколоты, все в синяках. И пальцы исколоты. Везде, всюду, по всему телу – синие пятна.

Мама лежит, закинув голову, и дышит тяжело, с влажным хрипом. Не дышит. Хрипит.

Грудь поднимается под простыней.

Раз-два, раз-два…

– Уже никого не узнает. И не говорит. И не ест. Агония!

– Детонька, ты ее переверни скорей, у нее ведь пролежни.

– Мы тут сами ее переворачиваем! Кошмар! А дочь-то где, думаем!

– Вон она, дочь, наконец явилась – не запылилась. Вот они, дочери-то нынче, такие! А мы их растим, лелеем.

– Вы не обращайте вниманья! Треплются – и пусть! Действуйте, коли пришли! Сами ведь все видите!

Я попросила у сестры-хозяйки таз, налила в таз теплой воды и тщательно, приподнимая странно легкую маму, обмыла ее. Я впервые видела пролежни – на спине, на ногах, на ягодицах; страшные, кровавые.

Предсмертные стигматы.

Я помазала пролежни мазью – мне всунули тюбик в руку. Я все делала вслепую, машинально. Видя – и не видя. Чувствуя – и не чувствуя.

Я разговаривала с мамой. Важно было говорить, говорить и говорить, говорить и что-то делать, не останавливаясь…

– Мамочка, вот я тебя помыла. Я помыла тебя так тепленько, хорошо и чистенько, ты теперь лежишь чистая, чистая, тебе хорошо. Тебя сегодня больше не будут колоть. У тебя все пальчики в синяках. Все локти и запястья. И кровь больше брать не будут. Ночку отдохнешь. А я с тобой посижу. Я никуда не уйду. Я тут, я с тобой. Ты ведь слышишь меня? Видишь ли меня? Милая, милая. Я тебя вижу и слышу. Ты со мной. Тебе ведь хорошо сейчас, правда? Правда? Правда?

Мне казалось, мама меня слышит.

Я шептала беззвучно, поправляла простынку. Ширма качалась и падала, я ее ловила.

Мама хрипела, будто пела.

Я взяла ее руку. Слезы не текли по щекам, они текли внутри и обжигали ком сердца в клетке костей. Я говорила с мамой, пока не устала.

Потом я стала молчать.

Сидела и молчала.

Палата становилась все горячее. Женские голоса вихрились рядом со мной: «Вы бы супчику… картошечки… вон, на подоконнике…» Супчик, картошечка.

Лицо мамы уже не отвечало ее клокочущему дыханию. Она дышала сама по себе, а лицо было само по себе.

Оно еще было. Еще – жило.

Время застыло во мне смолой. Сквозь вязкую смолу наружная жизнь билась, плыла, еще просвечивала. Дыхание уходило прочь с лица все ниже, внутрь мамы – в горло, в глотку, в грудь. Наконец оно поселилось в груди, а ноздри уже не раздувались.

Нет, еще шевелились.

И вдруг протянулись руки. Дрожащие исколотые пальцы начали вслепую собирать с простыни невидимых мошек и жучков. Вцеплялись в простыню и тянули, тянули ее на себя. А потом опять медленно, растерянно ощипывали простыню: искали, верили, надеялись.

Ширма закрывала ото всех, как мама обирается.

Я погладила ее по руке.

У нее были очень красивые руки. Длинные, тонкие, крепкие пальцы. Как у Тициановой «Кающейся Магдалины». Магдалина, Венера перед зеркалом, Даная, Саския. Краски ушли. Кисти ушли. Художник ушел. Все ушло. И женщины все ушли. Осталась только простынка и незримые мошки, ползущие по ней…

Больничный стул с деревянной спинкой плыл, и я медленно плыла на нем, как в лодке-долбленке. Дверь в палату скрипнула и отошла.

Вошел муж. Он не видел меня за ширмой.

– Женщины, – услышала я его голос, – добрый вечер! А моей жены нет здесь?

Он шагнул за ширму и успел подхватить меня на руки.

Я задыхалась, а сердце рвало ребра.

Оно хотело выскочить из клетки и улететь.

Когда мы уже приехали домой, мужу позвонили.

– Двенадцать ночи, кто бы это…

Он слушал, что ему говорили, а я уже знала, что ему говорят.

Он неловким пальцем нажал отбой.

– Нина Степановна…

Я прижала палец ко рту: тс-с-с. Тише. Я знаю.

Подошла к окну и раздвинула шторы, потом распахнула оконные створки. Стекло блеснуло под фонарем в жаркой ночи. Я стояла и дышала, слезы сами текли. Хорошо, что они пришли.

Я повернулась к мужу. Слезы затекали в рот.

– Надо прочитать из Псалтыри. Кафизмы…

Я не знала, какие псалмы и кафизмы надо читать. Нашла среди старинных книг Псалтырь и положила на стол.

Зажгла свечу. Открыла псалом наугад.

Я не помню номер псалма. Какая разница? Древняя речь висела в воздухе, я старалась и читала, пока свеча не догорела…

А наутро, в семь утра, я уже была в своей больнице. В моей больнице. Под моими капельницами.

Пришел доктор. Каждый раз новый доктор приходил.

То старый, то лысый, то круглый, то молодой, то морщинистый. Река врачей текла и петляла в больничных стенах и втекала в улицу, в заоконную толпу.

Этот был молодой и кудрявый, как баран. И слишком высокий, как волейболист. Чтобы присесть ко мне на койку, он сложился вдвое.

– Так, так, – сдернул с шеи фонендоскоп, я дернула вверх сорочку. – Послушаем, что слышно!

Слушал – и лицо вытягивалось.

– Все ясно. Ишемическая болезнь сердца. Фибрилляция предсердий. Пароксизмы. Ярко выраженные. Страх смерти посещает?

После смерти мамы – что я могла ответить ему?

Что да, посещает? Каждый Божий день? И вчера опять посетил?

– Еще какой, – честно сказала я.

– Паникуете?

– Еще как.

– Н-да, все как по писаному!

Он склонил баранью башку и уставился на меня выпуклыми бараньими глазами. Губами пожевал.

– Вы знаете о своей участи?

– Об… участи?

– Ну да: о том, что вас ждет.

– А что… меня ждет?

– Нас всех, понятно, ждет одно и то же.

Хохотнул. Наклонил голову в другую сторону.

– Но вы должны знать. Я перед вами честен. Я не вру.

Мерцательная аритмия неизлечима. Вы будете с ней жить. И она у вас будет усугубляться. Усиливаться. Вы понимаете?

Сил не было даже кивать. Я закрыла и открыла глаза, изображая согласие.

– И нужны будут лекарства. Так, сейчас вы под кордароном. И будете под ним долго, долго… пока у вас щитовидка не перенасытится им, и вы не загремите в больницу с медикаментозным тиреотоксикозом! Кордарон, конечно, хорош…

Баранчик задумался. Играл фонендоскопом.

– А что, если попробовать ритмонорм? Пропанорм, в просторечии. По схеме: две плюс одна! Превосходное изобретение. Доктор в кармане! Будете всюду с собой носить. Как прихватит – вы сначала две таблетки, а потом, через полчасика – еще одну, и дело в шляпе! Приступ снимается как рукой. Идет? Согласны?

Я снова кивнула ресницами.

Мне нечего было ответить.

А еще через день мы хоронили маму.

И для того, чтобы я смогла ее похоронить, меня официально выписали из больницы.

А что толку меня в ней держать, когда у меня и так неизлечимая болезнь?

Мы отвезли маму в деревню и опустили в землю на маленьком сельском кладбище на берегу Волги, на обрыве над большой и сильной рекой, и там я долго стояла на коленях на разрытой пушистой земле, на примятой и срезанной лопатами траве, и молилась, как умела.

Простой черный, чугунный крест.

Венок: темно-зеленые ветки, белые бумажные розы. «Дорогой маме от любящих детей».

Для сельчан устроили нехитрые поминки. Гречневая каша, рыбные консервы, соленые помидоры, водка, селедка, ржаной.

Сын и муж пили водку. Я чуть пригубила и сидела каменно.

В ночь пришла аритмия. Она выворачивала меня наизнанку, хлестала, лупила. Я во всем перед ней была виновата.

Муж сломя голову понесся в сельскую больничку, оттуда бежали уже вдвоем: он и сельская медсестра Марья Константиновна с медицинской сумкой на плече.

– Давай лапу! Муженек, подержи жгут! Коргликон, он же дигоксин! Сейчас все как рукой… да не плачь ты!

Смерть стояла рядом и смеялась – беззубо, беззвучно.

Начались мои многолетние скитания по больницам.

В одной меня с ритмонорма перевели на соталекс. «Он же соталол, он же сотагексал! – важно поднимая палец вверх, поучал меня доктор. – Я, душенька, собаку съел на мерцалках!» Я грызла соталекс и свято верила в него. Аритмия, испугавшись нового снадобья, вежливо отступала.

На время.

А потом опять наваливалась – с новой злобной силой.

В другой больнице меня посадили на лекарство под названием «беталок ЗОК». Двойное имя. Имя и фамилия у лекарства, как у человека: Рихард Зорге, Амалия Зебальд, Беталок Зок. Немец, выходит так. Доктор гордо говорил о себе: «Я стажировался в Дании, а само лекарство шведское, оно вам однозначно поможет! Я столько народу уже им вылечил! И знаете, оно многопрофильное: и аритмию лечит, и блокады, и гипертонию! Шведы не дураки! Точно вам говорю!»

Я верила – и доктору, и шведам, и Беталоку Зоку.

Я глотала его сначала четверть таблетки, потом полтаблетки, потом таблетку, потом две таблетки в день, потом горстями. Когда увеличивала дозу – аритмия исчезала. Через две-три недели она появлялась опять: ночной призрак, прозрачный, гиблый, хохочущий надо мной и несчастным неудачником Беталоком Зоком…

В третьей больнице врач долго и больно мял и тискал мне шею. «Милочка, да у вас щитовидка не в порядке! Отсюда и аритмия! Лечите-ка щитовидную железу – и будет вам счастье! Вот вам телефончик. Лучший эндокринолог города! Прием – тысяча рублей!» Я пила препараты йода, регулярно приходила к эндокринологу и незаметно, по совету врача, совала ему гонорар в оттопыренный карман халата.

В четвертой больнице мне написали в эпикризе: «Идиопатическая форма мерцательной аритмии».

– А это не от слова «идиот»? – испуганно спросила я.

Мне объяснили, что так именуется диагноз, когда нельзя установить причину болезни.

А после выписки был снова дом, и снова два дня я жила, а на третий – опять умирала, и муж опять вызывал «Скорую», и смотрел на часы, и сжимал мои руки, и шептал: «Да что же это такое! Что же это такое!»

Я себя берегла. Лелеяла.

Я сидела сиднем, а чаще лежала, как на лежбище тюлень. Мягкие подушки, много подушек, чтобы лежать высоко, чтобы сердцу легче было. Мне сказали: от сердца помогает шоколад; и я ела шоколад сколько влезет – и шоколадные плитки, и коробки шоколадных конфет, а внутри – ромовая или коньячная начинка,

это очень вкусно, это такое наслаждение. И как же не встряхнуть свое бедное сердечко хорошим заморским чаем, а к чаю-то надо вкусненький торт или сдобный крендель, как же чай-то без сладостей: мед, варенье, цукаты! Ну как больному человечку не побаловать себя!

Муж покупал мне, вечно печальной, вкусные вещи. Я сама себе их покупала. Я вставала с постели, принимала душ и ела вкусности.

Пусть я больная! Зато я наслаждаюсь! Зато чудесная конфетка мне приносит радость!

Я шла по улице и задыхалась. Проходила пять, десять шагов – и останавливалась. Я не могла пройти пятьдесят метров до трамвайной остановки, чтобы на этом пути не отдохнуть раз пять. Ловила ртом воздух, как рыба. Муж держал меня под руку. На его лице я читала черные письмена страдания и терпения.

Зеркало отражало больное, с мешками под глазами, женское лицо, уже сильно похожее на лицо толстой, круглой старушки. Синие тени, двойной, нет, уже тройной подбородок. Щеки с затылка видно. Живот, боже, какой же живот! Холодец. Трясется. А руки! Бревна. А ноги, если присмотреться, уже отекают. Сердце не тянет. Ему трудно гнать кровь по большому, день ото дня грузнеющему, оплывшему телу.

В кардиодиспансере аритмолог снимал мне кардиограмму за кардиограммой. Навешивал мне на грудь монитор, и сутки я ходила, ела, сидела, лежала с ящичком под мышкой, и умный ящик записывал, как бьется мое сердце.

«Плохо оно бьется у вас! Непорядок!»

Аритмолог вел меня к городской кардиозвезде. Кардиозвезда выстукивала, выслушивала, разглядывала, как брильянты на витрине ювелирного магазина, мои бесчисленные кардиограммы и эхограммы. «Операция! Только аблация. Аблация, и больше ничего не спасет!» Твердый почерк, железная рука. Подпись, печать. «Направление на операцию. Благодарите Бога, что на ноябрь есть места! Ведь бесплатно! По федеральной программе!»

С документами в сумочке и со сменным бельем в пакете я явилась на операцию.

Мест в палатах не было, и меня положили – будто опять на «Скорой» привезли – в приемный покой. Я переоделась в больничное, а цивильную одежонку сложила в тумбочку.

Выяснилось, что у меня нет нужных анализов: эти есть, а тех нет!

«Сделаем завтра утром. Лежите себе и лежите, отдыхайте как барыня. Думайте о приятном. Например, о плодах манго. Или

папайи. Какие они на вкус. Вы ели папайю? А гуайяву?»

Я пыталась вспомнить, ела ли я папайю и гуайяву.

Выходило, что нет, не ела.

И мне становилось так жалко себя, что я плакала.

А потом над собой смеялась…

Среди ночи в приемный покой ввезли каталку. На каталке лежало голое тело. Женщина. Вся избитая. Она слегка пошевелилась. Стоны ползли по полу, а потом взлетали и разбивались об оконное стекло. Женщину сгрузили на койку, подкрутили винты, и изголовье приподнялось. Избитая опять простонала. Открыла глаза. Ночная сестра сделала ей укол в руку и молча ушла.

Я встала и укрыла избитую одеялом.

Она разлепила слипшиеся, в засохшей крови, губы.

– Ты кто тут?

– Больная. Как и ты.

– А, вон что. А где я?

Я не удивлялась ничему. Я выросла в маминой больнице и много чего знала про больных и врачей.

– В больнице.

– Черт, а в какой?

– В пятой.

– Ага, ясно. – От ее рта пахло водкой и гарью. – Пить есть?

Я налила в стакан воды из-под крана и поднесла к ее рту с выбитыми зубами. Она пила жадно, чуть не откусила край стакана.

– Спасибо, девушка.

– Какая я девушка. Я вся седая.

– Спасибо, седая. А ты-то тут что?

– Операции жду.

– Когда операция?

– Завтра.

– Фью-у-у-у! Попала ты! Кур в ощип!

– Наплевать. Переживу.

Избитая приподнялась на локте. Из-под покрытых синяками, как фиалками, надбровных дуг ее крошечные хитрые глазенки сверкали в меня пониманием и весельем.

– Человек переживет все, кроме собственной смерти, подруга!

Потянулась, опять застонала. Потерла плечо ладонью.

– Вон мне какую операцию сделали, – кивнула на свои избитые руки. – Операцию-девальвацию-калькуляцию! А-кха-кха-кха…

Кашляла она долго и надсадно.

– Еще воды хочешь?

– Давай. Хлебну.

Пила, пока не устала. Три стакана выпила.

– Покурить бы! Да тут нельзя. Придут и еще хуже измолотят.

Поглядела на меня попристальней:

– А ты вот что, подруга. Уматывай отсюда, пока не поздно. Я тебе говорю.

– Ты так думаешь или так говоришь?

– И думаю, и говорю. Не цепляйся к словам.

– У меня мерцалка. С ней – только на операцию, так сказали.

– Мало ли, что сказали! Ты – себя слушай. Ты – живая!

«Я живая», – сказала я себе мысленно. И вслушалась в звучание этих простых слов.

– А может, ты и не больная вовсе!

«Я – не больная», – повторила я беззвучно.

Я не больная. Я не больная!

– У тебя одежда тут?

– Тут, – прошептала я. – В шкафу. Вон, там.

Я смотрела на кровоподтеки на голых плечах, на шее и лице чужой женщины. Она еще не старая была. Но мешком свисала кожа под подбородком, и тряпками висели выпитые жизнью груди. Меж грудей мотался на черном гайтане медный грязный крестик.

Я одевалась под ее острым, веселым, жестким взглядом. После обильного питья она уже совсем отошла. Я оделась, и она засмеялась.

– Во! Класс! Отлично! Ты блеск.

– А ты старая хиппи, старушка?

– Я уж не хиппи, а хриппи!

Мы смеялись обе. Она протянула ко мне руки:

– Подойди, бретельку поправлю.

Я подошла, наклонилась над ней, лежащей, она привлекла меня к себе и поцеловала меня как мать. Крепко и ласково. И я уже не чуяла перегара, не слышала водочного кашля, чахоточных хрипов и грубых слов.

Я видела и слышала живую душу.

– Спасибо тебе… подруга.

– Валяй! Ступай!

– А как же меня выпустят?

– А ты не дрейфь. Мчись мимо вахты, будто запозднилась у родных, у койки засиделась! Скажи: дедушка у меня тут, и он обделался, и я мыла его и простынку стирала! А-ках-кха-кха… кха… Ну, молоденькая же, сообразительная же! Беги, седая девушка!

Я подошла к двери. Посмотрела на избитую в последний раз.

И вышла из приемного покоя.

И побежала что есть силы.

Мне кто-то что-то кричал вслед. Я нажала плечом на стеклянную дверь.

Ночь, а она открыта! Это охранник вышел покурить.

Чудо! Жизнь – чудо!

Я бежала через ночной город так быстро, стремительно, что забыла об аритмии.

И об операции.

Я помнила одно: я живая, живая.

Муж воззрился на меня. Пять утра!

Опять пять утра. Все смерти утром, и все жизни утром.

– Откуда ты? Из больницы сбежала?!

– Володя, я живая. Живая!

– Так, уже лучше. Ну-ка иди сюда!

Он обнял меня, уложил в постель. Лег рядом и обнял еще сильнее.

Когда взошло тусклое зимнее солнце, муж сказал мне:

– Я знаю, как тебя вылечить.

Я не поверила ему. Меня не мог вылечить никто.

– Но как, как?!

– Вода, – сказал он загадочное и простое слово.

– Что, мне пить воду?! Минералку, что ли?

– Нет. Плавать. В воде. Вода. Бассейн. Ты же так любишь, – он поправился, – любила плавать!

За окнами бесилась метель. Январь, снега, мороз.

Зима – это тоже смерть.

Полгода человек в наших широтах живет внутри смерти.

И ничего. Живет.

– Я и сейчас люблю. Летом. Когда жара. Только… мне трудно. Аритмия. Я задыхаюсь!

Муж нашел и сжал мою руку.

– Я видел во сне воду. И ты плывешь, – сказал он тихо. – И так быстро, хорошо плывешь. Ты убежала из-под ножа. Убеги, пожалуйста, от смерти. Она ведь рядом. Близко. Уплыви.

В тот же день я пошла в свой первый в жизни спортивный бассейн и купила абонемент на месяц. Попробую, говорила я себе, попытка не пытка, товарищ Сталин, а вдруг это приятно, хорошо, правильно? Все верно: это приятно, хорошо, правильно.

О спорт – ты мир, и все такое. О спорт, ты – жизнь?

Да кто же спорит!

Я еле поднялась по лестнице. Задыхаясь и отдуваясь, переоделась в раздевалке. В огромном зеркале увидела себя в купальнике и ужаснулась.

Это – я?!

Зажав рот рукой, я постояла под горячим душем и направилась вперед. К колышущемуся, желтому, синему, голубому свету, бликам, сполохам. Когда я увидела синюю чашу бассейна и резвящихся людей в нем, у меня сердце перестукнуло и остановилось.

От счастья.

– Вода, вода, – бормотала я, сбрасывая сланцы и сходя по трапу в воду, – кругом вода…

Вокруг меня плавали люди. Кто кролем. Кто брассом. Кто баттерфляем. Кто вольным стилем. Пожилые дамы плавали по-собачьи. На первой дорожке женщины занимались с тренером водной аэробикой. Под потолком звенела музыка, отдавалась эхом в углах зала. В воду ныряли дети.

Я оттолкнулась ногами от кафельной стенки и поплыла.

Я поплыла, и это оказалось счастье.

Вот оно, счастье, простое и ясное. Жить. Плыть. Двигаться. Любить.

Медитировать, плывя, а потом активно, резко, мощно работать руками и ногами.

Просыпаться. Кувыркаться. С водой – обниматься.

Тело – продолжение души, и где тут секрет? Все и так понятно. Все так ясно и прозрачно!

Как вода, как синяя эта вода.

В спортклубе мне сказали: у нас нет никакого лимита, плавайте сколько хотите.

Я в тот свой первый день в бассейне потеряла счет времени. Плавала, пока плавалось. Пока не устала, но почему-то в воде устать было очень трудно: ложись на воду и отдыхай, а потом опять плыви, все так просто.

Охрабрев, я даже ныряла. Набирала в грудь воздуху и ныряла с головой. Неглубоко – глубоко я боялась. Плыла под водой, выныривала, наталкивалась головой и руками на плывущего навстречу, вскрикивала: ой, извините!

Мне в ответ необидно, хорошо смеялись. И я смеялась тоже.

Я чувствовала себя рыбой. Дельфином. Мячом. Водорослью. Я чувствовала себя – жизнью.

Когда я выбралась из воды, прошла в раздевалку и посмотрела на часы, я увидела: плаванья моего было ровно два часа. Я встала на весы – тут все на весы вставали. Минус

килограмм.

Я глазам не поверила. Быть того не может!

А из зеркала на меня глядела румяная, конечно же, все еще толстая тетка, но в лице у тетки уже проглянула девчонка, та озорная, живая и веселая девчонка, которой я была когда-то.

И я сказала себе вслух, глядя на себя в огромное зеркало:

– Я вернусь к тебе, Еленка. И ты, мама, будешь довольна. Ты увидишь меня!

Мистика, бред, разговоры с умершими.

Мы с ними на самом деле разговариваем – всюду и всегда. Этого у человека не отнять. Смерть рядом, но ведь и жизнь – с нами.

До трамвая я шла легко, танцуя.

«Она идет по жизни, смеясь… Она идет по жизни, смеясь…»

Смеясь и танцуя, уточняла я, запрыгивая в трамвай.

Когда муж увидел меня на пороге, веселую и румяную, он сам засмеялся от удовольствия и крикнул:

– Ну, что я говорил! Плаваем?

– Плаваем!

Я крепко обняла его.

Он снял с меня шубку, развесил на сушилке мокрое полотенце.

Мы пили чай так, словно бы чай был вино, шампанское, будто бы это был Новый год или Пасха, только без кулича.

– Завтра я снова пойду в бассейн, – сказала я.

Муж кивнул. Усмехнулся.

– Я и не сомневаюсь.

Каждый день. Каждый день радости.

Движение – это радость. Вода – это счастье.

На улице снег и холод, а ты разрезаешь руками, головой, телом синюю воду бассейна. Ну и что, что она пахнет хлоркой! А я уже научилась плавать брассом. Главное – правильно дышать. Гляжу, как занимается с детьми тренер, и перенимаю приемы. Устаю и плаваю собственным шагающим стилем – медленно иду под водой, высоко поднимая ноги и подгребая, чуть помогая себе руками.

Весы, где мои милые весы? А ну-ка? Сколько у меня сегодня ушло лишнего веса? Ага, еще полкило! Жрать надо меньше. Нет! Не так! Есть надо правильно – вот что!

Минус пять. Минус десять. Минус двенадцать килограммов.

Килограммы – это твоя смерть. Наблюдай, как она поворачивается и медленно, нехотя, пятится от тебя прочь.

Впервые в жизни я стала узнавать, сколько в продуктах калорий. Я поняла, сколько счастья таится в овощах и фруктах. Сколько грации – в гречневой каше и вареном яйце. Я поняла, что надо пить больше и есть чаще, и, как только я стала делать это, радости в теле прибавилось.

А душа – что душа? Она на эту радость послушно откликалась.

Вода, вода! Всего лишь вода и еда! Древняя вода, откуда вышли мы все. Где сама жизнь зародилась. Человека кладут на вечный сон в землю, а выходит-то он на свет из воды, и вода нежит его и ласкает, держит в прозрачных текучих ладонях, баюкает. Околоплодные воды. Темные воды Стикса. Они так рядом! А между ними – жизнь, живая вода зимнего бассейна, весеннего ледохода, летней лесной речки, теплого моря, океана с высоким и мощным прибоем.

Через месяц я поняла: я не задыхаюсь, когда иду по улице.

Я проверила себя. Я без отдыха шла, и шла, и шла. Не останавливалась. И со страхом и подозрением прислушивалась к себе: что там у меня внутри? Как оно там?

Я дышала глубоко и спокойно, а шла упруго и быстро.

Дойдя до дома, открыв дверь, сказала зеркалу:

– Привет!

Толстая круглая баба исчезла.

Я снова становилась самою собой.

– Нет, конечно, – сказала я радостному зеркалу, – я не стану Майей Плисецкой или Наоми Кэмпбелл, но самой-то собой я точно стану!

Мужа не было дома. Я ждала его.

Я очень ждала его.

Он пришел, и я обняла его.

Он оглядел меня и радостно сказал:

– Ты совсем другая! Ты красивая. И молодая.

Я обняла его и сказала ему на ухо:

– Это все ты.

– Нет, – сказал он, – это ты. Ты сама.

А потом сказал еще так:

– Ты знаешь, ты похожа на свою маму. Вот на такую.

И кивнул на ее портрет кисти отца, висящий над обеденным столом.

Мама там сидит в китайском черном, с яркими цветными хризантемами, халате. Она чуть склонила лицо. Красивое, загорелое, южное, восточное, смуглое лицо. Самарская девчонка. Великий врач России.

Сколько глаз она излечила! Сколько жизней – в жизнь – вернула!

– Но маме же здесь тридцать два года.

– Тебе сейчас тоже тридцать два. Где твоя аритмия?

И правда, где же сейчас моя аритмия?

И что она была такое?

Может, так смерть показала мне свой подол, край своей пятки, чтобы я заприметила ее и запомнила, чтобы боялась и трепетала ее?

Ничего у нее не вышло.

Муж, его любовь. Мама и отец, их память.

Единственная жизнь, которая дана нам – и которую мы можем сами уничтожить, а можем и взлелеять, и воспеть, и полюбить.

Главное – себя не жалеть! А именно любить. Не щадить, а нагружать! Двигаться, двигаться. Движется тело – и движется душа. Мы так устроены, что глаза у нас смотрят только вперед, и сами мы движемся во времени только вперед. Вернуться назад невозможно. Но нас всех впереди ждет жизнь, а не смерть при жизни.

Жизнь – это красота, движение и сила!

Пусть это трюизм. Пусть – банальность. Банальны и обычны, обыденны сама жизнь и сама смерть. Они всегда с нами, они – наши.

Но только от тебя зависит, проживешь ты жизнь домашним ленивым, толстеющим увальнем или путешествующим, смелым, радостным и дарящим радость человеком. Злые люди вокруг тебя обязательно будут; они будут ругать тебя, смеяться над тобой или даже издеваться над тобой. Не бойся укусов комаров или лая мосек! Пожалей их, накорми, ободри их, улыбнись им. Они сами жалки и злы, потому что не знают счастья.

Счастливый человек всегда силен и добр. И хочет отдать, подарить эту свою силу и доброту другим.

Плавайте! Плывите! Бегите! Догоняйте! Опережайте!

И однажды на этой дистанции, на этой водной или гаревой дорожке вы поймете: счастье ваше – не только ваше, вы должны, вы хотите подарить его людям, поделиться с ним хоть кусочком, хоть сверкающей щепоткой его!

И вы уже делаете это.

Вы объясняете вашей старой и одышливой подруге, вашему другу, что жалуется на сердце и мучительные боли в подреберье: все в твоих руках! Измени себя!

Как это ни странно, это и правда так! В твоих! И только в

твоих!

Это твое преображение. Твоя метанойя.

Врачи выдумали лекарства, чтобы кормить людей химией. Лекарства помогают, да, спору нет. Но – временно. Ты привыкаешь к ним, как наркоман привыкает к наркотикам, как алкоголик – к бутылке. И они перестают помогать.

Но ты-то, ты сам себе поможешь всегда. Ты сам!

А над тобой – Бог.

Он глядит на тебя и улыбается. Он радуется твоей радости. Он невидимый, но Он ведь рядом с тобой. Ты о Нем не думаешь. Может быть, ты даже неверующий. Это все равно! Не верь, не верь на здоровье, не верь сколько угодно, Он-то тебя отлично видит и слышит.

И Бог – это не старичок с белой бородой. Это огромная, великая сила, и сила эта – жизнь. Твоя жизнь.

И твоя, и твоя, и твоя!

Ведь каждый – это я, и каждый – это ты.

Любовь – это не я, а ты.

Поборись со своим недугом! Ведь это тоже радость, борьба. И внутри борьбы однажды наступит миг, когда борьба перейдет в любовь. Ты по-иному полюбишь мир, в котором тебе суждено плыть.

Пусть ты ослеп! Ты ведь сдал экзамены на массажиста. И помогаешь людям. И даешь им здоровье и радость. Пусть у тебя нет одной почки! Но ты – трудник в монастыре, и ты вскапываешь немощным старикам и старухам в деревне по весне могучие пышные грядки и таскаешь им в ведрах воду из колодца. Пусть у тебя врожденный порок сердца! А ты стал бегуном на длинные дистанции, ты – стайер, один из лучших в мире, и ты – на пьедестале почета, и медаль на груди горит ярче солнца!

Жизнь – преодоление. Жизнь – соревнование.

Но жизнь – это еще и любовь – любовь, а не брызганье ядовитой слюной, не забывай об этом.

Зло умирает. Оно умирает по-настоящему. Злого человека никто не помнит. И не вспомянет, и не помянет. О нем забудут, ведь зло – гниль и пепел жизни.

А твоя любовь останется. Твоя любовь: твои дети, книги, картины, рукописи. Твои вылеченные больные. Твой любимый, твоя любимая, что смотрит на тебя глазами, в которых – восторг и печаль. Восторг перед тобой и печаль перед неизбежной грядущей разлукой…

Не страдай! Вы встретитесь. Вы обязательно встретитесь там. Далеко. В облаках.

В том огромном синем небесном бассейне, в океане, где

плывут ангелы и дети, звери и птицы, люди и боги.

Плыви и ты. Плыви.

Ты здоров. Счастлив.

У тебя нет мерцательной аритмии. У тебя нет отслойки сетчатки, туберкулеза, рака. Ты победил их, ты понял и принял их. И поплыл дальше и выше их. Полетел.

Плыви. Ты любишь. Ты живешь.

Стань жизнью. Стань самим собой.

Иерусалим
Владимир Сотников, детский писатель, прозаик, автор многочисленных приключенческих повестей

Владимир Сотников пишет всю жизнь, сколько себя помнит. Это не значит, что с самого детства он писал романы – но замечал, что мир подвержен его взгляду и просит творчества. Счастье для него – писать необходимые слова.

* * *

Это было вначале.

Перед тем, как я начал писать книгу об отце.

Иерусалим не давал мне даже одиночества, а я так ждал от него помощи.

Любой другой город обычно сразу окутывал меня именно одиночеством, и я как будто переступал внутри большого прозрачного шара. Шар катился, я шел внутри него, наблюдая чужую жизнь, думая о своей…

А здесь толпа людей поглотила меня, уличные торговцы одинаково спохватывались навстречу, суета сует…

Мне даже казалось, что старые камни стыдливо отворачиваются, не в силах подарить мне чувство, которое я пытался назвать про себя несколькими указующими словами – когда-то так же здесь…

Нет, не получалось у меня это почувствовать.

Много туристов, несмотря на зиму, и я один из них.

Не хватало пустоты.

Пустыни.

К этому времени отец мне все рассказал, но я как будто онемел. Я все знал, хотел написать, хотел сказать, и странным было мое молчание.

Я стоял у Стены Плача, выбирая свою главную просьбу.

«Дай сказать, Господи!» – написал я в своей записке.

Помню, что точка восклицательного знака пробила листок…

Как тяжело мне было возвращаться в гостиницу. Как будто я умирал на ходу. И в номере время остановилось, я смотрел немигающими глазами в темное окно.

Тревога мира была передо мной, и я виноват во всем. Нет, не во всем, а в этой записке, понял я. Нельзя, нельзя требовать, никогда ничего нельзя требовать.

Я выбежал на улицу и оказался на острие какого-то ножа, который разрезал темноту.

Один, совершенно один – это было то одиночество, которого я добивался целый день в Иерусалиме.

Старые камни Старого города встретили меня на повороте Яффских ворот.

А вот и Стена.

Как будто специально для меня оставлены выступ и место для моей записки. Я понял, что принят. Понял, что на этот раз написал правильные слова. Перечитав их, засмеялся от радости освобождения.

«Господи, помоги сказать».

Без восклицательного знака.

«Господи, помоги мне сказать», – повторил я про себя, уже зная первые слова, которые напишу об отце.

Нарушил ли я сейчас тайну исповеди? Нет, не нарушил.

Нет тайн перед тайной.

Тирекс серебристый
Александр Снегирев, политолог, прозаик

Александр Снегирев учился в Московском архитектурном институте и Российском университете дружбы народов, но выбрал писательскую стезю. Когда он был маленьким, его родители выписывали журнал «Англия». В декабрьский номер за 1987 год был вложен небольшой календарь с фотографией зеленых холмов. В следующем году его мама уехала в полугодовую командировку, и, ожидая ее возвращения, он стал вычеркивать дни на этом календаре. Через неделю вычеркивание забросил, но зеленые холмы с тех пор навсегда стали для него и обещанием счастья, и невозможностью счастья, и самим счастьем. Да и само счастье – странная штука: зыбкая, ускользающая, невозможная и одновременно вечная.

* * *

Мы с женой решили усыновить маленького ребенка.

Со своими не получается, поэтому – чужого. Долго зрели и поняли – готовы.

И пошли в школу приемных родителей.

Страна переживает усыновительный бум, процедура упрощена, в Москве за каждого платят пособие, малыши в дефиците.

Однако оказавшись с приемным ребенком лицом к лицу, новые родители часто пасуют, начинают психовать и возвращают своих подопечных обратно в специализированные учреждения.

До недавнего времени возврат был настолько массовым, что власти приняли решение: устроить специальные школы для потенциальных мам и пап.

После двух месяцев бесплатных занятий всем отучившимся выдается сертификат.

А без сертификата ребенка не получить.

В школе снабжают практической информацией, учат не испытывать иллюзий – настоящих сирот среди обитателей домов ребенка мало, большинство изъяты у наркоманов, алкоголиков и

прочих отщепенцев. Школа нужна для того, чтобы отговорить сомневающихся, а остальным – придать уверенности.

Ходили мы в такую школу около года назад, и последнее занятие совпало с Хеллоуином.

Накануне вечером я увидел возле подъезда собаку. Молодая дворняга с густым серым мехом и стальным ошейником-цепочкой сидела у двери и лаяла на прохожих.

– Видел собачку у подъезда? – спросила жена.

– Видел, – ответил я.

Наутро я о четвероногой забыл и вспомнил только, когда мы вышли из дверей. Серая сидела в кирпичном углу на гранитной плите, дрожала от холода и уже не лаяла.

Бывают такие секунды, когда понимаешь – решается судьба.

Времени всегда мало и одновременно – всегда достаточно. И точно знаешь, какое решение верное.

И оно, конечно, самое трудное.

Пока я думал, жена уже все поняла и смотрела на меня с каким-то даже уважением. Ее совсем не удивило, когда я взял собаку под мышку и понес домой.

Вечером я опоздал на последнее занятие в школе приемных родителей – выгуливал свою подопечную.

Когда я вошел в класс, все засмеялись. Жена, оказывается, уже успела все рассказать, и будущие усыновители подшучивали над моей шустростью – не успел закончить школу, а приемыша уже подыскал!

Ночью, когда мы кутили в гостях и мою голову украшали бутофорские рога, жена говорила всем, что я не такой, каким кажусь. Утром я подобрал собаку, а теперь рассчитываю найти ее хозяина. Друзья спрашивали о породе и узнав, что собака беспородная, громко смеялись…

Побежали дни, полные мороки.

Введенный в заблуждение ошейником-цепочкой, я разместил множество объявлений: найдена чудесная собака, умная, красивая, похожая на маленькую колли, лайку и хаски одновременно.

Я вступил в переписку с приютами и сердобольными любителями животных. В перерывах – вытирал пол, преимущественно в комнате отца, которую серая выбрала в качестве туалета.

Отец упрекал меня в безответственности, серая грызла обувь и слизывала с тротуара окурки, хозяин не находился, я был близок к отчаянию.

Тут-то мне и встретилась очень красивая женщина.

Ранним утром, когда среди пустых фонтанов и голых деревьев не было ни души. Когда серая тащила меня за собой, причудливо петляя, очень красивая женщина подошла к нам и заговорила:

– Какая милая, – похвалила красавица серую. – А команды знаешь?

Она, точно боярыня Морозова, подняла два пальца и велела серой сидеть. Серая уставилась на двуперстие, но требуемого положения не приняла.

Красивая женщина улыбнулась той печальной улыбкой, какими улыбаются разочарованные скептики, и сказала, что собака бестолковая.

Хоть и щенок.

Кроме того, неизвестно, каких размеров она достигнет.

Вероятно, гигантских.

Своими изящными руками красивая женщина обозначила громадные габариты будущей собаки. А бестолочь в доме, да еще беспородная, да еще размером со слона – морока и порабощение самого себя.

Выслушав мой рассказ о происхождении серой неумехи, красавица сообщила, что и сама однажды взяла собачку с улицы, но та воспитанию не поддалась и была спроважена.

Нет, не обратно на улицу – в приют.

– Только ты сим-карту отдельную заведи, когда в приют повезешь, – инструктировала красавица, перейдя на интимное «ты». – С постоянного номера не звони, а то они замучают. Скажут: собачка скучает, собачке плохо, нужны лекарства, корм, деньги… Заплатить, конечно, придется. Чтобы взяли. Беспородные никому не нужны. Неприятно, когда не знаешь, кто родители. А вообще, между нами, лучше всего усыпить. Честно и милосердно.

У красавицы, кстати, и номер специалиста сохранился.

Она извлекла из мегабайтовых недр своего смартфона десять цифр и продиктовала мне.

Дважды. И проверила – правильно ли я записал.

И я записал правильно.

Я не запомнил, как вернулся домой.

Все мои мысли были посвящены словам и аргументам встречной. Я обдумывал услышанное – и нашел в нем резон. В моем воображении проносились жуткие образы: собака росла и росла безостановочно, полностью заняла собой холл – так, что за стеклянными дверями комнат виден стал один только ее серый

мех. Собака заняла всю нашу небольшую квартиру. Моя жизнь подчинилась уборке, корму и прогулкам, моя жизнь перестала быть моей, моя жизнь превратилась в ад – и повсюду была одна сплошная собака…

Я подумал, что надо уметь принимать трудные решения, и рассказал обо всем жене, не упомянув, правда, о красоте моей советчицы.

– Ты взял собаку, ты ее и усыпляй, – сказала жена.

Я решил позвонить доктору на следующий день.

Перед сном я снова повел свою подопечную на бульвар. Она, как обычно, заглатывала окурки и сухие листья, взрослые выгуливали малолетних детей, утренняя красавица не показывалась.

Я отпустил серую с поводка, и она подбежала к стайке местных породистых завсегдатаев. Таксы отвернулись, лабрадор лениво замахал жирным хвостом, а шикарная, похожая на топ-модель лайка ударила мою лапой и оскалила пасть.

И серая бросилась прочь, ко мне, и спряталась за мной.

В лифте я удалил из телефона утренние десять цифр.

Так серая у нас и осталась.

Она оказалась не так уж глупа, по крайней мере, прекратила жрать окурки и использовать отцовскую комнату в качестве сортира.

Жена дала ей имя – Грея, а мой отец, переставший попадать ногой в лужу или еще во что-то более гадкое, очень ее полюбил, но называет Греем и говорит про нее «он».

Кстати, собака так и не выросла, габариты прежние, только слегка округлилась.

Ребенка мы пока не нашли.

Ездим по учреждениям, встаем на очереди – дети пользуются спросом. Грею мы недавно постригли, и она приобрела на редкость благородный вид. На бульваре все спрашивают: что за порода?

Решили отвечать – тирекс серебристый.

Красивую утреннюю советчицу я больше не встречал.

Впрочем, лица ее я совершенно не помню, увижу – не узнаю.

А может, и не было ее вовсе.

Ниже нуля по Фаренгейту
Валерий Бочков, художник-график, прозаик, путешественник

Гражданин мира – родился в Латвии в разные периоды жизни жил и работал в Москве и Амстердаме, в США и Германии. Валерий в первую очередь известный художник – после окончания художественно-графического факультета работал иллюстратором крупных журналов и издательств. Но, по словам художника, когда он вполне высказался языком живописи, он начал писать жизнь художественным словом. Олимп большой литературы Валерий покорил за 10 лет – начав писать в 2004-м и получив «Русскую премию» в номинации Крупная проза в 2014-м. Счастье, по мнению Валерия, остро ощущается в мгновения постижения законов жизни и вопиющей красоты природы.

* * *

Ноль по Фаренгейту – что-то около восемнадцати градусов мороза по Цельсию. Семнадцать целых восемь десятых, если быть точным. Шкала Фаренгейта лишена изящной логики Цельсия, где ноль – точка замерзания, сто – точка кипения, а все остальное лежит между ними, и вы почти интуитивно соотносите цифру на градуснике с необходимостью надевать валенки или панаму. Я заметил, что сами американцы, пользующиеся неуклюжим Фаренгейтом с упрямством подростка, ориентируются лишь в диапазоне комнатных температур: все, что выше, попадает в разряд «страшной жары», а то, что ниже, определяется как «дикий холод».

1

Ланкастер мне не нравился.

И чем дальше, тем больше. Верней – меньше.

Он был выше меня, поплечистей и в свои семьдесят лет выглядел крепким мужиком. Он напоминал киношного героя из

черно-белого вестерна, какого-нибудь Гарри Купера или Грегори Пека – эти мутные ленты еще зачем-то показывают на бесплатных каналах для пенсионеров. Я злорадно подумал, что зубы у него наверняка фарфоровые, как будто это имело хоть какое-то значение – Рита пялилась на него, как школьница.

– У индейцев чероки обряд посвящения мальчика в мужчины… – Ланкастер сделал паузу и поглядел Рите в глаза.

Рита смутилась.

– Вовсе не то, о чем вы подумали…

Он усмехнулся и продолжил:

– Обряд назывался «Отшлепать косолапого» и заключался в том, что юноша должен был выследить взрослого медведя, подкрасться к нему и хлопнуть по заду. И убежать. Если получится. Медведи на самом деле не так уж неуклюжи и запросто могут догнать человека.

– Долго еще? – спросил я вежливо.

– Почти приехали, – не поворачиваясь, ответил Ланкастер.

Он притормозил, перешел на вторую, джип плавно нырнул и мы съехали на проселок.

Все вокруг было белым – накатанная до ледяной глади дорога, огромные сугробы по обочинам, лес, сахарные горы на горизонте – все было белым.

Все, кроме неба.

Небо было ярко-голубым – и от этой звонкой сини снег казался еще белей, еще ослепительней.

– Так что там про косолапого? – Рита снова уставилась на Ланкастера. – Про индейцев?

– Это не про индейцев, – он засмеялся. – Это про меня.

Ну, еще бы, молча ухмыльнулся я, а про кого же еще!

И подумал, что зря не взял солнечные очки.

Ритина подруга (ее имя вылетело из моей головы сразу же после знакомства) по-приятельски ткнула меня локтем и показала в окно.

Я поглядел. Там был такой же лес, как и с моей стороны.

Она что-то сказала, я не расслышал, но, кивнув, согласился. Подруга тоже закивала.

Она была загорелая, как мулатка, – этот загар на грани копчености казался мне вульгарным и особенно неуместным на зимнем фоне. Шумная, бесцеремонная, как ворона, она постоянно дотрагивалась до меня – говоря что-то, тыкала своим тощим пальцем в рукав моей куртки или дотрагивалась до колена.

Похоже, я ей нравился, и она строила на мой счет какие-то планы.

– Кстати, вы знаете, – Ланкастер обратился к Рите. –

Интересный факт относительно медведей…

– Что они косолапые? И любят мед? – не сдержался я.

Он засмеялся, мельком взглянул на меня в зеркало.

– Да, Игорь. Именно мед и именно косолапость.

Меня удивило, что он запомнил мое имя, хоть и произносил его без мягкого знака на конце, к чему, впрочем, за четырнадцать лет я уже успел привыкнуть. В Америке это имя ассоциируется не со Стравинским или героем оперы Бородина, а с персонажем из кинопародии на «Франкенштейна» – там Игорем звали пучеглазого горбуна-недоумка, который вместо нормального мозга притащил доктору из морга мозг убийцы-маньяка. Со всеми вытекающими последствиями…

– Медведь – самый священный зверь. Он является тотемом по всему земному шару. На всех континентах.

– Ланк, – мулатка капризно ткнула его в спину малиновым ногтем. – Что такое тотем? Я знаю, конечно, в принципе. Типа талисман, и все такое… Просто хотелось от вас услышать, профессионально…

– Ну, по профессии я не этнограф и не антрополог, – Ланкастер засмеялся. – Я ветеринар. На пенсии. А насчет тотема вы, Моника, правы.

«Моника», – подумал я.

И имя-то у нее дурацкое. Как крыльцо о трех ступеньках:

мо-
ни-
ка.

Мулатка, победно ухмыляясь, опять ткнула меня в колено. На передних зубах у нее краснела полоска помады.

– Дело в том, что одним из признаков тотема является запрет на произнесение его имени, – Ланкастер затормозил перед внушительной колдобиной и на первой передаче осторожно преодолел препятствие.

Дорога сузилась в одну полосу и пошла в гору.

Мне подумалось: интересно будет, если нам кто-нибудь поедет навстречу…

Лес расступился, мы оказались неожиданно высоко, внизу белела идеально плоская равнина – то ли поле, то ли застывшее озеро. Дальше шли холмы, покатые и какие-то ватные на вид. За ними белыми великанами выступали горы.

– Наши предки считали, что, произнося имя или название опасного явления, предмета или болезни, они могут материализовать его, вызвать к жизни. Так, вместо слова

«мертвец» – говорили «усопший», вместо «дьявол» – «лукавый» или «нечистый». Изначальное название медведя было полностью вытеснено. Причем во всех языках.

– Жутко любопытно! – воскликнула мулатка. – Только непонятно. Как же было вытеснено, если вот оно, слово: медведь.

– Это эвфемизм, – сказал я непонятливой Монике. – Слово-заменитель.

– А-а, – протянула мулатка неуверенно.

– А вы чем занимаетесь? – поинтересовался Ланкастер у меня.

– Профессор литературы, – ответил я. – Преподаю в Миделберри.

Рита повернула удивленное лицо.

– Русская литература, девятнадцатый, двадцатый век, – скромно продолжил я. – Занимаюсь переводами, сделал новый перевод «Приглашения на казнь». Владимир Набоков, знаете?

– А! Это про педофилов! – вспомнила Моника. – Да?

– Нет, – терпеливо возразил я. – Это про другое.

– А сами не пишете? – спросила Рита.

Голос у нее был мягкий, спокойный, а губы чуть пухлые, почти детские.

– Нет, – быстро соврал я. – Времени нет, да и вообще… А эвфемизмами увлекся, когда переводил Шаламова. Там в рассказах употребляется много тюремной лексики, которая в переводе совершенно теряет смысл, если ее переводить как… – я запнулся. – Впрочем, это совсем не важно.

– А медведь? – Рита улыбнулась.

Она улыбнулась мне первый раз со вчерашнего дня.

– С медведем все просто, – я воодушевился. – Медведя мы потеряли. Верней, утратили то, табуированное слово. По-английски «bear» означает «бурый», по-русски «медведь» – это «поедающий мед», даже латинское «урсус» – тоже эвфемизм, пришедший из древнеиндоевропейского языка…

– Поэтому его и называют «косолапым» и «топтыгиным»? Тоже эвфемизмы?

Рита почесала кончик носа. Очень милый жест.

– У ирокезов медведя зовут «хозяин», – встрял Ланкастер. – А у индейцев чероки…

– Кстати, забавная трансформация произошла в польском, – перебил его я. – В польском языке эвфемизм «медведь» сам стал табу и превратился путем перестановки слогов в «ведмидя».

– Да, кстати! А тут медведи есть? – спросила Моника, кивнув в окно. – Водятся вообще?

– Конечно! – отчего-то радостно воскликнул Ланкастер. – Я ж

с этого и начал!

– Ну так рассказывайте! – потребовала Моника. – Рассказывайте!

2

– Прошлым маем, где-то в самом конце месяца, – не спеша начал Ланкастер. – Яблони почти отцвели. Помню, ночью была буря, а с утра вся река стала бледно-розовой от опавшего яблоневого цвета. Как цветущее поле…

Он отпустил руль и плоской ладонью сделал плавный жест.

– Там, у старого железнодорожного моста, течения почти нет и берег пологий. Там я и спустился. У меня двухместное каноэ, настоящее, берестяное, я его выменял в резервации оджибва на морской бинокль и коробку бурбона. Лет десять назад… Каноэ легкое, маневренное. Я думал от моста до Немецкой мельницы сплавать. Где-то миль шесть в оба конца.

Лес снова подступил к самой дороге. Стало темно.

Наш джип цеплял тяжелые лапы елей, снег с глухим шорохом осыпался на крышу и заднее стекло.

– Я вывел каноэ на середину реки, перестал грести. Лодку едва тянуло ленивым течением. Еле-еле… Я плыл среди белых яблоневых цветов. Как во сне. Казалось, что и река, и лодка стоят на месте, а прибрежный лес, отмели, камыши кто-то медленно тащит на север… Небо тоже было неподвижным и можно было подумать, что я со своей лодкой нахожусь в центре земной оси и планета неспешно вращается вокруг меня.

Ланкастер засмеялся.

– У вас отличный слог, – сделал я ему комплимент. – Для ветеринара. Вы писать не пробовали?

– Да времени как-то не было. Может, потом, на старости лет. Поэкспериментирую…

Я подумал, что мне сорок восемь и я уже почти поставил на себе крест – амбиций подобного рода у меня уж точно не осталось.

Дай Бог не растерять, что накопил, не позабыть, чему научился.

– Меня удивило, что вокруг не было ни души, – продолжил Ланкастер. – За мостом Слепая балка, там берег крутой, омуты. Сом крупный берет. А тут – ни одной лодки, ни одного рыбака. Я вырулил на середину, начал грести. Вдруг боковым зрением вижу – темная тень на том берегу. Шмыгнула меж стволов, скатилась в реку. Беззвучно, как бобер.

– Ой! – по-девчачьи пискнула Моника. – Медведь?

– Он самый. – Ланкастер сделал паузу. – Гризли. От меня до него было футов сорок-пятьдесят. Я так понял, косолапый намеревался переправиться на западный берег. Он плыл по диагонали, я начал подгребать к нему. На середине я его нагнал, он обернулся и поглядел на меня, впрочем, без особого интереса. И тут до меня дошло: это ж мой шанс отшлепать косолапого! Я уже не юноша, но ведь лучше поздно, чем никогда!

– Ведь так, профессор? – почему-то обратился он ко мне за подтверждением.

Я пожал плечами.

– Мы плывем, плывем рядом. Мне слышно, как он пыхтит. Из спины торчат нос, уши и круп. Круп! Именно то, что мне нужно! Я подгреб вплотную, перегнулся… – он драматично замедлил речь, поднял большую ладонь. – Шлеп!

– Ой! А он? – пискнула Моника.

– Удивился! И решил, что я его приглашаю в лодку. Составить мне компанию. Медведи – те же собаки. Они, собственно, и относятся к подотряду псообразных. Мне вообще кажется, что неандертальцы приручили собак, а не медведей исключительно из соображений экономии. Прокормить проще.

– И кошек вместо тигров, – добавила Рита с иронией.

– А дальше? Дальше что? – заегозила нетерпеливая Моника.

– Мой косолапый поступил так, как поступила бы любая собака – начал карабкаться в лодку. У псообразных, в отличие от кошачьих, когти не убираются. У моего парня когти были – во! – Ланкастер выставил указательный палец, для пущего эффекта согнув его крючком. – Он лезет, лодка на бок. Я на другой конец лодки – для равновесия. И оттуда его веслом охаживаю. Он, дурачина, решил, что я с ним играю – весло поймал и перекусил как щепку. И на меня полез. Ну, я сказал все, что про него думаю, и сиганул за борт!

Ланкастер затормозил, осторожно, чтоб не застрять в снегу, съехал на обочину.

Заглушил мотор.

– Ну, короче, доплыл до берега. Там круто было, вывозился весь в глине, пока выбирался. – Он засмеялся. – Поднялся. Гляжу, мой топтыгин, устроился, как барин, в лодке, даже лапы на брюхе сложил. И на меня через плечо взглянул. Небрежно посмотрел и отвернулся. Так и уплыл по течению.

– Каноэ не жалко? – спросил я.

– Жалко. Отличная лодка была.

Ланкастер вынул ключ из замка зажигания, кинул в бардачок.

Захлопнул крышку.

3

Снаружи оказалось морозно и сухо.

Метрах в ста на обочине я увидел знак – ромб с черным силуэтом лося. На знаке белела снежная папаха набекрень.

Рита задрала голову, выдохнула вверх струю густого пара. Моника натянула капюшон с лисьей оторочкой и стала напоминать смуглого зверька. Ланкастер распахнул багажник, выкинул на дорогу четыре пары плетеных снегоступов, похожих на самодельные ракетки для большого тенниса. Снегоступы шлепнулись на дорогу со стеклянным звоном.

– Разбирайте! – сказал он, весело оглядывая высокие деревья.

Я снял перчатки, начал пристегивать ремешки коченеющими пальцами. Кое-как справился с правой ногой, левая подворачивалась и никак не хотела влезать в промерзшую сбрую.

– Помочь? – предложил мимоходом Ланкастер.

Рита и Моника справились быстрее меня. Я, чувствуя себя полным дураком и матерясь вполголоса, наконец затянул ремень на левой ноге, поднялся.

– План такой! – Ланкастер бодро хлопнул в ладоши.

Он был без перчаток и шапки, в кургузой кожанке поверх фланелевой рубахи, расстегнутой до третьей пуговицы.

– Идем на восток. Огибаем Ведьмину падь. Это мили полторы. Выходим к реке у Бобрового затона. Идем вдоль реки, полмили где-то, там прошлой зимой я приметил берлогу.

– Ну, не-еет! – Моника замахала малиновыми варежками. – Только не в берлогу!

– От реки движемся вверх на север, – Ланкастер не обратил внимания на кокетливый писк Моники. – Потом выходим через сосновый бор, делаем крюк и возвращаемся сюда. К машине. На все про все – часа три.

Гуськом – Ланкастер, Рита, Моника и я в хвосте – мы вошли в безмолвный лес. Равнодушно и размеренно захрустел наст. Клены и дубы казались мертвыми – кора в инее, стеклянные ветви – сама мысль, что через четыре месяца на этих ветках проклюнутся – ярко-зеленые, сочные липкие листья, казалась нелепой.

Все вокруг было мертво, скучно, бесцветно.

Настроение портилось. Я с неприязнью разглядывал спину Моники – она, косолапя, старалась ступать след в след, беспечно отпуская хлесткие ветки, от которых я уворачивался с медленно закипающим раздражением. Меня совершенно не интересовал этот мертвый лес, мне было все равно, чем отличается канадский клен от клена красного, мне было плевать, какой именно зверь оставил следы на снегу, куда и зачем этот зверь направлялся.

Я потащился с ними из-за Риты.

Которая, впрочем, не обращала на меня никакого внимания.

Зацепившись за сук, я сбился с шага, снегоступ застрял и расстегнулся. Стараясь удержать равновесие, я шагнул в сторону и провалился по пояс. Штанина задралась, колючий снег полез внутрь сапога. Цепляясь за ствол, я попытался подняться, ветка сломалась, и я завалился на спину.

Кораллово-красный капюшон Моники, похожий на дурацкий колпак, покачиваясь, уплывал все дальше и дальше.

4

Три с половиной года назад, в конце мая, я ушел от своей жены.

Мы прожили вместе двенадцать лет без двух недель, прожили вполне сносно, порой почти счастливо. Вспоминаются тихие вечера с янтарным светом старых абажуров, пресные ужины в скучных ресторанах со степенными коллегами, вернисажи каких-то занудных художников…

Я ушел к своей бывшей студентке, которая была вдвое моложе меня.

За день до этого я сидел в приемной у дантиста и листал цветной журнал. Печатной продукцией этого пошиба был завален низкий столик у окна: там было несколько замызганных номеров «Мы» – про жизнь известных людей, с порнографией для автоманов – с развратными снимками шикарных лимузинов и порочных гоночных машин, пестрая дребедень про тряпки и про правильное сочетание цветов в интерьере.

Я листал издание, относящееся к классу «мужских журналов». Пуританская эротика, похожая на рекламу неважного женского белья, мастер-класс по смешиванию коктейлей с текилой, нудное интервью с неизвестным мне телеперсонажем, ботинки, часы, что-то про одеколоны.

Меня привлек ярко-красный заголовок «Твоя жизнь: что еще надо успеть».

Подход был утилитарный – статья состояла из тридцати шести пунктов и предварялась подзаголовком, похожим на предупреждение на сигаретной пачке:

«Тридцать шесть фантастических идей, неожиданных возможностей, опасных приключений и откровенно дурных советов, которые ты можешь воплотить в жизнь, перед тем как сыграешь в ящик. Редакция не несет никакой ответственности за последствия твоих действий».

Содержание оказалось пошлым.

Некоторые советы были просто глупыми. Под номером четыре мне советовали оставить в ресторане чаевые, размер которых мог бы испортить мне настроение. Советовали пострелять из «глока». Еще была идея – выбрать двух друзей и отправиться с ними путешествовать в дикое место. Степень дикости места в статье не определялась.

Пятнадцатый номер предлагал добровольно остановиться и помочь поменять колесо незнакомцу. В скобках было добавлено – мужского пола.

Семнадцать – разожги костер в лесу и переночуй рядом.

Двадцать два – возьми гитару, иди в метро и «напой» себе на ужин.

Мне понравился тридцатый пункт: «Выйди в океан и иди под парусом без остановки три дня и три ночи в любом направлении». Понравился концептуально, как идея, поскольку яхты у меня не было и не предвиделось.

Пункт тридцать пятый озадачил: «Попробуй любить кого-нибудь, кроме себя».

Я задумался, перевернул страницу.

Прочитал последний пункт, тридцать шестой.

В коридор выглянула медсестра и пригласила меня к доктору. Мне показалось, что приемная, весь этаж, все здание чуть качнулось, словно раздумывая: ухнуть ему вниз или нет.

Я перечитал тридцать шестой пункт еще раз и отложил журнал.

Не дыша, поднялся. Тихо ступая, словно боясь оступиться, вышел в холл и вызвал лифт.

Пункт тридцать шестой гласил: «Начни жить, сукин сын. Начни сегодня».

Я никогда не употреблял наркотики, трава, разумеется, не в счет. Следующие три месяца моей жизни слились в восхитительный полет – оказывается, если падать с большой высоты, то можно убедить себя, что ты летишь. Это работает вплоть до момента соприкосновения с землей. Впрочем, об этом нюансе я не думал.

Я вообще тогда не очень думал, эмоции и инстинкты отлично заменили нудный мыслительный процесс, мой потасканный организм неплохо функционировал на смеси адреналина с тестостероном. Я сбросил восемь фунтов, стал поджарым и смуглым, сбрил профессорскую бородку, а после сгоряча побрил и голову. Когда череп загорел, я стал напоминать отставного велогонщика, уволенного за применение допинга.

Те три месяца, три восхитительных, безумных месяца, сто

лучших дней моей жизни, я постарался забыть, вычеркнуть. Чтобы мысленно вернуться туда, нужно пройти через такую толщу боли, такую толщу вины, что легче удавиться. Жизнь безусловно устроена на принципе равновесия: затертое «за все надо платить» обретает выпуклость и блеск, когда неожиданно оборачивается своим шершавым боком лично к тебе.

Мы охотились на акул у острова Мауи, ныряли с аквалангом и рыскали по затонувшему испанскому галиону возле Тортуги, прыгали с парашютом где-то в дельте Амазонки, продирались сквозь джунгли Коста-Рики, где самым ядовитым зверем оказалась мелкая изумрудная лягушка: ее кожа выделяет яд такой силы, что достаточно дотронуться – и летальный исход гарантирован через пятнадцать минут.

Противоядия нет.

Вспоминается безумное путешествие по Тунису на дрянном джипе, особенно ночь, когда мы остались без бензина на заброшенном шоссе на полпути к Сахаре…

Двадцать первого августа мне позвонили из госпиталя и сообщили, что моя жена попала в аварию. В ее страховке я по-прежнему значился как ближайший родственник. Двое суток она пролежала в коме, а после тихо умерла.

Начались мрачные хлопоты, я вернулся в свой бывший и очень пустой дом. На похороны потянулась родня, знакомые. Я бесшумно бродил по пыльным комнатам, трогал ее вещи, осиротевшие и хмурые; казалось, что даже мебель поглядывает на меня с презрением.

Меня добило, что никто не знал, что я от нее ушел.

Она никому, никому не сказала, что я ее бросил.

5

Они звали меня дуэтом – Ланкастер баритоном, Моника сопрано. Голоса Риты я не расслышал.

Барахтаясь в сугробе, я отозвался. Крикнул, что иду.

Человек на удивление беспомощен в глубоком снегу: я кое-как дотянулся до осины, выпрямился, пристегнул чертов снегоступ. Снег, набившийся в сапог, начал таять.

– Куда же вы… – игриво протянула Моника, – запропастились, а?

Ланкастер мельком, как учитель на двоечника, взглянул на меня. Рита, присев на корточки, пыталась сфотографировать телефоном что-то на снегу.

Какие-то следы.

– А что, тут сигнала нет? – Рита, выпрямилась, вытянула руку с телефоном вверх.

– Тут вообще ничего нет, – засмеялся Ланкастер. – Вон там – канадская граница, за той сопкой, где две сосны, видите? Оттуда на север – миль двести глухой лес. Почти до самого Квебека, – он бодро потер ладони. – Ладно, пошли дальше!

Теперь Моника время от времени оглядывалась, должно быть, проверяла: не потерялся ли я опять.

Шагали бодро, я смирился с промокшим носком. Даже начал попадать в общий ритм.

– Ага! – Ланкастер остановился, поднял руку. – Так… Что у нас тут… Ну-ка, ну-ка, поглядим.

Он присел на корточки, поманил нас жестом. Мы обступили его. На снегу валялся какой-то мусор, непонятная шелуха.

– Какие мысли, какие идеи, следопыты? – Он задорно оглядел нас. – Кто тут наследил?

– Белка? – неуверенно предположила Рита. – Или птица?

– Не просто птица! – воскликнул Ланкастер. – Это черноклювый королевский дятел, третий по величине в отряде дятлообразных. После тукана и большого мюллерова дятла. Размах крыльев – три фута!

Он развел руки.

– Дятел? – Моника сделала круглые глаза. – Во дела!

У толстого клена на снегу желтела светлая стружка – тугие завитки, как от крупной дрели. Я задрал голову, весь ствол был в дырах, напоминавших овальные дупла. Я зачем-то постучал по клену, звук получился полый.

– Да, дерево мертвое, – Ланкастер тоже стукнул в ствол кулаком. – Когда дерево начинает болеть, появляются муравьи, жуки-точильщики. Они поселяются под корой, выедают ствол изнутри. Вон, дупла идут почти до верхушки: значит, колонии муравьев оккупировали весь ствол.

– Именно муравьи? – спросил я. – Может, жуки?

Ланкастер легко нагнулся, поднял с земли стружки, разложил на ладони. Достал из кармана складную лупу.

– Муравьи, – сказал он. – Поглядите сами.

Среди древесного мусора чернели трупы муравьев, расчлененные, но вполне узнаваемые. Их головы были удивительно похожи на противогазные маски.

– Хитиновый покров не разрушается желудочным соком, то, что вы видите – это внешний, так сказать, скелет насекомого.

Ланкастер приблизил ладонь к Монике.

– Фу! Это ж… – она пыталась найти слово.

– Это помет. Фекалии. Черноклювый дятел находит пораженное дерево, начинает долбить. Потом в дупло просовывает язык – а язык у этой птицы длинней моей ладони, восемь-девять дюймов!

Рита достала телефон, сфотографировала фекалии.

Мне становилось невыносимо скучно. Небо затянуло бледной дымкой, серебристой, как рыбье брюхо.

Пошли дальше.

Через минут пять наткнулись на следы койота. Ланкастер, показывая на пальцах, объяснял, как устроена лапа койота и чем ее строение отличается от лапы зайца. Сложив пальцы в щепоть, он начал тыкать ими в снег. Получались очень убедительные отпечатки звериных лап.

– Это – русак. Два длинных, один короткий. А вот – волк. Тут равные интервалы. След лисы выглядит так. Очень похож на рысь. Но есть одно отличие. Ну, кто знает?

– У лисы хвост! – крикнула Моника.

– Когти, – сказала Рита. – У кошек когти убираются.

6

Трудно объяснить, зачем я потащился на эту экскурсию.

За кем – это ясно. Вчера в лыжной раздевалке, когда я столкнулся с Ритой, мне почудилось, что оцепенение, в котором я пребывал три с лишним года, внезапно дало трещину.

Скорее всего, мне это показалось.

Рита сняла лыжи снаружи, в дверях зацепилась рукавом. Ее лыжная палка угодила острием мне в бровь. Крови не было, но Рита страшно перепугалась, мне же происходящее показалось забавным.

– Чуть ниже, и вам пришлось бы выходить за меня замуж, – строго сказал я. – Но поскольку глаз цел, ограничимся ужином. Идет?

Она опоздала – я допивал второй бурбон.

За ужином мы разговорились, верней, разговорился я. Зачем-то рассказал ей, что Набоков был настоящий барин – не закрывал своего зонтика, просто передавал его жене. А когда он писал письма, Вера лизала и приклеивала марки к конвертам. Рассказал, что Гоголь умолял как следует проверить перед похоронами, умер ли он на самом деле – больше всего он боялся быть похороненным заживо. Похоже, именно это с ним и случилось…

– А от меня муж ушел, – неожиданно сказала она. –

Шестнадцатого июля. Собрал чемодан и ушел. Ни слова не сказал, просто взял и ушел.

На кухне что-то грохнуло, и кто-то громко выругался по-французски. Вздумай я вставить подобный сюжет в рассказ, критики бы меня заклевали. Но жизни плевать на критиков, свои истории она плетет без оглядки на логику и здравый смысл, не страшась дешевых штампов и наспех состряпанных совпадений.

Рита посмотрела в сторону, потом на меня, улыбнулась. Виноватым жестом заправила прядь за ухо.

Эта улыбка и этот жест застали меня врасплох.

Так улыбалась моя жена.

Именно в этот момент в сонном, полупустом ресторане, залитом темным медовым светом, на меня накатило жуткое и восторженное чувство, словно я участвовал в тайном магическом ритуале, словно на моих глазах не просто подвергались сомнению законы физики, а рушился сам принцип устройства вселенной. Моей вселенной – тоскливой и пустынной, карту которой я нацарапал глухими ночами, где путь от залива отчаянья до мыса надежды измерялся тысячей кошмарных снов и казался непреодолимым…

Я сжал кулаки, скомкав под столом край скатерти.

Будто пытался удержаться на краю бездны.

Мне нужна была срочная помощь, и я кинулся к тому, кто меня никогда не подводил.

– Вот послушайте, – торопливо начал я. – «Зажигаются окна и ложатся, с крестом на спине, ничком на темный, толстый снег: ложится меж них и веерный просвет над парадной дверью. Не помню, почему мы все повысыпали из звонкой, с колоннами, залы в эту неподвижную темноту, населенную лишь елками, распухшими вдвое от снежного дородства: сторожа ли позвали поглядеть на многообещающее зарево далекого пожара, любовались ли мы на ледяного коня, изваянного около пруда…»

– Господи… Как красиво… – едва слышно проговорила Рита. – Что это? Кто это?

Ответить я не успел – через зал, звонко цокая шпильками в мрамор, к нам решительно приближалась женщина с отчаянно загорелым лицом. Ее одежда напоминала костюм матадора, как если бы матадор решил вырядиться чертом. Малиновая куртка с золотым шитьем и каким-то фальшивым мехом, высокие сапоги. Черная кожа тугих лосин лаково сияла на выпуклостях и изгибах нижней части тела: казалось, она вот-вот треснет и все прелести вывалятся наружу.

– Ага! Вот ты где! – голос у матадорши оказался резким. – Ты не представляешь, что мы делаем завтра!

Она восторженно выпучила глаза, с грохотом придвинула соседний стул. По-вороньи быстро оглядев стол, ухватила оливку из моего салата.

– Экскурсия «Следы на снегу»! Мы идем с настоящим следопытом, он нам будет рассказывать про следы, про зверей. Тут, говорят, даже медведи есть! Представляешь?

– Медведи зимой спят, – мне стоило усилий оставаться вежливым. – Спят в берлоге.

– Как это? – удивилась женщина-матадор. – Откуда у вас такая информация?

– Я из России. Медведи – наша узкая специализация.

Она с интересом оглядела меня. Я ласково ей улыбнулся.

– Моника! – она протянула мне ладонь.

Я пожал, назвал себя.

Мне было очевидно, что Моника принадлежала к столь распространенному в Америке классу избыточно эмансипированных, невежественно-агрессивных, самоуверенных и скверно воспитанных дур.

Рита извинилась, вышла из-за стола, я взглядом проводил ее спину. Моника кликнула официанта, заказала себе мартини. Приблизила ко мне оранжевое лицо.

– Я вас умоляю, – горячо зашептала она. – Рита – моя лучшая подруга, она прошла через такой ад… Этот подонок Алан, ее бывший муж…

– Она мне все рассказала, – перебил я Монику. – Успокойтесь.

Моника заглянула мне в глаза и, помедлив, ухмыльнулась, словно мы с ней уже делили какую-то гнусную тайну. Положила на мою руку свою ладонь, горячую и сухую, как галька на пляже.

У меня впервые в жизни появилось почти непреодолимое желание ударить женщину.

Ударить прямо в лицо.

7

Ланкастер махнул рукой, мы пошли.

Я снова оказался в хвосте за Моникой. Лес начал редеть, кряжистые сосны сменились елками, которые хороводились отдельными семейками – белые и остроконечные, они походили на заколдованные замки, занесенные снегом.

Потом пошли тощие бледные осины и сразу посветлело.

То ли я освоился со снегоступами, то ли наст здесь был покрепче, но я перестал проваливаться, и наша прогулка начала

почти доставлять мне удовольствие. Я стянул лыжную шапку и сунул ее в карман. На ходу зачерпнул пригоршню снега, поднес к губам. От снега пахло ледяной свежестью – так пахнет березовый сок ранней весной.

Лес остался позади.

Мы вышли на покатый холм, его бок, зефирной белизны, плавно скатывался к замерзшей реке. Двинулись вдоль берега, кое-где топорщились островки высохших серых камышей. Лед был занесен снегом, река больше напоминала идеально ровное поле для какого-то циклопического спортивного состязания. На другом берегу чернел глухой сосновый бор.

Ланкастер, что-то заприметив, остановился и поманил нас. На снегу отпечатался странный узор, похожий на гигантскую хризантему.

– Ну что? – спросил он, оглядывая нас. – Есть идеи?

Я нагнулся: симметричный отпечаток был полметра в диаметре. Я провел пальцем по длинным заледеневшим бороздкам, напоминавшим острые серповидные лепестки. Узор походил на отпечаток античного орнамента.

– Это, наверное, снежная медуза, – серьезным тоном предположила Моника.

Если бы я не знал, что она полная дура, то предположил бы, что у нее прорезалось английское чувство юмора.

– Что? – удивился Ланкастер. – Кто?

– Ну, есть же снежный человек? – Моника почти не смутилась. – Его тоже мало кто видел. А у нас – медуза…

Ланкастер захохотал, с той стороны откликнулось эхо.

Мы с Ритой тоже засмеялись.

– Ну-ну! Над Дарвином тоже потешались! – Моника повернулась к нам воинственным профилем. – И над Колумбом! Когда он Америку открывал…

– Безусловно, остается незначительный шанс, что нам посчастливилось наткнуться на «медузас книдария унцис» – Ланкастер развел руки. – Или смириться с фактом, что перед нами отпечаток крыльев ворона черного из отряда воробьинообразных.

Я не подозревал о принадлежности ворон к отряду воробьинообразных, впрочем – и в частности, и в целом, – мне было плевать на всю эту зоологию. Я взглянул на Риту, она тут же отвела глаза. На ее лице еще теплилась улыбка, тусклая тень нашего общего смеха.

Я хотел ей что-то сказать, но она уже повернулась ко мне спиной.

– Посмотрите, – Ланкастер наклонился. – Вот тут, видите,

едва заметные отпечатки лапок, видите? Вот коготь… На берегу влажность выше, поэтому наст крепче, и птичьи следы почти не разобрать. Тут ворон взлетал, а взлетают они на подскоке – делают несколько прыжков, отталкиваются и…

Ланкастер ладонью изобразил крутой взлет.

– Ворон – умнейшая птица! У Эзопа есть басня про ворона, который, чтобы напиться, бросает камни в кувшин с водой, уровень воды поднимается, и хитрая птица таким образом утоляет жажду. Можно сказать, ворон – предтеча Архимеда. – Ланкастер улыбнулся. – Кстати, ворон в воздухе имитирует полет хищной птицы. Для придания пущей важности, я думаю.

– Пижон! – Моника неодобрительно покачала головой и добавила многозначительно:

– Попадались мне такие… Из отряда воробьинообразных. А что это за гул?

Мне тоже послышался глухой рокот, звук едва различимый и монотонный, похожий на бас гигантского мотора.

Казалось, он шел из-под земли…

– Метро, – я беспечно пожал плечом и указал на восток. – Вон там, за горкой, станция «Ведьмина Падь», следующая остановка – «Бруклинский мост».

– Нет, действительно? – спросила Рита. – Похоже на дальний гром.

– Это голос Ойате-Ду, – Ланкастер повернулся к застывшей реке. – Ведь не поверишь, что под этим мертвым льдом несется неукротимый поток. Исток реки – у озера Шамплейн, течет она строго на восток и впадает в Атлантический океан. Река змеится по границе и если плыть по Ойате-Ду, то попеременно будешь оказываться то в Канаде, то в Америке…

Он замолчал.

Повернувшись к замерзшей реке, мы стояли и слушали.

В этом утробном рокоте мне вдруг почудилась какая-то тайная угроза. Действительно, Рита была права: звук напоминал надвигающуюся бурю. Это был тот случай, когда приближающуюся опасность ощущаешь на уровне животного инстинкта. Небо посерело и навалилось на макушки сосен на северном берегу. Стало зябко, я достал из кармана шапку, натянул до ушей.

– Тут была земля могикан, на западе жили гуроны. – Ланкастер откашлялся в кулак. – Река представляла особую ценность: краснокожие ведь так и не изобрели колеса, поэтому передвигались пешком или на лодках.

– Могикане? – спросил я. – Это из Фенимора Купера?

– Да, «Зверобой», «Следопыт» и прочее. Не знаю, как там

насчет литературы, но относительно биологии у меня к нему серьезные претензии. К Фенимору.

– С литературой там тоже неважно. Каждая вторая сцена открывается с того, что герой слышит, как «где-то рядом, в темноте, хрустнула ветка». И сразу после…

Я запнулся.

До нас донесся вой.

Моника и Рита настороженно посмотрели на Ланкастера.

Звук напоминал вой собаки.

– Койот, – успокоил девушек наш проводник. – Не волнуйтесь, барышни.

Ланкастер посмотрел вверх, потом на часы.

– Ну…

– А вот там что? – перебила его Моника. – Как будто жилище чье-то, хижина какая-то.

Она указывала малиновой варежкой на небольшой затон – там изо льда торчала остроконечная крыша вроде деревенской хаты.

– Бобры! – оживился Ланкастер. – Это бобровая крепость. Канадский бобер – удивительный зверь! У него самая высокая плотность шерсти на квадратный дюйм: семьдесят тысяч щетинок, представляете? Когда он ныряет, его кожа остается сухой, влага не проникает сквозь шерсть.

– Смотрите, там настоящая плотина! – Моника, загребая снегоступами, кособоко побежала к затону.

– Пошли! – махнул рукой Ланкастер. – Там, должно быть, ручей. Бобры обычно устраивают запруды в таких местах.

Из снега в строгом порядке торчали остроконечные бревна внушительного диаметра. Картина напоминала какую-то фортификационную конструкцию – варварскую, но сработанную на совесть.

– И это все бобры? – Моника изумленно остановилась. – Зубами?

Она достала карманную камеру, блеснула вспышкой. Отошла, сделала еще снимок. Подошла вплотную, стала почти впритык фотографировать бревна, похожие на карандаши, заточенные старательным, но неумелым великаном.

– Зубами! Надо же! – восторгалась Моника. – Игорь, сфотографируйте нас с Ритой!

Она протянула мне камеру.

– Там большая кнопка. Рита, иди сюда! – Моника обняла ее за плечи, выставила белые зубы.

Я нажал на большую кнопку. Затвор щелкнул.

– Давайте еще, чтоб вот эти столбы замечательные попали в

кадр. Их видно, Игорь? Столбы видно?

Я отошел назад, захватил в кадр столбы. Сфотографировал.

– Давайте теперь с бобровым домиком! Рита! Давай с бобровым домиком!

Моника, переступая снегоступами, боком спустилась на лед и обошла «бобровый домик» – сучья, собранные в конус двухметровой высоты.

– Рита, иди сюда!

Рита явно была не настроена фотографироваться. Она отмахнулась, делая вид, что поправляет ремешки креплений.

– Ланкастер! – не унималась Моника. – Идите тогда вы сюда. Бобровый домик видно? Игорь! Я вас спрашиваю.

Я мотнул головой, послушно навел камеру.

– Погодите! – Ланкастер ловко спустился на лед. – Моника, погодите! Туда нельзя, там…

Он не договорил – раздался треск.

Гулкий, с мощным оттягом.

Звук был такой, словно сломалось что-то очень важное, чуть ли не земная ось.

Моника взвизгнула, снег под ней мгновенно потемнел, и она, будто цирковая кукла, вдруг сложилась гармошкой. Из грязно-лиловой полыньи торчала голова в остроконечном капюшоне и руки в ярко-малиновых варежках. Она, словно в агонии, суетливо и бессмысленно загребала руками снежную жижу и визжала.

Меня словно парализовало, я замер, продолжая пялиться в видоискатель камеры. От этого происходящее выглядело еще невероятней.

Ланкастер, не доходя трех шагов до полыньи, бросился на лед и, распластавшись как краб, быстро пополз по мокрому снегу к Монике. Она сорвала голос и теперь сипло выла на одной ноте. Ланкастер дотянулся, ухватил Монику за руку. Ладонь выскользнула, Ланкастер отбросил варежку. Подполз ближе, вцепился в рукав куртки.

Начал тянуть.

Казалось, что Монику там, под водой, кто-то держит за ноги и не пускает. Течение, догадался я, плюс снегоступы – они вообще как плавучий якорь…

Рита спрыгнула на лед и стала обходить полынью слева. Ланкастер, заметив ее, зарычал:

– Назад! На берег!

Рита испуганно застыла, потом медленно опустилась на корточки, прижав ладони к лицу.

Ланкастеру удалось вытянуть Монику до пояса, он что-то отрывисто говорил ей. Она, безумная, с раскрытым ртом и

белыми глазами, помогала, отталкивалась свободной рукой ото льда. Рука беспомощно скользила по снежной жиже.

– Игорь! – услышал я крик Риты. – Сделайте что-нибудь!

– Господи, – пробормотал я. – Ну что? Что?

Я осторожно спустился на лед, вытянул из-под куртки шарф. Лег на живот и пополз к Ланкастеру.

Лед поскрипывал – мерзко, стеклянно, – мне казалось, что я ощущаю, как он прогибается под моей тяжестью.

Набросив шарф на снегоступ Ланкастера, я попытался завязать узел. Ланкастер обернулся, красный, с вздувшейся жилой поперек лба. Словно серый червь заполз под кожу.

Мне стало жутко – я слышал, как хрипит Моника, как в полынье утробно шумит река…

Это была быстрая река.

Я затянул узел. Другой конец шарфа намотал на кулак, сжал и стал ползком пятиться к берегу. Шарф натянулся. Уперев локти, я пытался тащить, но вместо этого сам скользил обратно к полынье. Тогда я лег на бок, нашел коленом опору. Мыча и матерясь, принялся наматывать шарф на кулак. Мне показалось, что я их начал вытягивать.

Не знаю, что произошло дальше.

Я услышал хруст, певучий и звонкий, словно кто-то сломал витринное стекло. Не разбил, а именно сломал.

В метре от меня зигзагом пробежала черная трещина. Из нее брызнула вода.

Льдина с Ланкастером встала на попа – за это мгновение я разглядел в толще застывшей воды голубые кристаллы, белые пузыри воздуха и крошечного малька.

Потом льдина перевернулась.

8

Стало тихо.

В полынье журчала река. Я не мог оторвать взгляда от быстрой маслянистой воды. Рядом, на мокром снегу, лежала малиновая варежка.

Я продолжал наматывать на кулак свой шарф.

Пошел снег. Мелкий, почти невидимый, он постепенно становился гуще, пушистей.

Северный берег побледнел, словно его затянули папиросной бумагой. Как в тех старых альбомах, где цветные репродукции непременно прокладывали полупрозрачной шуршащей бумагой, сквозь которую едва проступало изображение. В библиотеке

моего деда было много таких книг. Они пахли теплым коленкором, пылью, типографским клеем. Когда отец привозил меня в Питер, я так любил обосноваться на ковре, разложить эти фолианты – энциклопедии и альбомы – и неспешно листать их. Медленно, медленно, словно во сне, переворачивать страницы, разглядывать старые гравюры и офсетные оттиски. Именно в этой медлительности, я думаю, заключалась магия процесса.

Не знаю, сколько прошло времени.

Снег медленно падал, я снял перчатку и подставил ладонь. Снежинки опускались, таяли и исчезали. Точно так же они исчезали в черной воде полыньи. Касались поверхности и исчезали. Мокрый снег вокруг постепенно покрылся белым, белым занесло трещины. И лишь полынья, как заколдованная, оставалась черной.

Рита сидела на корточках, прижав ладони к лицу, словно пыталась заглушить крик. Она тоже смотрела на темную воду. Ее шапку и плечи засыпало снегом.

– Почему прорубь не заносит? – тихо спросила она.

– Течение, – я стряхнул снег с ее куртки. – Надо идти.

Она подняла на меня глаза.

– А как же… – она показала взглядом. – Как же?..

Я опустился на колени, обнял ее за плечи. Она всхлипнула, уткнулась мне в шею. Я сидел спиной к реке, не видеть эту проклятую полынью уже было облегчением. Моя рука механически гладила Ритину куртку.

– Как я скажу ее матери? – я ощутил на шее горячее дыхание Риты. – Господи…

Я прижал ее к себе еще плотнее, будто это могло что-то изменить.

– Отец умер в прошлом году, – Рита шмыгнула носом. – Мать совсем расклеилась. И она взяла ее к себе. К себе жить взяла. Мать нестарая… Сколько ей? Просто расклеилась… Совсем. Господи…

Рита заскулила, совсем по-детски. Мне этот детский плач показался смешным – и я подумал, что схожу с ума.

– А я в детстве тоже почти утонула. Почти… – проговорила Рита мне в шею. – Там озеро было… Мы с сестрой на баллонах плавали. Такие резиновые, черные, от машин. А потом…

Она замолчала, мне казалось: я слышу шорох, с которым снег ложится на землю.

– Это не страшно… и не больно, – продолжила она. – Сначала страшно, когда еще хочешь жить. Тут очень важно вовремя понять. Понять и решить. Я так все отчетливо помню… Опускаешься, будто паришь. Плавно, плавно, плавно. А сама

невесомая, словно тебя уже и нет. И звуки тают, едва доносятся. Кто-то кричит, собака лает… Сквозь воду небо видно, облака, солнечные зайчики по волнам. А тебя уже нет. Вообще…

Она прерывисто вдохнула и сказала тем же тоном:

– У меня ноги окоченели.

9

Я никогда раньше этого не делал. Наверное, сработала генетическая память. Я быстро расшнуровал ее ботинки, стянул вместе со снегоступами. Снял носки, сунул их себе за пазуху. Зачерпнул снег, растер пятки. Потом начал тереть шарфом. Рита молча наблюдала, словно это происходило не с ней, а с кем-то посторонним.

– Лучше? – спросил я, завязывая шнурки.

Она кивнула.

– Надо идти, – я встал, натянул перчатки.

Она поднялась, огляделась.

– А куда?

Я тоже огляделся.

Начало смеркаться, берег, река, заснеженный лес – все вокруг из белого стало лиловым. Я украдкой взглянул на часы.

– Надо найти наши следы, – уверенно сказал я, подумав, что через час тут будет непроглядная тьма. – И по следам выйти на шоссе.

– Стемнеет. Мы не успеем.

– А если не успеем, то переночуем в лесу. И выберемся утром.

– В лесу? Переночуем?

– Да.

– Ноль градусов. По Фаренгейту. Ты представляешь себе эту температуру?

– Да! – упрямо повторил я.

– И как же ты собираешься ночевать?

– В снегу!

– Ах, в снегу! Отлично! В снегу…

– Да. Мы наломаем ельника, сделаем подстилку и шалаш. Сверху завалим снегом – для тепла.

Рита подозрительно поглядела мне в глаза.

– Ты правда знаешь – как?..

– Конечно, – уверенно соврал я. – Сколько раз ходили в лыжные походы. С ночевкой. Плевое дело. И у нас под Москвой морозы покрепче ваших будут. Там такие минусы стоят! И не по

Фаренгейту вашему. Пошли?

Рита доверчиво кивнула.

10

Следов мы не нашли, их засыпало снегом.

Я продолжал быстро шагать вдоль берега, изредка оборачиваясь. Рита едва поспевала. Все вокруг казалось совершенно одинаковым, я пытался вспомнить: в каком месте мы вышли из леса к реке. Оставалась надежда, что под деревьями можно будет найти нашу тропу.

– Игорь!

Я остановился, оглянулся.

– Мне кажется… – запыхавшись, крикнула Рита. – Мы прошли то место… Ты точно помнишь?

Я уверенно кивнул. Я был уверен, что мы заблудились.

– Все правильно! Пошли, пошли!

Свежий снег был легким, будто сахарная пудра. Мне казалось, что я чувствую, как падает температура, на ворсинках шарфа белел иней от моего дыхания.

Я даже не заметил, когда кончился снегопад.

Небо над рекой потемнело, в ровном сером цвете проявился розоватый оттенок. Где-то там, за облаками, солнце закатывалось за горизонт…

Я знал, что нужно свернуть в лес. Что нужно идти от реки, идти на юг. Что шоссе там, на юге. Но я боялся, что в лесу мы начнем ходить кругами и окончательно заблудимся.

Я боялся, что в лесу нас застигнет ночь.

А ночи мы не переживем.

Когда мне было двенадцать, я провалился под лед. Мой старший брат кормил диких уток – они почему-то остались зимовать в нашем пруду, – и Димка просто помешался на этих утках, на их спасении.

Это стало нашей миссией. Каждый день мы ходили к полынье и бросали им хлеб. Селезень был красавец с малахитовой переливчатой грудью, утка – пего-серая, так себе. Они нас узнавали, хлопали крыльями и забавно крякали. Иногда им удавалось поймать хлеб прямо с лету. Кстати, у утки это получалось получше, если честно, селезень был слегка туповат. Он подпрыгивал невпопад, гневливо бил крыльями по воде и громко ругался.

Полынья не замерзала, потому что там били ключи. Тем утром я бросал куски хлеба, подходя все ближе и ближе к краю.

Лед проломился – и я ушел с головой под воду.

Ушел моментально, как кирпич. Не было ни треска льда, ни процесса падения.

Могу уверенно сказать, что это было самое страшное испытание в моей жизни.

И дело тут не в возрасте, а в готовности – принц Гамлет был прав на этот счет. Ужас состоял в моментальности – у меня не было той грации умирания, о которой рассказывала Рита, мой опыт больше напоминал удар молнии. Только без вспышки. Все мое существо превратилось в комок панического ужаса, ледяной холод и темнота парализовали меня, мысли и чувства отключились, остался лишь страх.

Смертельный страх.

– Игорь! – позвала Рита. – Погоди! У тебя телефон с собой?

Я остановился, обернулся – она тянула вверх руку с телефоном. Я начал рыться по карманам и обнаружил фотоаппарат Моники. Незаметно сунул его обратно. Нашел телефон.

– Ну что? – с надеждой спросила Рита.

Я помотал головой: сигнала не было.

– Мы заблудились? – Рита подошла и заглянула мне в глаза.

– Нет. Дорога там, – я указал в лес. – Я уверен.

– Ну, тогда пошли. Когда стемнеет, мы заночуем, а утром пойдем дальше.

– Пошли! – я быстро зашагал к лесу.

Я не мог выдержать ее взгляда, я не мог ей врать.

Но не знал, как сказать правду.

11

В лесу оказалось светлее, чем я ожидал. Я напоследок оглянулся: небо над рекой стало лиловым, облака куда-то утянуло. На другом берегу, над сиреневой кромкой соснового бора, зажглась бледная звезда.

Температура продолжала падать.

Я размеренно переставлял снегоступы, снег хрустел, за спиной мне в такт шагала Рита. Кончились елки, мы вошли в смешанный лес. Густой подлесок мешал идти, нам приходилось огибать сугробы, завалы, перелезать через упавшие деревья.

Двигаться строго на юг, повторял я, главное – двигаться строго на юг.

Не начать кружить!

Двигаться строго на юг!

Надо сориентироваться по звездам и двигаться строго на юг…

Я поднял голову – среди веток проглядывали тусклые точки ранних звезд. Я понятия не имел, что с ними делать, куда они движутся, в какую сторону вращается земля. Попытался вспомнить какие-то приметы – ничего, кроме мха на северной стороне деревьев, в голову не пришло. Я оглядел ближайшие стволы: там вообще никакого мха не росло.

Стало совсем темно. Пару раз я натыкался на сучья и теперь шагал, выставив перед лицом растопыренную ладонь. Поймав ветку, я ломал ее, отбрасывал в сторону. Снег казался серым как жесть, с тусклым отливом. Серый цвет становился все гуще и гуще.

– Эй! – позвала Рита.

Я остановился.

– Становится темно, – она говорила запыхавшись. – Может, нам сейчас устроить ночлег? Построить твой вигвам, пока хоть что-то видно?

– Ты устала? – спросил я.

Я постарался, чтобы это прозвучало бодро.

– Нет, – неуверенно ответила она. – Нет. Я просто думаю…

– Давай еще немного. Мы уже километра три отмахали…

– Три километра? Это сколько?

– Ну, где-то мили две. Чуть больше. В одной миле…

Совсем рядом раздался вой.

Даже в полумраке я увидел, как Рита вздрогнула.

– Это койот, – быстро сказал я. – Ничего страшного. Просто койот. Маленькая собака. Как пудель.

Я не видел ее лица – просто пятно. Думаю, она тоже не видела испуга на моем лице.

– Все, – твердо сказала Рита. – Я дальше не пойду. Давай строить вигвам.

– Рита… – начал я, но тут вой повторился. Теперь чуть левее.

Мне показалось, что зверь обходит нас.

– Все! – она рубанула рукой перед моим лицом. – Все! Говори, что делать! Копать снег, ломать ветки: говори!

– Рита…

– Не стой истуканом! – Она толкнула меня. – Надо что-то делать!

– Надо идти, – тихо сказал я. – Мы не можем ночевать тут. Мы замерзнем.

Она застыла.

– Но ты же… – начала она растерянно. – Ты же сам говорил. Что вигвам, ельник и ветки… И снег. И снег сверху, да? Для тепла. Ведь говорил же…

– Надо идти.

– Так ты врал? Врал? – Она ударила кулаками мне в грудь. – Ты врал! Дрянь! Сволочь! Как ты смел мне врать?

– Я хотел…

– Ах, ты хотел! – Она повернулась, обращаясь к лесу. – Он хотел! Он, видите ли, хотел! Врун!

– Тебе было бы легче, если б я сказал, что мы сдохнем? – неожиданно для себя самого заорал я. – Легче? Я не знаю, как строить этот чертов вигвам.

– А я тебе поверила, – сказала она с жаром. – Знаешь, поверила. Ты ведь сам говорил: я русский, у нас там зима, мороз. Все я знаю, вигвам в снегу – раз плюнуть! Что ж ты за русский такой?

Она быстро вытерла лицо рукой и, задыхаясь, продолжила:

– Вот у меня в школе был русский – Боб Марголис, вот это был русский! Он из-за меня этого Грэма там отдубасил – ой-ой-ой, мама не балуй! А Грэм нападающим был, шесть футов и кулаки – во! Во!

– Надо идти, – мрачно повторил я. – Рита, надо идти. А то мы сдохнем и нас сожрут койоты.

Она молчала.

Я взял ее за руки, она приблизилась, от нее пахло чем-то сладким вроде карамели.

– От тебя пахнет конфетами, – прошептал я. – Карамельными.

– Это помада, от холода, – также тихо ответила она. – Чтоб губы не обветрились.

12

Мы двигались на ощупь. Рита держалась за мой шарф, я намотал другой конец себе на запястье. Иногда я спотыкался – когда она наступала на концы моих снегоступов.

Ей пришла идея использовать телефон как фонарик. Ее батарея сдохла быстро, мой телефон протянул минут двадцать.

Койот (или кто это там был) двигался рядом, время от времени из тьмы раздавался вой. Я слышал, как Рита испуганно вскрикивала каждый раз. Перед тем как погас мой телефон, я посмотрел на часы и тихо застонал.

Было без четверти семь!

Ночь еще даже и не наступила.

Когда мы перелезали через поваленное дерево, я зацепился за сук и порвал штанину. Я не обратил внимания, но через полчаса

мое колено задубело от холода. Заколкой для волос Рита кое-как залатала дыру.

– Как ты думаешь, – спросила она. – Это больно?

Я сделал вид, что не понял, хотя прекрасно знал, что она имеет в виду.

– Если это как тогда, когда я утонула… – Она подумала. – То ничего. Не страшно.

Она прижалась ко мне, я почувствовал, что она мелко дрожит всем телом. Я обхватил ее, вжал в свою грудь.

– Меня койоты смущают, – глухо донесся ее голос откуда-то из-под моего подбородка. – Вот это, конечно, неприятный момент. Койоты.

Мерзавец, словно догадавшись, что о нем говорят, тут же подал голос.

– А тебя когда-нибудь собаки кусали? – спросила Рита.

– Нет, – соврал я.

Рассказывать, что мне наложили восемь швов и что у меня до сих пор внушительный шрам на бедре, мне совсем не хотелось.

– Меня тоже… – Ее голос становился тише, протяжней, словно она засыпала.

Мне вдруг стало жутко.

Страшно, как тогда, в проруби. В той черной ледяной бездне.

– Рита! Рита! – Я начал трясти ее. – Погоди… Ты что? Я тебе не дам… Слышишь, не дам! Не смей и думать! Рита, ты что?!

Я потащил ее за собой.

– Пошли! Пошли! До шоссе всего полчаса, минут сорок! А ты, понимаешь…

– Игорь, – тихо позвала она. – У меня часы… Светящиеся. Восемь часов сейчас. Восемь, понимаешь?

– Ну и что! Я тебе говорю: шоссе совсем рядом! – закричал я. – Тут, совсем рядом!

Я потянул ее за рукав. Она, словно кукла, послушно побрела за мной.

Медленно, валко…

Оступившись, мы упали. Мне показалось, что она смеется. Я вдруг представил, что она уже умерла, замерзла. Что я остался один. Один в этой чертовой темноте.

– Господи! – закричал я. – Нет, нет, нет! Рита, пожалуйста, я тебя умоляю… Совсем рядом, ведь совсем рядом…

– Во-семь ча-сов… – едва слышно по слогам пропела она.

В этот момент впереди послышался хруст, словно кто-то ломал хворост.

Мы застыли.

Звонко треснула палка, заскрипел снег, я явственно услышал

сиплое дыханье. Кто-то большой и грузный устало выдохнул.

– Что это? – рассеянно прошептала Рита. – Кто?

– Тихо-тихо… – Я встал на колени, подхватив ее, притянул к себе.

Из темноты снова раздалось дыхание. Кто-то большой стоял в темноте всего десяти шагах от нас. Стоял и дышал.

– Медведь, – безразлично произнесла Рита. – Это медведь.

– Тихо! – зашептал я. – Не медведь. Медведи спят.

Снова затрещали сучья, словно через лес потащили диван.

Я был уверен, что звук стал ближе.

– Он идет к нам, – сказала Рита.

Я нащупал дерево, ухватился за ствол, поднялся.

А что, если она права? Медведь-шатун?

Проснулся и бродит по лесу. Из темноты раздалось бормотанье, слюнявое, которое вдруг перешло в рык. Что-то среднее между ревом моржа и коровьим мычаньем.

Рита вцепилась мне в ногу.

– Сделай что-нибудь… – попросила она тихо. – Мне страшно.

Мне показалось, что я уже слышал от нее эти слова, что все это уже было, что я снова окажусь ничтожеством, никчемным типом, трепачом и тряпкой.

Полным нулем.

И на этот раз приговор будет окончательным.

Я вдруг понял, с ясностью озарения, что терять-то мне больше нечего. Что это и есть мой последний шанс, моя последняя возможность доказать ей, Рите, доказать своей жене, которая, я уверен, усмехаясь, наблюдает сверху, доказать себе и всему миру, что я на что-то годен.

На что-то, кроме трепотни.

Я сжал кулаки, сделал шаг в темноту, вдохнул как следует и закричал.

Я орал, рычал, ругался!

Я колотил морозный воздух, бил непроглядную темень кулаками, месил ночь руками, как ветряная мельница.

Зверь не испугался, он принял мой вызов.

Его рык был страшен!

Он затрубил низким протяжным басом. Снова с отчаянным треском стали ломаться сучья. Я пригнулся, втянул голову в плечи. Безнадежно пялясь в темень, представил себе клыки, когти, рога – что еще?

И вдруг я нащупал в кармане фотоаппарат.

Камера оказалась на автомате. Я нажал на кнопку, затвор щелкнул – и вспышка выхватила на мгновенье кусок леса, ярко-белые столбы кленовых стволов, черные тени от них.

И гигантское рогатое чудище с сатанински красными глазами!

Чудище стояло в пяти шагах от меня.

Рита завизжала, высоко и пронзительно, как паровозный свисток.

Я не смог ничего толком рассмотреть, снова обрушилась темень. Я заорал и нажал на спуск.

Белый свет, словно молния, на миг осветил лес.

Зверь попятился – я видел, что он отступил. Набычив страшную голову, выпучив сверкающие глаза, он отступил. Я заорал и пошел на него. Я кричал и нажимал на кнопку, вспышка выхватывала застывшие картины – черно-белые, зернистые, будто кадры какой-то адской хроники. Рита тоже начала кричать. Она махала руками и чуть не выбила фотоаппарат у меня из рук.

Задрав рогатую голову, зверь попятился, повернулся боком – и мне удалось наконец рассмотреть его.

Это был лось.

Он оступился и чуть не упал. Проваливаясь в глубокий снег, он с треском мял мелкие деревья, крушил ветки и сучья, ломал кусты. Потом затрубил и ломанулся от нас через лес.

– Это лось! – Рита плакала, прижимаясь ко мне. – Чертов лось!

Кажется, я тоже плакал. Хохотал и плакал. Целовал ее мокрые, холодные щеки, горькие губы. Это была самая настоящая истерика.

– Лось, сукин сын! – шептала Рита. – Вот ведь сукин сын…

Я обнимал ее, вокруг чернела ночь, перед глазами, как кино, плыли кадры, выхваченные вспышкой: вертикали деревьев, белых, будто из алюминия, бесовская тень огромных рогов на них, чернильные полосы теней, уходящих в перспективу.

– Погоди… – я отпустил Риту. – Погоди…

Я выпрямился, поднял фотоаппарат над головой, нажал на кнопку. Вспышка осветила лес, вдали, на самой границе света и мрака, что-то блеснуло.

– Смотри… – тихо сказал я и снова нажал на спуск.

– Что это? – так же тихо спросила Рита. – Я ничего не вижу.

– Знак. Дорожный знак.

13

Мы выбрались на шоссе.

На желтом ромбе дорожного знака был нарисован черный силуэт лося.

Над нами сияла полная луна, от ее сизого света сугробы и дорога казались синими. В ста метрах от знака на обочине стоял наш джип. На крыше и капоте лежал снег, снега выпало дюйма три. Я помог Рите снять снегоступы, кое-как стащил свои. Мы залезли в кабину. Я открыл бардачок, среди сальных тряпок и мятых инструкций нашел ключ.

Движок запустился с полоборота.

Мы сидели молча. Ехать у меня не было сил.

Не было сил говорить, думать…

Печка надсадно гудела, дула горячим воздухом нам в лицо – я врубил ее на максимум.

Я достал камеру, включил. На экране появился последний кадр – лес и крошечный желтый ромб дорожного знака.

Рита положила голову мне на плечо. На следующем кадре лось удирал в сторону дороги, Рита тихо засмеялась. Я повернул голову и поцеловал ее в мокрые волосы.

– Только не ври мне больше, ладно? – прошептала Рита. – Никогда.

У меня в горле застрял комок, я что-то промычал, кивнул головой и выключил камеру.

Не хватало мне только сейчас разреветься.

Наполовину полная чашка
Татьяна Веденская, писатель, сценарист

Татьяна повествует о необычном опыте переполненной событиями жизни, о странствиях юности, о любви к семье, которая, как она уверяет, в конечном счет ее спасла. Искренность, умение посмеяться над собой, оригинальный взгляд на самые простые вещи – вот что отличает ее книги. Татьяна уверена, что выход есть даже из безвыходных ситуаций, и она показывает его через увлекательные истории своих героев.

* * *

Теннисный локоть! Господи боже мой, это что еще за напасть на мою голову? Кому вообще может прийти в голову начать играть в теннис почти в сорок лет? Абсурд! Во всем виновата моя наивность, граничащая порой с откровенной глупостью. Нелепая, ни на чем не основанная, иррациональная уверенность в том, что все мне по плечу, *стоит только очень сильно захотеть!* Что ж, спешу склонить голову и признаться: все это точно про меня.

Медики не знают точно, что это за ерунда такая – «теннисный локоть».

Просто играешь себе, играешь. Отбиваешь удары, как можешь. Со стороны я, наверное, похожа на бегающий по игровому полю бешеный шоколадный батончик в черных трикотажных спортивках, но удовольствия – море!

Время от времени ловишь себя на странных мыслях. К примеру, что теперь ты отлично понимаешь свою собаку, которая так любит, чтобы ей кидали мячик, а она бегала за ним. Потому что ты сама точно так же не можешь остановиться, играешь и играешь, а ведь нельзя, надо беречься, после стольких-то неспортивных лет да неправильного образа жизни. Конечно же, будет «теннисный локоть»! Или по-научному – латеральный эпикондилит.

Болит справа, прямо над косточкой, где прикрепляется мышца предплечья. Чертовы медики пишут в Интернете, что теперь точно не играть как минимум недели три. Это если все пойдет хорошо, и я буду хорошей девочкой, и буду принимать

горячие расслабляющие ванночки с солью, для которых я уже приспособила тазик. И накладывать мази. И массажи делать самой себе. Но и потом надо будет играть аккуратненько, понемножечку…

Но я все равно буду играть! *Потому что я так хочу*. Потому что это изменит мою жизнь к лучшему.

Никогда раньше я не задумывалась над тем, что и как я делаю, чтобы добиться победы. Когда мне говорят об успехах, которых я достигла, мне хочется обернуться и посмотреть: к кому это такому интересному люди обращаются? Потому что это все не про меня.

Я никогда специально не ставила никаких целей, я вообще не из тех людей, у которых есть хороший жизненный план. Я из тех, кто в шестнадцать лет ушел из дома. Всю мою жизнь скорее можно сравнить с тем, как человек продирается через острые спутанные колючие кустарники и топкие болота на ровное место, где он сможет наконец перевести дух.

Но со стороны это, оказывается, выглядит по-другому.

Благополучие и успех. Ха! Помню, когда я еще работала юристом, одна моя клиентка, проходившая через тяжелый, изматывающий развод с мужем, который пил, дрался и угрожал всеми карами небесными и физической расправой, однажды пожаловалась, всплеснув руками: «Это все так ужасно, вы, Танечка, не поймете, с вами же никогда ничего такого не случалось. Такие вещи оставляют отпечаток на всю жизнь. Не дай вам бог побывать на моем месте!» Помню, как я тогда удивилась. Потому что – да, я совершенно согласна с ней: такие испытания оставляют следы и на душе, и на теле. Поэтому-то я и была уверена, что моя клиентка заметит их у меня. Я была уверена, что это видно всем.

Я никогда не хотела быть красивой. У меня проблемы с самооценкой, и каждый раз, проходя мимо зеркала, я думаю: господи, ну что это? Какая-то нелепость… Я хотела быть счастливой, я хотела любви. Обычная, нормальная женщина, в конце концов.

Тогда, в юности, мне и в голову не пришло бы захотеть стать писателем. Встретить человека, полюбить, родить ребенка, жить долго и счастливо – я хотела этого так сильно, что была готова полюбить любого. Иными словами – отдаться недорого в добрые руки. Вот только руки попались недобрые… Это было следствием моего юношеского интереса к игре на гитаре и желания петь. А

также трагических событий, весьма подробно описанных в книге «Алиса, или Зеленый Подъезд», о которых я не хочу и не люблю вспоминать. А поэтому и не буду. Лучше сделаю скачок во времени и скажу, что мой первый муж – хороший, добрый человек, тоже, к слову, музыкант – так сильно отбил у меня интерес к музыке, что до сих пор я гитару в руки не беру. Еще он выбил мне челюсть, неоднократно подбивал глаз, и однажды, когда пытался задушить меня, немного повредил что-то в шее. Это травма ощущается мною до сих пор…

Такое не может не оставить следа. Но это можно пережить. Оставить позади, двинуть свою жизнь вперед, захотеть чего-то большего. *Нужно мечтать*. Например, стать врачом.

Самое трудное для меня тогда было – это верить в то, что моя треснутая чашка с отбитой ручкой все еще наполовину полная.

В домашнем насилии ужасно то, что оно опустошает тебя, грызет изнутри, и тихий шепот твоего любимого, говорящего о том, что «это ты меня довела, ты такая плохая…» остается в твоей памяти навсегда. Хотели ли вы развода так, как хотела его я?!

Девятнадцать лет, одна, разведенка с дочерью на руках. Милые, наполненные свободой и вседозволенностью девяностые, дававшие большие перспективы тем, кто знал «все входы и выходы». Именно тогда наши олигархи сколотили свои миллиарды, завоевывая заводы и фабрики.

А мы с дочерью голодали. Ни работы, ни образования, ни жизненного опыта, ни денег. Если бы не мой отец, пропали бы мы тогда.

Казалось бы, ну чего хотеть в такой ситуации? Нужно выкручиваться как-то, нужно крутиться… Хватит мечтать, пора спуститься с небес на землю. Пора понять, как устроена жизнь. Но я мечтала о том, чтобы стать врачом.

Леший его знает, почему. Скорее всего, просто потому, что мне жизненно необходимо о чем-то мечтать. Это как у птиц, которые если не летят, то падают. Мой брат купил мне учебник по химии и учебник по биологии. Я читала их по ночам, когда моя дочка спала.

Могло ли из этого что-то получиться? Да что вы, нет, конечно. Ничего и не получилось. Я не сдала вступительные экзамены в институт, но зато я сдала вступительные экзамены в жизнь. Почти год подготовки! Я решала задачи по химии с соседом по подъезду. Я учила наизусть формулы и разбиралась в селекции.

Мой первый брак уже ничего не значил для меня. Не поступила в вуз, но не отчаялась: устроилась на работу – на

кафедру микробиологии. И очень скоро у меня появились новые друзья и новые интересы.

Проработав полгода лаборантом, я буквально ожила и возродилась из пепла моего кошмарного прошлого: бродяжничества, несчастливого брака, бесприютности, одиночества. Так что, как посмотреть: чашка наполовину пуста или наоборот?

Я не стала врачом, зато поверила в себя и в то, что завтра будет новый день. Еще я не стала лучшим продавцом автомобильных экологических сертификатов, потому что, проработав в фирме по их продаже несколько месяцев, я ушла в другую фирму, риелторскую.

Я очень хотела обеспечить себе и дочери достойную жизнь. Я ни разу не стала риелтором года, хотя эта профессия и кормила меня десять лет кряду. Я получила бесценный опыт, а некоторые из моих клиентов до сих пор позванивают, чтобы узнать, как я живу. Одна из них даже, заразившись моей уверенностью в том, что «все будет хорошо», и философией *«какого лешего, если хочется чего-то, не сделать это!»*, написала книгу. И ее уже издали.

Странно? Закономерно! *Если человек чего-то хочет и что-то делает, из этого может что-то и выйти.* Может и не выйти. Да, есть такой риск, и никаких гарантий.

Я так и не стала юристом «всерьез», хотя и имею профильное образование. Я не стала адвокатом. Я не стала ученым-нейробиологом.

Я не полетела на Луну, хотя ничуть не возражала бы против космической одиссеи. Если бы из всего, что из меня не вышло, сделать справочник, то по нему школьники вполне могли бы выбирать себе будущую профессию, но меня это нисколечко не волновало. Я хотела чего-то – и я пробовала это, я получала результат – и двигалась дальше. И в конце концов у меня кое-что получилось.

Кое-какое масло все-таки взбилось из этой белой сметаны, из всего этого пестрого, как лоскутное одеяло, жизненного опыта и размышлений.

Я стала писателем. Одно попадание из сотни, но мне большего и не надо.

Потому что это было мне интересно. Потому что это могло изменить мою жизнь к лучшему. А еще – сейчас, после всех этих лет и долгих размышлений, мне кажется, что это было неизбежно.

В какой-то момент я ужасно захотела попробовать написать книгу. Я как раз тогда училась в институте на юрфаке. Я все делаю задом наперед, такова уж моя натура.

Я вышла замуж, родила, развелась и осталась у разбитого корыта уже к девятнадцати годам. После этого я стала работать как сумасшедшая, вышла замуж и родила снова. Затем я забеременела в третий раз. И, узнав об этом, я решила: пожалуй, это отличный повод сделать свою жизнь еще лучше, еще веселей и интереснее! Таким образом, будучи беременной в третий раз, я поступила в институт на юридический факультет.

Первую сессию я сдавала за месяц до родов. Надо признать, что такое интересное положение, безусловно, дает тебе некоторую фору перед преподавателями. Ну, кто поставит двойку женщине «на сносях»! А дальше, курсе на третьем, я решила, что этого мне недостаточно и что пришло время попробовать что-нибудь написать. Времени было мало, его катастрофически не хватало, дома были муж и дети, а значит, писать удавалось только по ночам, так что я справедливо решила убивать двух зайцев прямо в здании института, совмещая учебу и писательский эксперимент.

Выглядело это так.

Задумывала я тогда как раз «Основы женского шарма». Богатая риелторская практика дала мне немало историй, а безудержная фантазия сплела это все в какой-никакой сюжет. Комедия – да и только!

Я писала на маленьком ноутбуке, который помещался в рюкзак. Заметки и лекции я также записывала или, вернее, запечатывала в ноутбук. За прошедшие годы все давно привыкли к тому, что я тихонечко что-то строчу себе, сидя за первой партой. В конце концов, я же не безобразничала на лекциях!

Помню, это был курс по земельному праву, и наш преподаватель, случайный в юриспруденции человек, не предъявлял к нам высоких требований. Он придерживался учебника, а поэтому конспектировать его не было особенной необходимости, все можно было прочитать. Так что я писала на его лекциях книгу. А надо заметить, что когда я пишу, то глубоко погружаюсь в происходящее, словно проваливаюсь в параллельный мир. И в то же самое время каким-то боковым зрением и слухом я умудрялась отслеживать, говорит или молчит преподаватель. Если он говорил – я печатала, а если замолкал – я останавливалась и просто продумывала про себя, какие предложения будут следующими. Или перечитывала уже написанное.

И вот, случилось ему, нашему преподу, на одной лекции отвлечься от темы и удариться в воспоминания о своей службе в Вооруженных силах и о том, какие хорошие это были денечки – и вообще, как много было раньше интересного и поучительного. Уж

не знаю, как и почему он «соскочил» с земельного права на тему своего богатого событиями прошлого, но этот факт кардинальной смены темы полностью прошел мимо моего сознания. И я продолжала печатать. Я сидела прямо перед ним. Преподаватель начинал говорить, я начинала быстро печатать. Он замолкал, я останавливалась. Он заговаривал снова – я принималась бить по клавиатуре. Класс принялся шушукаться за моей спиной, кто-то не мог сдержать смех. Краем уха я обратила внимание на то, что все идет как-то не совсем нормально, но я была так сильно погружена в сцену, что решила не отвлекаться.

Только через полчаса я бросила короткий взгляд на преподавателя. Он стоял практически передо мной, красный, какой-то взволнованный и немного запинаясь, зачитывал учебник. Я пожала плечами и продолжила печатать.

Он посмотрел на меня с негодованием.

После лекции ко мне подошли девчонки с параллельного курса, вместе с которыми у нас шло земельное право.

– Ты что, правда всю эту муть записывала? – спросила одна из них.

– Какую конкретно муть? – забеспокоилась я.

– Про то, как у них на дороге крышки люка не было, и их «Урал-375» колесом туда попал, – пояснила коллега.

– И про то, как они марш-бросок делали ночью под Самарой? – добавила другая девчонка.

Только тут до меня дошло, почему преподаватель смотрел на меня таким затравленным взглядом. Он, бедный, решил, что я, долбанутая на всю голову студентка, записываю за ним дословно все его армейские байки! И делаю это с совершенно серьезным лицом.

– А, нет. Я книжку пишу, девчонки! – ответила я с улыбкой.

– Да? Ну, слава богу, а то мы подумали, что ты либо над ним издеваешься, либо совсем тронулась. А дашь почитать? Собственно, ради этих слов я и писала книжки.

«Дашь почитать?». Ну, конечно. И, если можно, я буду стоять за спиной и ловить каждую реакцию, каждую улыбку и вырвавшийся смешок. Потому что в первые годы моего сочинительства я, если быть честной, чувствовала себя как только что народившийся жеребенок, который и ходить-то толком не умеет, и на каждом шагу спотыкается… А если быть до конца честной, со временем это не так уж сильно и поменялось.

Мечты – обманчивая штука. Они манят тебя призрачным светом, переливаются, как ночное небо, освещенное северным сиянием. И ты думаешь: о, что бы я ни отдала, чтобы оказаться

там! Как же там, должно быть, красиво и прекрасно! Вечное счастье, волнение и восторг…

А на деле: там холодно, нос отмерзает. И ехать далеко, и надо знать, как правильно одеваться. И билеты дорогие. Но все равно, оно того стоит, мое северное сияние. Сбывшаяся мечта – как выросшее дитя. Всегда немного грустно оттого, что все самые чудесные моменты уже позади и осталось только вспоминать.

Как было здорово, когда был сделан первый шаг! Сколько было надежд, когда вы впервые пересекли порог школы! Какие были амбиции! И как потом приходилось уговаривать математика не ставить вашей мечте двойку, чтобы не вышла тройка в четверти! И оставить мечты о Нобелевской премии…

А как мучительно долго шли детские утренники? И как теперь приятно пересматривать старые видеозаписи. Потому что это – ваше прошлое.

Мое прошлое.

«Основы женского шарма» давно изданы, и я знаю, как много людей до сих пор смеется в голос над злоключениями Оли Петровой, моей героини, так похожей на меня в ту пору. Я даю интервью о том, что будет дальше, и будет ли новый фильм по моей книге, и планирую ли я написать сценарий.

Конечно да! Потому что каждый раз, когда я открываю для себя что-то новое, что-то незнакомое и интересное, я бросаю себе вызов. Смогу ли я сделать что-то из этого? *Просто попробовать. Для себя. Вдруг что-то получится*? Ведь бояться не надо. Нет никакого смысла бояться.

После чудовищного брака, из которого я еле вынырнула, как из болотной трясины, – в которую меня почти затянуло. И если бы я не поверила в себя, если бы я не захотела любви, не захотела бы сделать свою жизнь лучше, разве я нашла бы свой самый главный клад – мою семью?

Праздники, громкий смех, папа с ворчанием косит траву во дворе электрической косилкой. Маргаритка, моя дорогая дочь от первого брака, звонит, чтобы узнать, что у нас нового, и рассказать о нелегкой своей замужней жизни и, может быть, занять денег на что-нибудь важное. На водостойкие наушники, в которых можно слушать музыку в душе, которые она хочет подарить мужу. Настасья, моя вторая доченька, в своей комнате рисует картину для художественной школы. А сын принес двойку и боится сказать об этом отцу, моему второму мужу. Моему любимому мужу, с которым я живу уже почти двадцать лет.

Главный приз – семья, которая принимает меня такой, какая я

есть. Со всеми моими сумасбродными идеями, одна из которых – начать играть в теннис почти в сорок лет. А чего такого? В конце концов, я же не виновата, что эта идея не пришла мне в голову раньше? И вообще – я была занята.

Зато здесь и сейчас эта игра приносит нам огромное удовольствие. Нам всем, потому что вся моя семья и часть друзей уже инфицированы теннисом – мой энтузиазм заразителен. Багажник моей машины – это склад теннисных ракеток и мячей. Дома только и разговоров, что о турнире Большого шлема Ролан Гаррос.

Папа говорит: «Опять Татьяне что-то в голову втемяшилось. Теперь никому жизни не будет». Даже ему. Он нам как тренер. Он нам мячики бросает. И я знаю, что в глубине души он рад, что мне вечно «что-то в голову втемяшивается», потому что именно поэтому никому в нашем доме не приходится скучать. Эта вечная жажда нового делает наше бытие лучше.

Всю свою жизнь я балансирую между моими желаниями и моими невозможностями, старательно игнорируя последние. Люди пытаются дать определение, дать этому какое-то название. Они называют это оптимизмом. Моя мама убеждена, что это – упрямство, мой муж – что это что-то генетическое, какая-то мутация, какая-то слепая вера в себя и в то, что все будет хорошо. Но это не так. Все они ошибаются. Хотя, признаюсь, в чем-то они и правы. Оптимизм, упрямство, мутации. Всего понемногу. С верой в себя куда хуже, но зато я отлично умею «забить» на неприятности и не думать ни о чем. Все дело в другом…

Я умею хотеть, и я не останавливаюсь на полпути. Независимо от того, насколько велики мои шансы на успех. *Дорогу осилит идущий! Желание – отправная точка любых перемен*, главная и необходимая составляющая успеха. Синяя птица счастья не прилетит к восьмидесяти процентам людей, просто потому что они ничего не хотят по-настоящему. Им только кажется, что они только и делают, что хотят – денег, другой работы, еще пива, чтобы их наконец-то уже оставили в покое. Чтобы соседи перестали сверлить, чтобы кризис кончился. Чтобы каждому по способностям и чтобы было все, как в старые добрые…

Я хочу научиться играть в теннис. Да, почти в сорок лет. Да, не самый спортивный образ жизни. Писатель. Сидячая работа, лишний вес… Как говорят психологи, *все барьеры внутри нас*. Правда, они также считают, что все мои проблемы – из-за моих детских отношений с матерью, так что я отношусь к тому, что они

говорят, с осторожностью. Делю все их выводы на десять. Глупость? Нет, не думаю.

Вся моя жизнь состоит из таких вот глупостей. Они-то и делают мою жизнь лучше, шаг за шагом, раз за разом помогая мне двигаться вперед, преодолевать очередной барьер. Так что если вам вдруг что-то эдакое «втемяшится в голову», не спешите отбрасывать как ненужный хлам. Может быть, именно оно и необходимо для того, чтобы сделать вашу жизнь лучше.

notes

Примечания

1

Джогур (*дьогур*) – дар, талант (*якутск.*).